НОВЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

КНИГА
ВОСЬМАЯ-ДЕВЯТАЯ
АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ

МОСКВА
1930

Главлит А 74.652

СТАТ — формат Б/5 176×50

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

1. П. СЛЕТОВ. — Заштатная республика, *роман,* продолжение . . 5
2. Ив. КАСАТКИН. — Ходоки, *рассказ* 33
3. Ник. АСЕЕВ. — Санаторий, *повесть* 42
4. А. ДОЛГИХ. — Кариатида, *повесть* 68
5. Вл. ЛИДИН. — Песня, *из книги «Путина»* 90
6. А. МЕЙН. — Из книги о Горьком 94
7. Виссарион САЯНОВ. — Из цикла «Лирические стихотворения» (I. Женщины. II. Песня) 116
8. О. КОЛЫЧЕВ. — Конец толкучего рынка, стихотворение . . 119
9. Евг. ЗАБЕЛИН. — Ночные маневры, *стихотворение* 121

---

10. М. И. КАЛИНИН. — XVI с'езд партии 123

ЛЮДИ И ФАКТЫ:

11. М. ЗИНГЕР. — Горючий камень 145
12. Вс. ЛЕБЕДЕВ. — Лопари 154
13. Ник. СМИРНОВ. — Теплый стан 169

ЗА РУБЕЖОМ:

14. Вл. ЛОСЬЕВ.—Красная армия Китая 184

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО:

15. Вяч. ПОЛОНСКИЙ. — Проблемы марксистского литературоведения. Статья вторая 193
16. Н. ПРЯНИШНИКОВ.—Двупланный Пушкин 215
17. Фатима РИЗА-ЗАДЭ. — Политический театр Пискатора . . . 218
18. Г. КАМЕНСКИЙ. — Владислав Оркан 226
19. Н. УРАЛЬСКИЙ. — О «крылатом слове» 228

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ:

Стр.

С. ГАЛЬПЕРИН. — Дэн Ричардс «Британский капитализм и рационализация» 233

Борис АНИБАЛ. — Юрий Яновский «Мастер корабля» . . . 234

О. БЕЛОГОРСКАЯ. — Л. Островер «Конец Княжострова» . . 235

Д. БЛАГОЙ. — Александр Блок «Собрание сочинений» . . 235

К. ЛОКС. — «Любовь Бентоса Сагреры» 237

И. СЕРГИЕВСКИЙ. — Сергей Гессен «Книгоиздатель Александр Пушкин» 237

М. РАБИНОВИЧ. — Георгий Чулков «Годы странствий» . . 238

Книги, поступившие на отзыв 240

Заштатная республика

Роман

П. СЛЕТОВ

(Продолжение [1])

XIII

Лошади были поданы к позднему вечеру. Узнав, что едет сам комиссар путей сообщения, татарин-ставочник выделил из шести троек лучшей в уезде ставки самую сытую, серую в яблоках. При звоне бубенцов, оборвавшемся у ворот, Аркаша приоткрыл дверь к Хворову и застал его уже готовым к от'езду в суровом, а теперь от многих дождей и стирок белом пыльнике и в синей валяной шляпе пирожком, от которой и без того широкое лицо Хворова казалось еще шире. В руке он держал холщевый зонт и тощий ковровый саквояж. Здесь же был и Побратимов с небольшим лыковым казаном, подвешанным на веревочной лямке через плечо.

— Поехали, — сказал Хворов и, заперев несложным висячим замком свой маленький в дырявых обоях номер, двинулся вслед за другими.

Уселись молча: Хворов с Аркашей в тарантас, Побратимов — к ямщику, на облучок. Лошади встряхнулись, просыпали первые бубенцовые звоны, и тарантас заговорил свой дробный и мягкий разговор колесами с дорожной пылью. Редкие городские огни быстро отстали в серости ночи. В'ехали на горб мокшанского моста, расшевелили настильные доски на нем: — Эх, — сказал Хворов, — мост-то нужно чинить! — и спустились в поемные луга. Дорога стала торфяной, пружинистой, ямщик, привстав, вытащил из под себя кнут, завертел им над головой, тройка наддала рыси, и высокие травы забили, застегали по крыльям тарантаса. Полная луна, освободившись от застоявшегося с вечера облака, кончала свой невысокий летний путь. Заклубилась сырость теплыми, но свежими волнами. Спереди, издалека, надвигалась туча леса. Седоки молчали.

На шестой версте травы снизились, кой-где завиднелись плешины, колеса зашуршали, врезаясь в песок, лес вырос в огромную стену, блеснуло черненое ночью и тенью леса серебро реки. То была опять Мокша, возвращавшаяся сюда из луговой своей луки. Тройка стала, не доходя до помоста паромной пристани.

---

[1]) См. «Новый Мир», кн. 7 с. г.

— Пирвоска-а-а! — крикнул протяжно ямщик.

На том берегу засветилось окно, потом показался ручной фонарь и закачался, поплыл по изгибам невидимой тропинки. Свет спустился почти к самой воде, разбрызгался на поверхности и забился судорожной змеей через всю ширину реки. Зазвенела струящимся переливчатым звоном туго натянутая толстая проволка, заплескалась где-то на середине о воду, паром тяжкой темной массой отделился от берега и навалился на середину воды.

Хворв, Побратимов и ямщик закурили. Лошади стояли смирно, без единого движения, настороженно всматриваясь вперед и вслушиваясь в еле уловимый плеск мелкой волны о подходивший паром. Помосты сошлись с упругим, глухим стуком, лошади, гулко перебирая доски настила, вкатили тарантас, и паромщик заложил жердью в'езд. Затем, взяв фонарь и повернувшись к ямщику, спросил безучастно:

— Из города?

В сумерках ночи Аркаша различил могучий стан в монашеской рясе и седое, замшелое лицо под широкополой соломенной шляпой. Монах отошел к канату и зашагал вдоль него, возвращая паром обратно.

— Паромщик-то от монастыря? — спросил Аркаша.

— Да, — отвечал Хворов, — лес этот монастырский. Из города видать голубые маковки. А дальше так и переходит в лесничества, так сплошь и идут — двести тысяч десятин в уезде.

Под паромом журчала черная и казавшаяся на взгляд густой, как деготь, вода, мерным шагом ходил великан-монах, лес все надвигался, и, когда причалили, то уж был такой, так стоял на невысоком песчаном обрыве, так величественно принимал в себя дорогу, что Аркаша, передернувшись, сказал себе:

«Чур меня — куда заехали! Этот паромщик — ему бы через Стикс-реку возить, истукан какой-то. Из Белоспасска, так из Белоспасска, а скажи ему, что мы из Нью-Йорка, — все равно не удивился бы, ничего б не вымолвил, перевез, одним своим мерным шагом дал бы понять: «Ну, с богом, вот вам, мол, мордовские леса, при коих вратарем состою, а там — как знаете...»

Но едва лишь причалили и едва лишь Аркаша подумал, как монах, уже снявший перильную жердь и отошедший с фонарем к своей строжке, вдруг гаркнул из темноты, как с амвона, громовым голосом:

— Анафема, анафема! Не долго вам царити, да вечно скоропечены огнённы примати! Опричникам, богоборцам анафема! Ох, нету, нетушки, не спели монастыри на Руси своей песенки последней. Ох, не сыграли-прозвонили колокола матушке церкви невыразимую отходную!..

Паромщик примолк, и Аркаша подумал, что возглас его так и закончится перекличкой эхо упругих опушек и гулких мокшанских

берегов, но, кашлянув, как в сводчатых пустотах, грянул паромщик с новой силой:

— Люди, братие, возгляните вы на стены сии твердокаменны, что не руками — молитвами строены — а и много же их на Руси стоит, яко крепости да бойницы господни! Дьявольский яд протек в нутрё, ему же анафема!.. Но выжжет архандельстий меч, выжжет до тла нечисть, чистии же, кротции же останутся, яко воинство господне, невеликое, но всемогущее!..

Лошади подхватили, вынесли духом на берег, дорога пошла лесная, пересеченная корнями, тарантас стало потряхивать и так и этак, но долго еще вслед по водам и лесам раздавался и повторялся опушками анафемствующий зык паромщика.

— Сколько ни ездил — каждый раз вот так, сперва перевезет, а потом возгласит, — сказал Хворов. — Давно бы сменить его, да некем. А силища у него бычья. К зиме один паромы свои на берег вытаскивает.

— Так яво в округе зовут — Савватий-бесноватий, — подхватил Побратимов.

Аркаша снова передернулся, поднял воротник своего пыльника, сгорбился, нахохлился и решительно не пожелал смотреть по сторонам. Дорога шла между лесов, как ущелье среди пласта какой-то могучей минеральной породы. В голову Аркаше полезли несусветные мысли. Все вспоминались статьи миссионера этого края в «Епархиальных Ведомостях» об обращении мордвы в православие: как уходила мордва от ретивых вероучителей в леса, как правил ею Еникеев — «Кузька, мордовский бог». Епархиальный этнограф утверждал, что и до сего времени новообращенная мордва не совсем забыла своих кирьди-хранителей, Шайтана и Алганжеи — носителей болезни, что богу своему — пасу — до сих пор приносятся жертвы на молянах, приуроченных к христианским праздникам. Хоть и был сборник ведомостей от девятисотого года, этой лесной дорожной ночью, в ожидании предстоящей встречи с потьминской мордвой, Аркаша склонен был легко верить всему.

Во всем: под молчаливой высокой сосновой хвоей, под кущами папоротника внизу; под подорожным пыльным листом, невидимым ночью, но смутно угадываемым; под жидким мостом жердевым и даже под гатью лесной, — всюду таится, жмется, скрывается, трясется мордовская душа, совиная, пуганная, мокшанская. То сидит спокойно: у столбиков, что кобелям нужны, у сосновых стволов да пней, к осоке, к камышу ли болотному прислонившись, лис сидит, волк сидит, зверь, зверюга мордовская, сидючи, посматривает, примечает, где б, когда б, на кого б завыть, заскулить, подичей, подремучей, да так, чтобы и не отстать на всю жизнь, да так, чтобы и не забылось никогда скуление зверья мордовского...

Бубенцы все сыпались, казалось, пересыпал кто-то толчками из одного решета в другое неиссякаемую груду сухих жестяных обрез-

ков и никак не мог пересыпать. Однообразный звук, притупляя ухо, все больше отходил от своего естества, и уж слышались в нем всхлипы, стоны, проклятия, покряхтывания; покрикивания на разные голоса. И неизвестно было, кто кричит—баба, мужик ли, — но человек. Как ни хотел Аркаша вернуть бубенцам их первоначальный простодушный дорожный смысл, ничего не выходило, все ясней слышались крики, и уж думал Аркаша, что если б пойти в лес, чтобы спугнуть, то и не уйдешь оттуда — свесится с нижнего сука полуседая козлиная борода и мордовский узкий глаз, не мигая схватит, затрясет, засмеется, да по волосу вырвет костлявой рукой полголовы, а потом поволочет через Мокшу назад, неизвестно куда...

Мысли Аркаши путались. Он тревожно придремывал, тычась на ухабах о плотное хворовское плечо, как вдруг очнулся. Было гораздо светлей, кругом уже пошло краснолесье, а дальше налево — спокойный старый березняк, направо — веселая, молодая густая поросль в низине, тянувшейся почти нескончаемо. Дорога делилась: одна уходила в старый березняк, другая шла по опушке его, по косогору, над низиной. Ямщик повернул на вторую.

— Кубыть налево свертать? — громко сказал Побратимов, впервые нарушив общее молчание.

— Нет, правильно едет, — отозвался Хворов.

— Эта ж на кордон?

— Туда и надо.

— Тады так...

Побратимов зябко поежился от заревой сырости и прекратил расспросы.

А к звонам бубенцов уже стали примешиваться какие-то иные звуки. Один за другим врывались упругие, как тугие глотки хрустальной воды, щелкания. Уже со всех сторон неслись влажные, круглые, переливчатые рокоты.

— Придержи, — шопотом сказал ямщику Хворов.

И только лишь лошади стали и смолкли бубенцы, как весь лес, весь воздух кругом наполнились этим ежевесенним любовным состязанием, этим половодьем истомы и страсти, утонченной в звук, что зовут соловьиной песней.

Это не голос из общего хора и не отдельный своеобычный напев. Весь от весенней ночной темноты, от затяжных полусветов мягчайших российских зорь, звук этот несет в себе всю полноту дневного широкого солнца. Нет в нем пылинки труда, как нет и крохи искусства, но все в нем — такое живительное мастерство, такое очаровательное кружево звучаний, такая необ'ятная и просто понятная жизнь. Если бы был этот голос только благовестом малого бытия; если бы был он любовным победным кличем; если б был лишь боем быстрого птичьего сердца или напевным навыком лучших певцов рода! Но это и благовест высочайшего в простоте бытия, и упоенный любовный клич, и смелый бой сердца и навык нежнейших певцов!

Темным сверканьем, подобным далеким зарницам, набегает песня в гибком щелканье, еще полузадушенном страстью. И вот остановилась, упала и, умирая, забилась круглой влажной жемчужиной сгущенного солнца, во всю полноту и горячность соловьиного счастья. Это — предчувствие, это та завязь желаний, что нарастает мгновенно из капли в океан, чтоб захлестнуть, сомкнуться над головой... И вдруг переломится совсем неожиданной, непостигаемой смелости переломом. Словно звучащая молния пронижет вселенную. И вздохнет — не перерывом, а сокровенным беззвучно рожденным словом песни. Взовьется новым коленом и повторит последний припев его строжайшей скорби. И пронесет много раз подряд на золотой своей середине звука стежки задушевного свиста — горения, радости и изумления перед любовным творением. Еще раз задрожит блестящей зыбью, летучим воздушным волчком. И в нагом восторге, ликуя, подхватит и... снимет звук.

На какой же заре чеканишь ты свои песни, певец? На вечерней ли, в час печали о прожитом сияющем дне? Или на утренней, славя всей грудью вновь возникающий краснопламенный день? И кто тебе дал эту смелость — петь о вчерашнем и будущем вместе и в один звук влагать всю длительность бытия? Вспомни!.. И откуда берешь ты силы петь, когда кругом лес молчит на сотни глухих верст и разве лишь сычь закатится, захохочет издалека? И в чем же сила твоя, серебряных и золотых звуков мастер?!

...Ямщик на козлах долго сидел, понурясь, а когда обернулся, то стало видно, как отошло и просияло его скучное от вечной дороги лицо, и, заглянув каждому в глаза, он сказал:

— Обедню служит!

На что Аркаша ответил, морщась от сырости:

— Ну, давай что ли потрагивать, а то свою-то обедню проустим.

Хворов шевельнулся, открыл сонные веки и вдруг заговорил, словно он всю дорогу дожидался этой минуты:

— Смерть люблю соловьев!.. Да. А теперь о деле: ты как думаешь, пулемет я с собой в кармане вожу или вот в этом саквояже?

— Нет, думаю, на кардоне держишь, — отвечает Аркаша, не обинуясь, с хитрецой в голосе.

— Больно ты догадлив. Не на кордоне, а в кармане. И даже нет его у меня вовсе, а с отрядом он у Мишки Палаткина. И Барсова нет, а все там же...

— Кто такой Барсов?

— Замечательная личность, сейчас его увидишь. Но запомни до поры до времени: нет ни его, ни пулемета, а если что — все случайная случайность. И я в об'езде по путям сообщения.

Хворов храпнул так внушительно и взглянул так серьезно, что Аркаша поневоле призадумался. Но Хворов уже заговорил как ни

в чем ни бывало о возникновении мира и происхождении живой клетки на земле.

«Заводи, заводи, — думал Аркаша, — все вы тут флибустьеры какие-то, пропадешь с вами... Аркадий Степанович, не зевай! Нужна ему очень живая клетка... Тетеря-тетерей, а, тоже, что-то обдумывает, комбинирует, от кого-то прячется. Но и я свое дело знаю. И лучше уж тетеря, чем этакий крокодил, вроде Семена Ивановича. Плевать бы вы все хотели на товарища Пальчикова, не будь у вас какой-то ставки на него. Что ж, будем пока в темную...»

А Хворов уже рассказывал, мимоходом споря с Побратимовым, об улучшении породы русской свиньи путем случки с иоркширским крёхом.

Низина справа кончилась, пошла широкая просека, и уже мелькала издалека зеленая крыша кордона.

XIV

Если бы Аркаша доверял хворовским оценкам, он мог почувствовать себя разочарованным, — ничего замечательного в Барсове не было. Видал их немало Аркаша повсюду, в те времена рассыпанных кронштадтских моряков. Можно было их встретить почти в каждом совете каждого города. Командовали они и отрядами пехотных частей, встречались часто на станциях и в вагонах железных дорог целыми группами, сливаясь с черноморцами, при чем поражала всегда в них какая-то групповая порука, взаимная выручка. По поезду они не разбредались, а всегда собирались в одном каком-либо вагоне, и вот, смотришь, застрял поезд безнадежно — нет дров, — и пошли выскакивать из вагона клеши и матроски, пошли бегать от начальника станции к паровозу, от паровоза в депо — и есть дрова и пошел поезд. Немало тех, кому приходилось тогда висеть на буферах разваливающихся вагонов и ночевать на станциях, где заплеванный пол был вплотную забит лежащими вповалку телами солдат, возвращающихся с фронта, и иных озверевших в разлуке с домом людей, немало их помнит матроса с подводной лодки на станции Рязань. Увешанный револьверами и бомбами матрос этот один наводил порядок в зале, где, казалось, не мог бы сделать ничего целый отряд. Действовал он своим необычайно свирепым видом и распекающим голосом, никогда не прибегая к угрозе оружием. И загаженные станционные залы ежедневно очищались и дезинфецировались.

Барсов был кронштадцем. И даже знаменитое имя «Авроры» светлело белыми буквами на околыше его матросской шапки. Лицо было обыкновенным, ни свирепым, ни скуластым, ни даже загорелым. «Баловник бабий»—решил Аркаша, глядя как пушатся его длинные белокурые усы, окрыляющие бледноватые бритые щеки. Легкие синяки под глазами терялись от синевы ярких зрачков. Губы были серые и, когда приезжие вошли в избу кордона, вымазаны постным

маслом: Барсов вставал навстречу, дожевывая картошку, перемешанную с ломтями соленых огурцов в большом чугуне, из которого черпал он полной ложкой вместе с тремя красногвардейцами, рассевшимися подле на полу. Левой рукой он поздоровался с вошедшими и, сказав нечленораздельно, сквозь полный рот: «Садись завтракать»,—указал ложкой на чугун. Хворов по-детски жадно посмотрел на картошку, наскоро пожал руки красногвардейцам и крикнул широкоплечему мужику-кордонщику:

— Здорово, хозяин! Найди-ка там ложку... Три, четыре ложки... Садись, Аркаша, потеснись, ребятки, сейчас еще двое придут. Хватит картошки-то?

— Хватит, — отвечал Барсов. — Дай-ка, отец, еще огурчиков.

Некоторое время все ели молча, чавкая. Наконец, красногвардейцы лениво побросали ложки и отвалились от чугуна, продолжая время от времени отрывистым чавканием освобождать застрявшую в зубах пищу.

— Ну, ребятки, запрягай да седлай, — заторопил их Барсов и обратился за подтверждением к Хворову: — Пора, что ли?

— Пора, пора, — промычал тот.

Дальше начался разговор, оставшийся для Аркаши наполовину непонятным.

— Миша сомневался? — спросил Хворов.

— Сомневался, но не очень, — отвечал Барсов.

— Ты ему сказал?

— Сказал.

— А он?

— Те же, говорит, портки, только назад гашником.

— Вот, товарищ адмирал, — сказал тогда Хворов, — привез тебе агитатора. Из губернии.

Барсов одобрительно и лаского взглянул на Аркашу.

— Это кстати, очень даже кстати. А то все вы — круть, верть и — до свидания, назад в город. А мы — опять как знаем...

— Я тоже зимовать с вами не собираюсь, — поспешил уточнить Аркаша и добавил тоном в самом деле опытного агитатора:

— Потолкуем с мордвой потьминской и — на новые места. Впрочем, я не представляю себе как вообще-то будем разговаривать. Если по-мордовски, так я — ни в зуб.

Хворов захохотал. Засмеялся и Барсов с Побратимовым. Аркаша растерянно и недоуменно поглядывал на них, не чувствуя за собой никакой оплошности, не зная, должен ли он обидеться или нет.

— Чудак ты, Аркаша, — выговорил, наконец, Хворов, — кто ж тебя заставит по-мордовски... Для этого надо учиться. Да и не нужно этого. Это ведь слава одна, что мордва. Были когда-то мордвами, верно, но теперь-то все по-русски понимают. Лтюрьево-то, верно, чистая мордва. А хорош бы ты был — митинг по-мордовски проводить...

В это время в окно постучали черенком нагайки, давая знать, что лошади готовы, сердце Аркаши екнуло, он вышел вместе с другими на двор и сразу позабыл думать обо всех языках в мире: два красногвардейца уже сидели верхом на тощих лошадях, третий осторожно выводил тройку в открытые ворота. На тарантасе стоял затянутый брезентом пулемет. Второй тарантас, с которым приехали, оставался пустым. Расселись в таком порядке: Побратимов — с пулеметом, Хворов, Аркаша и Барсов — на другую тройку. Аркаша всем существом почувствовал, что первый безопасный перегон окончен, что надвигается новое, неизвестное, которое он все время мысленно гнал от себя, но теперь уже не мог. Он всматривался вперед, стараясь угадать повороты и направления пути, как будто бы это могло его подготовить к предстоящему дню. Нервная зевота раздирала его челюсти.

«Что бы хоть ось сломалась!»—тоскливо думал он. Но ось на зло не ломалась ни на каких лесных ухабах, и тогда Аркаша стал готовить себя к наихудшему, — проверенный им способ борьбы с судьбой. «Не доедем до околицы, соображал он, как трррахнут из ружей залпом!.. (Тут он даже моргнул от испуга). Наверно, уж у них там цепи залегли, встречают нас... Так и срежут первым же залпом и Барсова и Хворова. Но не меня. А я тогда что? А я тогда драла в лес... Погонятся, да в лесу не трудно скрыться. Если с собаками, так не скоро додумаются собак привести. Как-нибудь до города доберусь... Нет, не может так благополучно сойти. Они тоже не дураки, они раньше нас впустят в деревню, а как в'едем, так начнут изо всех окон стрелять... И опять же тогда надо скорей долой с тарантаса — в сторону... Во двор, к избам... В плен возьмут — чорт с ними, об'ясню им, что я же не большевик... Ведь насильно служу, жрать нечего. Должны же они поверить, что я был за то, чтобы луга отдали Вонищам... То-есть Потьме... То-есть чорт его знает кому... Нет, не поверят. Попадешь к ним в плен — еще хуже, пытать будут, мордва — жестокие. Уж лучше, если прямо пуля в лоб попадет. Да, так и будет, попадет в лоб или сердце... Господи, я, вероятно, сплю, и мне сейчас надо сжаться, и я просто уйду под землю. И ничего не будет, будет только темно, а потом я проснусь...»

Так рассуждал Аркаша. Но сердце его турманом кувыркалось в груди, глаза видели резко, как никогда не видится во сне, а главное, видели очень много. Нет, не бывает таких богатых снов, не бывает так, чтобы на каждом телеграфном столбу сидел кобчик, а то и два сразу, неподвижно, как статуэтки черного фарфора, чтобы позы их были так разнообразны, чтобы рассветная сырость была так осязательна во сне. Вон один из верховых красногвардейцев, Гриша, снял со спины винтовку — при этом движении кобчик слетел неслышным полетом хищной птицы — нет, не бывает так... Гриша, держа приклад у плеча, под'ехал к следующему столбу, на котором кобчик сидел безбоязненно, не заметив подозрительного движения. Выстрел пронес-

ся по лесу сыпучим эхом, птица пронзительно вскрикнула, взмыла кверху и понеслась прочь. Сразу же по всем столбам осыпались черные пернатые хлопья крыльев, и телеграфная линия вмиг опустела. Этот выстрел, казалось, разбил сосуд с жидким золотом, — стена леса по правую сторону вдруг вспыхнула факелами сосновых верхушек, и солнечный пожар тяжелой влагой разлился по лесу, увенчав его петушиным гребнем... Аркаша потерял последнюю надежду. Нет, не бывает так во сне!

Хворов между тем рассказывал Барсову подробности происшествия в Вонищах. Тот посматривал вперед и кивал головой, как бы подтверждая, что все это так и было.

— Такой уж рыйион здесь подлый, — заметил он в заключение.—Кулацкий рыйион... Гриша,—вдруг крикнул он,—задами под'езжай, с огородов.

Аркаша выглянул из-за спины ямщика и увидел, что передний верховой свернул в недлинную просеку. За ним свернули и тройки. Впереди просветлело, донесся звук колокола, и только лишь за поредевшим лесом завиднелись колосившиеся озимые, как Аркаша различил и колокольню церкви, стоявшей посреди села, верстах в двух от опушки. Во все стороны волнами расходились поля и луга.

— Вонищи? — спросил Аркаша.

Хворов утвердительно кинул головой. Тройки покатили шибче, красногвардейцы — Аркаша заметил это — на ходу проверили затворы винтовок, Барсов вытащил наган и покрутил барабаном. Вдруг с тарантаса, везшего на рысях пулемет, соскочил Побратимов. Все остановились.

— Стой, — крикнул ему Хворов, — ты куда же это?

— Езжай, езжай одни... — отвечал тот, махая рукой и уже заходя на межу. — Не след мне с вами показываться. Я стежкой к себе через гумно... А то скажут, скажут: понавез властей, в уезд, скажут, жалиться ходил...

Барсов сделал было неопределенное движение с тем, чтобы удержать Побратимова, чуть ли не кинуться за ним вслед, но Хворов, схватив его за руку, крикнул:

— Ладно, ступай!.. Да посылай сразу сход собирать.

— В момент, в момент, — отвечал Побратимов, проворно отступая по стежке, — еще не доедете, а я уж поспею...

— Зачем отпустил? — спросил с сожалением Барсов,—дезертир, сукин сын, тоже председатель называется...

— Чорт с ним, баба с возу — мужику легче. Он, увидишь, еще будет против нас же на сходе мужиков подбивать. Но нужно же взойти в положение — им, брат, тоже туго приходится... А, может быть, даже и не явится вовсе, может, и так быть. А какой в нем толк, держать его?.. Вали, трогай дальше.

Хворов ткнул Барсова в бок с тем храктерным звуком, которым приманивают на охоте уток, тем дело и кончилось — тройки покатили

еще резвей. Село росло теперь с каждой минутой. Вот миновали первое одинокое гумно с током, еще не обновленным, еще заросшим весенней травой, проехали чей-то сарай, маячивший обнаженными стропилами своей разоренной крыши, и уже стали мелькать узкие полосы огородов. Село тянулось вдоль большой дороги, вширь подались только избы новой стройки.

— Это молодежь, — об'яснил Аркаше Хворов, — от отцов уходят, выделяются из хозяйств. До революции отцы бы нипочем не позволили семью дробить.

Наконец, свернули с проселка и в'ехали в главный порядок, сбавив ходу. Несколько ленивых собак увязались за ними, провожая сиплым лаем в пределах своего двора и передавая дальше соседкам, как постылую эстафету. Деревенская улица была пуста, изредка попадались лишь сурового вида бабы.

— Что-то словно вымерло село, — сказал Хворов, с беспокойством оглядываясь.

— Спят еще, — догадался Аркаша.

— Об эту пору на деревне не спят. Может, опять косить уехали? Вот сейчас в сельсовете узнаем...

Но помещение сельсовета оказалось запертым. Никто не ответил на стук, никто не вышел на зов.

— Подождем Побратимова, — сказал Хворов тем неуверенным тоном, каким говорят о явно несбыточных вещах.

— Сам говорил, что не придет он, — возразил Барсов. — Поди теперь, дожидайся его.

Он покрутил усы, закурил махорку и бросил вдаль беспечный взгляд — молодец-молодцом.

Решили послать за Побратимовым верхового Гришу. Он от'ехал рысью, а Барсов ушел в ближайшую избу узнать, у кого может быть ключ от помещения сельсовета.

— Эй, тетка! — окликнул тем временем Хворов проходившую беременную бабу. — Зови мужиков на сход, пошли там мальчонку какого...

Баба остановилась, повернула свой огромный живот, прикрыла глаза ладонью сверху, как козырьком, и ответила:

— Схо-од?.. Кому иттить-то? Некому иттить.

— Ну, мужика пошли своего.

— Нет яво... Нет мужиков ноне.

— Куда ж они подевались?

— А кто их знат, куда подевались...

Баба уже отвернулась животом и пошла своей дорогой, не отвечая больше на вопросы.

Вскоре вернулся Барсов с раздосадованным выражением лица.

— Странное дело, — сказал он, — и по избам нет мужиков — одни бабы. И те молчат, никакого толка от них не добьешься.

— Садись-ка, поедем потихоньку за Побратимовым.

Тройки описали по пыльной улице круг и, нежно гремя бубенцами, поплелись назад.

— Вот незадача-то, — недоумевал Хворов. — И что делать?

— Стой! — вдруг крикнул он ватаге ребятишек, проходившей по улице. — Подь-ка сюда!..

Ребята остановились, но подойти не решались, пришлось к ним под'ехать. Старший мальчик — смуглым лицом лет на двенадцать, а ростом не больше как на девять — держал в руке кожаный шитый мячик и оструганную палку, — ребятишки, видимо, шли играть в лапту. Рядом с ним стоял второй, голубоглазый, светлоголовый, с колтуном на голове, на вид лет семи-восьми. Остальные были еще младше. Смуглый казался побойчее, — к нему-то и обратился Хворов с вопросом:

— Куда отцы поехали?

Но мальчик, видимо, оробел и молчал. Молчали и другие, сопя, при чем у светлоголового по желобку верхней губы, под носом пульсировала сопля. Мальчики смотрели на приезжих во все глаза. Часть из них уже готовилась дать стрекача. Хворов повторил вопрос и прибавил:

— Говори, пятачок дам...

— Отцы-то?.. Куда поехали?.. — решительно выдохнул смуглый. — Вона куда — конопли душить...

— Хвастаешь, — сказал тогда светлоголовый.

— Ну куда жа? — заспорил смуглый. — На пруды поехали конопли душить... А, может, и в лес заедут за хворостом.

— Хвастаешь, — повторил светлоголовый и отступил на два шага, видимо ожидая удара.

— Топоры-то взяли с собой? — нетерпеливо храпнул Хворов.

— Взяли... — нехотя отозвался смуглый и опять насел на товарища, — куда же поехали?.. Болташь тут, а сам ни хряна не знашь...

— Знаю... Потьминских поехали бить, вот куда. А ты — конопли!..

Последнее он добавил уже шопотом. Сопля под его носом пульсировала все чаще. Смуглый, казалось, был озадачен.

— Сам хвастаешь, — сказал он, равнодушно посмотрев в сторону и сплюнув по-взрослому, по мужицки. — Ладно-ладно...

— Дядя Гаврила сказывал, — совсем уже шопотом настаивал светлоголовый.

— Ладно-ладно...

— Я говорю, сказывал...

— А то — как дам тебе!.. — вдруг набросился на него смуглый, замахнувшись лопатой. — Уходи отседова!

Но светлоголовый мигом отскочил сажени на две.

— Ладно, не трошь его, — вмешался Хворов. — В какую сторону поехали отцы и давно ли?

— Еще до света... Во...он — тудой!

— И вилы взяли коноплю-то топить?

— И вилы взяли.

— Может и ружья взяли?

— Не-е, ружев не брали...

— Взяли, дяденька, взяли!.. — крикнул издалека светлоголовый, чем, видимо, переполнил чашу терпения смуглого, — он пустил в него лаптой и нагнулся за какой-то чуркой, но тот сиганул еще саженей на десять дальше.

Хворов махнул рукой.

— Дело ясное, теперь вали, товарищи, живей, — сказал он, — вертать Гришу — да и в Потьму.

Но Гриша уже под'езжал вскачь.

— Нет Побратимова! Не приходил еще, говорят, из города... — кричал он.

Хворов еще раз махнул рукой.

— Чорт с ним, ладно, гони, не задерживай...

Тройки опять описали круг и понеслись к другому концу села на дорогу в Потьму. Притомленные лошади бежали плохо, но их нахлестывали, не жалея. Глядя на них, Аркаша совсем упал духом. «Разве на таких лошадях уйдешь, если понадобится, — думал он, — если будет погоня?.. Вот уж не было печали... Теперь против двух сел сразу придется сражаться. Не успеешь подумать, а уж тебя и красногвардейцем сделают. Кто такой этот Барсов? Пират. Раз'езжает себе по деревням да и бесчинствует со своими ребятами во славу революции. Ох-хо-хо! Ну и прогулочка...»

А лошади все шли да шли. До Потьмы было всего верст пять, но дорога пересекалась зарослями кустов, поэтому-то, догнав обоз вонищенских мужиков версты за две до села, заметили его не сразу, а только под'ехав почти вплотную. Тут стали уже серьезно готовиться к бою. Барсов перешел на другой тарантас, опоясался гранатами и пулеметными лентами. С пулемета был снят брезент, люди получили подробные распоряжения на случай стрельбы, а Хворов и Аркаша, кроме того — по запасной винтовке. Ямщик со ставки побелел своим скучным лицом, как говорят, «зашелся» и только вымолвил:

— Товарищи-комиссары, о семействе моем прошу попомнить... Один я кормилец-то. Дозвольте пешим воротиться! Вам тутока недалече, сами по себе управитесь...

Но Барсов уставился на него холодными голубыми глазами, даже не поморщив светлых бровей, а только сыграв скулами мгновенную резвую пляску, и выдавил:

— Я тебе ворочусь!.. С козел не слезешь, пока не прикажу!.. Да не вздумай, как этот давешний, Побратимов, а то влеплю тебе в лопатки из пушки своей не меньше полтора десятка—она у меня достает тыщи за две шагов.

Ямщик только всхлипнул тихонько, Аркашу как кипятком, обварило—так ясно почувствовалось, что перейден круг, в котором вла-

ствует одна лишь безжалостная необходимость, воплощенная в Барсове.

Вонищенский обоз стоял на месте. Мужики не то совещались, не то, заметив отряд, решили пропустить его. Было решено об'ехать той же дорогой, не сворачивая. Полным молчанием встретили мужики подкатившие тройки. Телеги не посторонились, и отряду пришлось об'езжать по паровому полю. В этом уже чувствовался вызов,—телеги были пусты, а мужики с нескрываемым злорадством посматривали на выбивающихся из сил лошадей отряда, тащивших тарантасы по неровному песчаному грунту. Аркаша насчитал около пятидесяти подвод, на некоторых из них сидело по два мужика, полки были накрыты ряднами или рогожами, и подозрительный Аркашин взгляд хотел видеть под каждым спрятанную винтовку или топор. Зорко, угрюмо смотрели и мужики на провозимый пулемет. Об'езжая головную подводу, Барсов спросил:

— Далече ли едете?

— В дальнее поле,—отвечали мужики, переглянувшись, — на яровой клин.

— Что ж, селом думаете?

— Нет, мы в об'езд...

— Это дело. А селом не стоит.

— Почему это не стоит?

— Селом ни одной подводы не пропущу,—отвечал Барсов решительно.

— То-ись как это не пропустишь?.. Что за приказ такой новый?.. Что ж, не проезжее стало село, Потьма-то? — разом отозвались мужики.

— Сегодня не проезжее,—отвечал спокойно Барсов.—А не пропущу просто: поставлю на колокольню пулемет, вот и не пройдет ни одна подвода.

— Что же там у вас сегодня такое? Митин что ли справляете какой или емонстрацию?..—приставал мужик с глубоким смешком в тоне.

Но уж сзади кричали:

— Не пущу!.. Ишь какой выискался—не пускать!

— Пулемет... У нас на твой пулемет два своих найдется!

— Ишь матроску надел, да и командовает...

— У нас у самих, брат, хронтовики не хуже тебя.

— Зря их пропущали, робя...

— Эй, отцы!—привстал тогда Барсов на тарантасе.—Слушай, чего я вам скажу, да передай там задним... Сегодня никому через Потьму нет проезда, такое на это постановление уездного исполкома. Нужно вам на яровое поле—езжайте стороной. И—никаких разговоров! А кто на фронте бывал, тот знает, что такое пулемет...

С этими словами он сел и дал знак отряду трогаться. От'ехали

быстрой рысью. Видно было, как мужики повскакивали с подвод и, нестройно крича, сбились в кучу.

— Что-то ты волгнешь, гусь лапчатый,—заметил Хворов, внимательно посмотрев на Аркашу.

XV

Потьминский сход собирался на вольном воздухе, перед помещением сельского совета.

Вертлявый, развинченный, с наплывом жирного глянца на лице, пиджаке, коленях и даже картузе, секретарь Ладушкин, словно для того, чтоб довести до конца свое сходство с каптенармусом, носил за оттопыренным ухом химический карандаш. Порошком этого карандаша была испачкана верхняя бритая губа, синие крапинки глубоко в'елись в поры кожи и издали походили на синяк. Он никогда не улыбался и никогда не хмурил безволосых бровей. Этот Ладушкин был первым встретившим приезжих, он же посвятил их в настроения потьминских мужиков.

После драки, после первого дня под'ема и засилия замешанных в убийстве крикунов, когда собирались итти в Белоспасск разгонять исполком и решали во всяком случае не выдавать виновных, мужики рассудили, что имена их все равно станут известны, так как вонищенские были свидетелями убийства. Тогда положили виновным скрыться, а остальным отговариваться в случае чего незнанием. Переспавши вторую ночь, мужички стали немного слабее духом, и Хворов не счел нужным ни ждать ареста виновных, ни самому заниматься этим делом, но предложить им явиться с повинной самим. С тем и стали собирать сход.

Потьминский председатель сельсовета, глубокий старик, безличный, выживший из ума и выбранный, очевидно, для формы и для нелепости, только покряхтывал и был совершенно бесполезен. Он шамкал беззубым ртом, безотлучно сидя в сельсовете и принимал все, что делалось, как должное. Так же, должно быть, принял в свое время известие о драке, об убийстве, не выпуская из своих рук ольхового посошка, безразлично помаргивая карими, лишенными ресниц, гноящимися от старости глазами.

Сход собирался медленно. Приезжие и члены сельсовета сидели за столом, врытым столбами в землю, накрытым суровой скатертью, и подсчитывали число присутствующих. Вслед за людьми из хлевов, из лошадиных стойл налетали мухи. Мужики размещались в круг, кто стоя, а кто садясь на траву, тихо разговаривали, больше молчали и курили махорку-самосадку, то и дело сплевывая на землю. Никто не выказывал нетерпения до тех пор, пока не раздалось из-за спин сразу в два голоса:

— Начинай!.. Пора! Открывай сход!..

Тогда все зашевелились и поддержали:

— Кого ждать? Некого боле, все тута...

Хворов об'явил сход открытым и взял себе первое слово. Говорил он внешне серо—часто не находил нужных слов, повторялся, загибал политические термины, наверное, непонятные мужикам,—но говорил то, что хотел, и выходило у него именно то, что он думал. Упорно выбираясь из трясины случайных слов, он смотрел перед собой в одну точку, куда-то на дальние березы и тяжело отламывал новые мысли, словно у него в руках был большой каравай ржаного хлеба, да не было ножа, а приходилось разнимать поровну на мелкие части. Он говорил о том, что когда делятся крестьянские семьи, то нет никакого резона вносить в дележку суматоху, крики, силу, затевать ссоры, что ничего, кроме плохого, из этого не получается. Тем более это грешно и скверно, когда дело идет о том, чтобы справедливо разделить землю, которая, наконец, переходит целиком крестьянам и никуда от них не уйдет.

— В ссоре, товарищи,—говорил он,—всегда обе стороны виноваты. И ты мне не тычь, что, мол, вонищенские не по праву захватывают луга,—это мы разберемся, кто по праву, а кто не по праву. Все равно не будет, товарищи, так, чтобы земля осталась за захватчиком... Кому это нужно—доводить дело до драки... доводить до драки, до убийства? Кому это пойдет на пользу—силком захватывать землю? Да, захватывать! Мы не для того освобождались от захватчиков-помещиков, чтобы допустить новые самочинные захваты. Бросьте грязное дело, кто так думает. Кто так думает, вы того не учли, что теперь новый хозяин—народ, хозяин зоркий, товарищи, и не попустит всяких безобразий. И я говорю, что всякая заварошка и агитация среди несознательного элемента, это — мы знаем, чьих рук дело. Это мы хорошо знаем, товарищи, и революционный народ, революционный крестьянин не даст этому потачки...

Мужики слушали внимательно, не перебивая никакими возгласами, и Аркаша думал, что Хворов разойдется часа на два. К большому его удивлению Хворов очень быстро прервал свою речь заявлением, что теперь сходу будет нелишне узнать о мероприятиях уездного земельного комиссариата в области социализации и каково состояние землеустроительных работ к настоящему времени. Докладчиком он назвал губернского инструктора, и Аркаша неожиданно быстро для себя очутился перед сходом, встретившим его хмурыми ожидающими глазами.

Как ни подготовлен бывает неопытный оратор к неизбежному выступлению, всегда-то оно кажется ему несвоевременным: или слишком его затянут или слишком с ним поспешат. Тем более несвоевременным показался Аркаше его собственный выход. Он смутно чувствовал, что, несмотря на внешнее спокойствие мужиков, в них таится какая-то созревшая и неразряженная сила, он понял, что Хворов, быть может, умышленно не принял на себя разряда, сократив свою речь. Аркаша решил ни за что не ставить себя еще раз в положение козла отпуще-

ния, а построить свой доклад так, чтобы по возможности избежать спорных мест. Он скучно и издалека начал с губернского с'езда, с тех докладов представителей, которые характеризовали особенности положения каждого уезда, он пояснял все цифрами и приводил сравнительные цифры по Белоспасску.

— Из этого вы видите, товарищи...—тянул он, а сам между тем перебегал глазами с одного на другого участника схода, с одного на другое лицо.

Зловещими казались ему эти лица. В некоторых из них ясно сказывались мордовские черты, но большинство уже утратило чистоту крови под влиянием браков с татарами и славянами. Прямо перед Аркашей сидел приземистый, широкоплечий мужик, смуглый, черный волосом и с таким приплюснутым, ушедшим в буйные усы носом, что, казалось, он нюхает все время свои усы, а те, выбиваясь, как порожистая речка из-под камня, переливались через губы в волнистую, уже с проседью, недлинную, но широкую, мягкую бороду. У соседа его борода была, наоборот, жестка, не широка и торчала вперед острием, как смоляной кол, по-разбойничьи. Как будто, голова эта была когда-то отделена от туловища и долго пролежала где-нибудь в поле—вот и замялась раз навсегда борода ее вперед и даже чуточку кверху, короткие усы порыжели от солнечных лютых лучей, а темные глаза налились кровью... У следующего было лицо плоское, как раздавленный валенок, по плоским щекам его от толстой переносицы шли вниз и пропадали в светло-рыжей бороде круглые, как канаты, мускулы вечной, сонной улыбки. Нос жил на этом лице нахальным хрычом, глаза исподлобья блудили, на голове справляла второй десяток лет облезшая, порыжевшая шапка искусственного каракуля. Еще дальше сидел какой-то блажной: по дряблым, впалым щекам его росли редкие кустики,—не родила кожа волоса,—нижняя челюсть высовывалась вперед задником калоши, губы все время сжимались в кольцо, словно мешок, задернутый веревочкой. И все эти лица, сколько мог их приметить Аркаша, смотрели на него с тоской, упрямством, нежеланием понять и скрытой враждой. Только одно показалось ему отраднее других—это был благообразный лик совершенно седого и бодрого старика с высоко поставленным крепко вырезанным носом, с голубыми глазами, над которыми стальные брови вились, как будто дымились от синих угольков глаз, таких синих, как угарные огни в потухающей печке. На этом лице Аркаша останавливался взглядом, ему-то и говорил по преимуществу, но старик все поворачивался в профиль своим правдивым ликом, не считая нужным вслушиваться в доклад.

Аркаша уже перешел к изложениям трудностей оценки земель и к причинам, задержавшим окончательное распределение их по Тень-гушевской волости, как вдруг заметил, что сход заволновался. Он еще не успел ничего понять, а Хворов уже прервал его движением

руки. Аркаша посмотрел по направлению всех взглядов и увидел, что из-за поворота движется целая толпа мужиков.

— Вонищенскии, вонищенскии... — слышалось вокруг.

Кое-кто встал, торопясь улизнуть.

— Не расходись!—закричал Хворов.—Сход не кончен! Спокойно, товарищи, выясним, что за люди, зачем сюда, и продолжим...

Толпа двигалась неспешно и уверенно. Их ждали молча, так же молча подходили и они. Хворов перекинулся несколькими тихими словами с ближайшими соседями. Аркаша одним паническим взглядом определил все пути возможного бегства. Подпустив толпу шагов на двадцать, Хворов встал в сопровождении Барсова не расстающегося со своими гранатами, вышел навстречу.

— Стой!—крикнул он.—Что за народ, по каким делам?

Толпа остановилась, кроме одного темной меди спокойного вия. Он вышел вперед и сказал, сняв шапку:

— Как по постановлению хрестиян села Вонищи, просим разрешения поприсутствовать на сходе потьминских... Как насчет лугов также и всего прочего. Сказывали, проезду ныне нет, явились мы пешими...

Он едва приподнял свои стопудовые веки и оглядел круг потьминских мужиков.

— Ну, что ж,—сказал, подумав, Хворов,—выберите троих делегатов, пусть присутствуют, потом вернутся, доклад сделают... А остальным здесь и места нехватит, не докричишься... Остальные канайте назад.

— Мало троих!—закричали из толпы.—Давай всех!.. Ничего, докричишься. Голос-то комиссарский!..

Хворов твердо стоял на своем, не уступали и мужики. Наконец, после долгой торговли сошлись на десяти. Выборы делегатов прошли необычно быстро, видно вонищенские были настроены деловито. Делегаты заняли место, держась кулаком, Хворов подождал, пока остальные скроются из виду, и вновь возобновил прерванное собрание. Снова получил слово для окончания доклада Аркаша.

На этот раз дело пошло много хуже. Пришедшие оказались и активнее и задористее. Пришлось по их требованию повторять кое-что из сказанного, Аркаша скоро вовсе потерял план своей речи. Едва произносил он слово «комиссия», как уже раздавалось: «Комессия, ядренать, а Лясникова-то сковырнули!..» Стоило Аркаше сказать «землемер», как уж перебивали: «Что комиссар, что землемер, один чорт!..» Хворов пригрозил удалением со схода, но это не помогло, потому что дотоле притаившиеся потьминские вдруг взбудоражились и сразу перещеголяли вонищенских в нарушении дисциплины собрания.

Кое-как Аркаша кончил и торопливо сел поближе к Барсову, под его защиту. Хворов, еще раз потребовав соблюдения порядка собрания, предложил задавать докладчику вопросы. Довольно долго

желающих не находилось, все незаинтересованно, равнодушно посматривали по сторонам. Наконец, взял слово вонищенский вий и спросил, что будут делать с виновниками убийства. Тогда посыпался сразу град вопросов—почему землемеров не видать и почему комиссары заявились только после того, как произошло убийство. Аркаша не успевал их записывать, Хворов не успевал наводить порядок, и вот собрание явно вырвалось из рук председательствовавшего и уже понеслось, управляемое стихийными законами людских озлобленных скопищ. Аркаша видел, как потьминский блажной, что-то крича, порывался подойти к вонищенскому вию, как его нехотя удерживали, а на самом деле подталкивали, и блажной, спотыкаясь о чужие ноги, подскочил к вонищенским делегатам.

— Мы те луга спокон веков арендовали,—гудели вонищенские.

— Арендовали вы!.. С кислым молочком!—надрывался блажной.

— Спокон веков на них свой пот проливали.

— Уж вы проливали!

— С кислым молочком...—подпевал блажной.

— Хоруны, вот вы кто. Хапуги да хоруны.

— Все равно не дадим...

— Хапуги—всею бы землю нахапать... Да хоруны—по сундукам все хороните...

— Все криком хочете. Ты им скажи, Гордей...

— Мельницу-то себе наровите?

— Стой!—кричал Гордей.—Не запужашь, не на махонького напал... Смародовские луга Потьма сымала?

— Ну, и что ж, смародовские?..

— Хфедоровских вам двести десятин дадено?

— Как дадено? Каких двести?

— Что вертишься, как береста на огне?..

— Таких двести... Меряных - считаных...

— Ну, и что ж, двести?

— Ну, и дополучай к ним с Мотызлея, из смародовских...

— Э - э!..

— ...коли Потьма их завсегда арендовала.

— Э-э...э!.. А этого не хошь?.. — блажной показал кукиш, на губах его играла пена.—Сунься-ка поди за хфедоровскими... Они, вон, под комиссаров взяты...

Спор разрастался так быстро, что Хворов уже не мог ни остановить, не вмешаться в него. На президиум не обращали внимания, потьминские понемногу сдвигались вокруг вонищенских, блажной явно провоцировал новую драку, его подбадривали сзади, подталкивали, и он наскакивал, раз'ярясь все больше.

— Рощу-то тожа себе наровите?

— Да ты што налетаешь? — уже отмахивался от него виеподобный Гордей.—Коров казаковских позабрали...

— Коров-ов!.. Табе б еще и коров!

— Вас бить да бить, да обитки в спину вколотить...

— Отвяжись ты от мене...—Гордей слегка отстранил его рукой.

— Ты что за грудки хватаешь?..

— Отстань!—говорил Гордей, пятясь.

— Ты за грудки-то не хватай...—кричал блажной, наседая.— Не лапай, я табе говорю...

Вдруг, растолкав толпу, к спорящим подбежал какой-то плюгавый мужичонка. Не дав никому опомниться, он размахнулся и наотмашь ударил Гордея, не попал, еще раз ударил, опять не попал, еще и еще раз — все то же, отстранялся тот, да и мужичонка, видимо, не хотел, быть может, боялся попасть и бил-то по-бабьи, хоть и гакал с каждым промахом, словно дрова колол, всей грудью... Мужики вскочили на ноги, толпа ухнула и взвыла...

Все перевернулось в голове Аркаши, он и сам не понял, как в один поскок очутился далеко вне пределов толпы... Воздух вдруг просверлило словно коловоротом огня и металла, как будто все кулаки потьминских и вонищенских мужиков опустились на голову Аркаши грохотом адской молотьбы... Какая-то дверь, какая-то лестница попались на пути его, он вмиг взобрался на лестницу и тут лишь, осмотревшись, сообразил, что он на чердаке потьминского сельсовета. Кругом была полутьма, только четыреугольный люк снизу бросал рассеянный полусвет, да слуховое окошко мечевидным лучом пронизывало поднятую Аркашей и теперь взвешенную в воздухе пыль. За ним была полная тишина. Аркаша с кузницей в груди, со свистящим дыханием и звоном в ушах на цыпочках подошел к окошку и глянул наружу. Он увидел тот же, правда, весьма поредевший, но мирно настроенный сход, заметил сидевший на старом месте президиум и только в одном обнаружил перемену: в сторонке стоял Барсов с красногвардейцем при винтовке и под их надзором—плюгавый мужичонка, всполошивший сход.

— Возьми-ка вон еще того, —говорил Хворов, показывая на задиристого блажного.

— Ну-ка... Вылазь!—подтвердил Барсов.

Блажной артачился, пробовал искать поддержки у соседей, но Барсов очень решительно двинулся к нему с револьвером в руке, а соседи очень дружно вытолкнули его навстречу, крича при этом:

— Иди, что ли!.. Озоровать-то горазд, а к ответу не хоцца...

— Разве можно—на сходе озоровать...—говорил кто-то совсем убежденно и благонамеренно.

— Все через вас, крикунов, народ пропадает...

Тогда блажной очень покорно вылез из рядов и побрел впереди своих конвоиров к зданию совета. Сообразив, что арестованных запрут в нижнее помещение, Аркаша проворно и тихонько спустился с чердака, выйдя навстречу им в ту минуту, когда Барсов говорил арестованным:

— Ничего, ничего, посидите ночку в холодной, глядишь, оно и лучше будет... С кислым молочком!

Аркаша протерся мимо них по стенке и вышел из сеней сельсовета, рассуждая: «Не бьют еще... Наша взяла».

— Куда это ты летал-то?—встретил его Хворов.

— Ребят разыскивал, я думал, они в сельсовете,—отвечал Аркаша, бегая глазами.

— Чего ж их разыскивать, они и сами нашлись.

Это было сказано с таким веселым и хитрым оттенком в голосе, что Аркаша не счел возможным расспрашивать о причинах общего умиротворения. Лишь после из разговоров он узнал, что красногвардейцы с пулеметом сидели на колокольне недалекой церкви и, как было условлено, выпустили по воздуху пробную очередь для острастки, после чего сход, наполовину разбежавшись, остался в составе самых благонамеренных приверженцев порядка или старавшихся казаться таковыми.

Вслед за тем Хворов очень легко настоял на постановлении о немедленной явке в Белоспасск всех замешанных в убийстве. По его предложению село было об'явлено на особом положении впредь до ликвидации дела, вонищенским делегатам было наказано передать обо всем своим односельчанам, а в Потьме решили организовать временную общественную самоохрану.

Сход кончился довольно быстро, но долго еще пришлось Аркаше толковать с потьминскими мужиками на тему о промысловых сельскохозяйственных артелях, в то время как Хворов с Барсовым были заняты распределением нарядов на ночные патрули.

«Скользкий народ,—думал Аркаша, видя, что мужики проявляют как ни в чем ни бывало самый оживленный интерес к организационным вопросам артелей, — не поймешь его... Когда он плачется в серьез? Когда драться хочет? Вот и делай с ним революцию... А прав, пожалуй, Хворов—Потьма-то покулачистей, не даром стоит крепко за свое добро...».

XVI

— Не беспокойтесь, товарищ Пальчиков, — говорил секретарь Ладушкин, — мы вас сейчас в лучшем виде устроим. Вам денька на два? Одним словом, соответственно устроим.

И он начал пространный рассказ о том, почему ему пришлось покинуть город Липецк, где «открывалась ответственная работа» по кожевенному делу.

— Тут старшую сестру выдавать пришлось, а тут и младшая на выдании, а папаня, конечно, престарел. Сейчас вон перенадела ждем, да и строиться...

Аркаша прервал его нетерпеливым напоминанием о своей усталости, но Ладушкин тут же с широким жестом успокоил:

— Не сомневайтесь, товарищ, я сказал — конечно, мое слово свято! Устроим вас необыкновенно. Конечно, чего бы лучше остаться вам в совете — помещения много... Да вот, диван у нас был — весь изломали, и самоварчика здесь некому поставить. К попу вы, безусловно, не пойдете в религиозную путину... Я бы вас к себе,—милости прошу,—но, знаете, по случаю невыносимого количества клопов сами мы в сарай на лето перешли. Поставим вас к Андрону Сухарю — самостоятельный мужик и помещение просторное... Нет, виноват, тиф у Сухаря, да и жена рожает. Как же быть? К учительнице? У ней детворы много, все забито...

Выходило так, что устроить некуда.

— К Прасковь-Медведихе, что ли?—спросил нерешительно Ладушкин.

— Хоть к чортовой матери,—сказал Аркаша грубо,— и пойдемте только скорей — ночь на дворе.

— Не знаю вот, понравится ли вам, тесновато у ней... Ну, уж сами там увидите, она у нас, как хохлы говорят, бабует, повитуха, значит.

Так и попал Аркаша к старухе Прасковье, встретившей сурово. Но ему было не до нее. Купив крынку топленого молока, выпив ее духом, он завалился на сеновал в вялое сено и до утра спал тем редким сном, после которого оживаешь, как после освежительного купанья. Встал Аркаша не раньше восьми часов, когда хозяйка только-что откуда-то вернулась и вздувала самовар.

Бабка Прасковья была скупа на слова. Маленькая, с кулачком вместо лица, с толстой, как бы припухшей кожей на нем, с редкими и глубокими морщинами, разрезавшими лицо на смугло-серые подушечки, одетая в чистые дареные роженицами ситцы, она двигалась не по возрасту резко и деловито. Смолоду, говорили, жила она с медведем, об этом не преминул рассказать Аркаше Ладушкин, об'ясняя прозвище Медведихи.

...Что медведь бабу любит и зря зла ей не сделает, это давно известно. И когда однажды, будучи еще круглой и крепкой девкой, забрела тогда еще Параша в лесной малинник, то и случилось ей повстречаться с Мишкой. Место было глухое, в овраге, среди бурелома векового бора, малина была мелкая, темная и душистая. Круглая Параша шла от куста к кусту, собирая ягоду в берестяное лукошко и все досадовала: овраг, кажись, далекий, никем несысканный, а все, словно, исхожен — малина примята, кой-где поломана, заслюнявлена и даже заплевана, будто пьяные парни прошли. Оглянулась круглая Параша и сомлела: в двух шагах стоит Мишка, морда в малине давленой, смотрит глазом сладкоши, сам лапой поманивает... Как приняла Параша медвежью ласку, вольно или силком ее Мишка сгреб, но только дознались потьминские девки про то, как она в берлогу ходит, раззвонили по селу. Через это и замуж не вышла, через это, говорят, и открылась ей сила трав лечебных: куреслепа, душицы, зори садовой, водяного ка-

сатика, череды, черемицы и чернобыльника. Так и прожила она свой век суровой, неговорливой, одинокой. Только под старость взяла к себе сиротку Анютку.

Обреченный на безделье в ожидании Хворова, не имея никакой охоты бродить по мордовскому селу, Аркаша сидел в небольшой горнице с чисто вымытым, оскребанным полом, лавками и столом, покрытым полотняной скатертью в мордовской вышивке, и стриг себе маленькими ножницами ногти. Бабка Прасковья допивала с блюдечка мятный чай. Глаза ее с запавшими веками и зрачками цвета зимнего бледного неба были остановлены не думой, не движением мысли, а неподвижным старческим сугробом ее. Коричневые губы тихонько дули на блюдечко и втягивали сдобренный молоком чай. Десятилетняя курносая, русоголовая Анютка, сидя на низком подойнике, распутывала клубочки шерсти, перематывая ее на веретено. За маленькими окнами ветреный день играл по небу упругими, белыми, как цветная капуста, комьями облаков.

«И совсем это не губы, — пришло Аркаше в голову, — это отверстие для приема пищи. Даром, что бабкой зовут,—зубы-то, поди, все целы. Лет, должно быть, под семьдесят, а меня переживет».

— Бабушка, — спросил он громко, — сколько тебе лет будет?

Старуха ничего не ответила, утерла рот, загремела фаянсовыми чашками и перекрестилась на угол.

«Может быть, не говорит по-русски? Почему же носит платок, а не мордовский кокошник?»—подумал Аркаша, но вопроса повторять не стал, решив заплатить угрюмой старухе невниманием и начал насвистывать.

— Гляди не высвистись, — сказала тогда Прасковья, — в избе, слышь, не свистят.

— А?—спросил Аркаша нахально, но опять не получил ответа, бабка уже отошла к сундуку.

«Говорит все-таки по-русски»—заметил Аркаша и вовсе обиделся, но свистать перестал.

Бабка присела к Анютке и принялась ей в помощь распутывать шерсть. Но теперь какая-то мысль занимала ее, глаза ее то и дело поворачивались в Аркашину сторону и, наконец, не сдержавшись, она спросила:

— Дорого за ножнички платил?

Аркаша тут воспользовался возможностью отомстить и промолчал, как будто этот вопрос не относился к нему.

— Небось, дареные, — продолжала тогда бабка.

Аркаша опять промолчал и даже отвернулся к окну.

— Должно, дареные, — не унывала бабка. — А ты старшим-то изволь, батюшка, отвечать со всем почтением. Я постаре тебя. Сколько, спрашиваю, за ножницы плачено?

— Не помню, давно покупал, — отвечал Аркаша нехотя, забавляясь ее строгостью.

Бабка замолчала, но, видимо, ножницы в его руках не давали ей покоя, потому что, продолжая на них посматривать, она опять начала:

— Мне бы такие-то. Дюже способно пупочки резать...

Пупочками, как уже знал Аркаша, называют в тех местах потроха, чаще куриные. И, раздумывая о бабкиной кулинарии, он спросил:

— Ты что ж их крошишь? Так ножом удобнее.

— На что их крошить?.. Ножом вовсе неспособно. Надысь у Андроновой Натальи, как принимала, хватились — во всем доме ножниц нет. Так и пришлось ножом, хоть и дал бог девчонку.

— Каким же ты ножом? — понял Аркаша и, поняв, ужаснулся, сразу ощутив нытье в низу живота.

— Кухонным, каким хлеб режут. А когда — приходится ножницами, что овец стригут, все получше. Норовлю, если мальчик, то ножом: «Давайте, мол, нож, кричу, чтобы плотником был али столяром хорошим». А если девочка, то тады ножницами, может, модисточкой будет. А то случается и зубами, кады нет ничего...

Бабка улыбнулась своей безжизненной улыбкой.

«Вот яга-то»—содрогнулся Аркаша и только лишь собрал воздуха, чтобы спросить, скольких рожениц отправила бабка на тот свет, как случилось нечто, совершенно отвлекшее его внимание. В горницу, тычась, как со слепу, плечами в косяки низких дверей, вошел босой высокий мужик в неподпоясанной рубахе. Оба глаза его были почти закрыты, он едва приоткрывал левый, чтобы обнажить покрасневший белок. Из-под припухших век по пыльным щекам текли грязные слезы. Спутанные волосы, темные усы и борода были в соломе.

— Бабка Прасковья дома? — закричал он и тут же сел на лавку.

— Что шумишь? Дома я, ай не видишь?

— То-то что не вижу. Ну, здорово, бабушка.

— Будь здоров. С чем пришел?

— Да вот, видишь ты — просо молотил... Чудок с летошнего осталось. Думал отмолотить да и отвеять сразу, ветер-то ноне хороший. Ан, половины не перемолотил, ости-то на ветру — ишь как! —в глаз да в глаз. Перешел я энтим боком под ветер — другой глаз запорошило. Ости-то у проса длинные, зубчатые, как острога: влезть— влезет, а назад — никак. До того дошло — уж и не видно мне ничего...

Мужик беспомощно развел руками. Бабка присматривалась к нему с любопытством, которое не показалось Аркаше профессиональным.

— Ты меня, бабушка, может, не признала? Матвей я Сустрехов.

— Знаю, как не знать,—ответила бабка уже равнодушно, — небось у Федоры принимала на Покров день.

— Ну вот, вот...

— Ладно, сиди туто-ка...

Бабка вытерла руки передником и смело отвернула матвеевы веки. Матвей закатывал глаза, но сидел смирно. Аркаша хорошо видел с дю-

жину длинных остей, набившихся в каждый глаз и засевших во внутренней розовой оболочке век.

«Что она будет делать?..» — подумал Аркаша, с трудом переводя дыхание.

— Ты бы в больницу, к доктору, — сказал он, но ему никто не ответил.

Бабка отстранилась с бесстрастным лицом. Аркаша переводил глаза с нее на Матвея в мучительном ожидании. Он совершенно не переносил физической боли. Вид открытой раны, нарыва или даже простого пореза действовал на него оглушающим образом, а всякий хирург внушал ему непреодолимый ужас. И теперь, когда все внимание присутствующих сосредоточилось на бабке, когда все в избе — Матвей, Анютка, да и он сам — стали, казалось, зависеть от первого ее движения, Аркаша, будучи не в силах превозмочь себя, встал, чтоб выйти. Но было уже поздно: бабка взяла в руки голову Матвея и, сказавши: — сиди так-то, смирно! — приблизила свое лицо, высунув изо рта бледно розовый язык...

Люди по-разному выдают свои затаенные мысли. У иного в минуты решительные глаза бегают, как ртуть на блюдечке, — того и гляди выскочат — противные глаза! У иного лицо сворачивается в глупейшую, пошлейшую, на один бок улыбку, и совсем-то не к месту она... Иной не дрогнет лицом ни в каких переплетах, да, смотришь, неймется под столом щеголеватому его ботинку — так и егозит из стороны в сторону...

Аркаша в минуты потери самообладания непроизвольно выделывал сложную фигуру. Помнится, первый раз заметил он это за собой в тот злополучный день, когда, решительно нуждаясь в деньгах для внеочередного каприза эстрадной дивы Нины Таврической, залез он в ящик папашиного стола и пополнил свой карман пятисотрублевым билетом. Каким образом напал тогда папаша так быстро на след похитителя, было и до сих пор загадкой. Скорее всего выследил потому, что было это, надо сознаться, не в первый раз. Взрослого своего сына — шел ему тогда двадцать второй, и носил он уже студенческую фуражку — папаша Пальчиков отхлестал собственноручно по щекам, уверенный, что тот не пикнет из боязни лишиться наследства. Аркаша хорошо помнил, как при каждой пощечине отец приговаривал:

— Что вертишься, как кобыла, которой возом зад отшибло?! не ндравится?! А по ящикам лазить ндравится?.. У-у-у...у! Трясогузки пар-шивые! Только и умеете, что из отцовской кассы воровать...

Папашины оплеухи дали Аркаше первый толчок к тому, чтобы остепениться. Но с тех же пор каждая минута неприятного волнения сопровождалась у него этим непобедимым движением. Каждый раз он ясно чувствовал, как начиналось оно легким изгибом бедер, который силился он остановить. Но — куда там! — в следующий миг бедра и весь тощий Аркашин зад, круто повернув, уже двигались в обратную сторону, и весь-то он начинал извиваться, как мальчишка, кото-

рого товарищ так посалил твердым черным мячиком в место, откуда ноги висят, что ежится он, выпучив глаза, забыв о мячике, и только потирает онемевшее от осеннего холода и от удара место, покуда не отойдет...

И теперь, загипнотизированный бабкиным поведением, Аркаша стоял и с каждым движением ее розогово языка, вылизывавшего Матвеев глаз, судорожно вилял своим задом. Матвей покряхтывал, но не сопротивлялся, бабка сплевывала и вот, наконец, отпустила его голову, плюнула напоследок и утерла губы концом головного платочка.

— Ну, как теперь? — спросила она.

— Кажись, чудок вижу, — отвечал Матвей, озираясь сквозь приоткрытые, все еще распухшие веки. — Вот еще в левом глазу что-й-то не того, не ладно...

— Ну, сиди, сиди, я еще маненько...

Бабка снова пожевала губами, взялась за его голову... Но тут Аркаша не выдержал. Круто повернувшись и даже взвизгнув слегка и сдвинув лопатки, словно его окатили по позвоночнику холодной водой, он выбежал из избы.

XVII

— К чорту, к чорту, — говорил он кому-то, помахивая рукой и впопыхах загребая ногами густую пыль, далеко развевавшуюся под крепким ветром, — ну вас всех... Пусть уж Хворов и кончает, ему нравится, сам набился в поездку, пусть и кончает... Что я, в самом деле? Земельный спор—особый вопрос, что мог—сказал, чего еще нужно? Какое мне дело? Чего я буду ждать, я—инструктор по социализации, а не следователь... Брр...р!.. Вот ведьма-то проклятая, животное какое-то... Жаль, на кострах их не жгут теперь...

В совершенно истерическом состоянии Аркаша вбежал в избу сельсовета и, завидев Ладушкина, тут же об'явил ему, что должен срочно выехать в Белоспасск, почему и нуждается немедленно в лошадях.

— Как же, — растерялся Ладушкин, — вы хотели навестить нашу артель пчелинцев, принять устав и вообще...

— Да что у вас — шесть-семь человек и обчелся... Тут покрупнее дела. Когда-нибудь займемся, а сейчас спешу—некогда.

— Где же я вам лошадей возьму?.. Я думал, вы с товарищем Хворовым вернетесь. Если бы, знаете, нормальное время, а то в виду обстоятельств. Уж и не знаю, как быть. Не можете ли вы своего красногвардейца предоставить в помощь?

Аркаша был готов на все. Немедленно отправившись к Барсову и застав его за игрой в шашки с прыщавым Гришей, он так убедительно изложил необходимость своего срочного возвращения, что Барсов отнесся к этому, как к вопросу первостепенной важности.

— Гриша, — сказал он, — сельсовет ихний, конечно, под нашу бирку норовит, но, ничего, пускай на нас валят—пособи.

И Гриша, захватив винтовку, вразвалку пошел на помощь Ладушкину. Аркаша в своем нетерпении сопровождал их вплоть до двора, указанного Ладушкиным, и здесь остался наблюдать с тем, чтобы сразу же отправиться в дорогу.

Двор был большой и богатый, наполовину затененный тремя древними, прекрасными березами, плескавшимися под ветром. Изба, просторная, крытая железом, высокие крепкие сараи, длинные навесы, под которыми лежали плуги, молотилка, сеялка и рессорный тарантас,—все говорило о достатке хозяина. Посреди двора стояла телега на железном ходу, но лошадей не было видно. Большая лохматая собака бросилась к ногам пришедших и, захлебываясь лаем, завертелась волчком, то надвигаясь, то отскакивая от приклада Гришиной винтовки. На звук ее лая из избы вышла высокая, дородная старуха, словно ожидавшая этого лая.

— Кого надоть? Нет хозяев, уехали мужики в поле, а сам в городе.

— Как уехали, — возразил Ладушкин, — а телега на дворе?

— Сам на дрожках, мужики верхами. А что нужно-то?

— Да лошадей и нужно. Отвезете по наряду от сельсовета в город...

— А!.. Ну нет лошадей, всех угнали мужики. Какие теперь наряды...

Старуха держалась спокойно, с большим достоинством.

— Уехали, говоришь? — вмешался тут Гриша. — А ну, покажь, тетка, сараи.

— Погляди, сынок, погляди.

Старуха перевалила уткой через три ступеньки крыльца и, прежде всего хозяйственно заперев на щеколду оставшуюся открытой калитку, поплыла к сараю.

— Ворота-то запирать нужно, сынки, запирать. Народ теперь всякий бродит... Ну вот, гляди...

Гриша вошел в сарай, наметанным глазом сразу обнаружил сбрую при уздечках, висевшую на больших деревянных костылях вбитых в стену, и поворошил ее рукой.

— Выкатывай, тетка, тарантас, — сказал он.

— Какой тебе тарантас? Говорю, лошадей нет.

— Нет? Пойдем поглядим дальше.

— Погляди, голубчик, погляди... Как нет — откуда ж я табе возьму? Погляди, погляди, — приговаривала старуха, хлопотливо поправляя сбрую и закрывая ворота сарая.

Так же переваливаясь мелкой походкой жирной женщины, старуха повела пришедших в коровий хлев, в овечий загон, под навес, в ригу, даже хотела сводить в ледник, занимавший особую постройку, но Гриша, уже потеряв терпение, сказал:

— Да ты, тетка, веди к лошадям, нечего нам хозяйство свое показывать, не сватаемся.

— Говорю ж табе, нет лошадей, в поле угнали, а ты все свое, все не веришь...

— А это что за сарай, замкнутый? А ну, давай ключи!

— Калдовая, сынок, калдовая. Ключей-то нет, сам увез.

— Ключи увез в город? Не доверяет тебе?

— Да вот, знать, не доверят. Увез...

— Тогда колуном придется. Давай, тетка, колун.

— Нашто табе колун?

— Отомкну колуном, — хладнокровно сказал Гриша.

— Да нешто можно?! — всполошилась старуха. — Да кто табе приказал-то? Нешто можно разбойничать так-то?..

— Никто не приказал, безо всякого приказа возьму да отомкну. Тебе говорят добром — дай ключи.

И Гриша решительно вставил винтовочный штык в пробор замка.

— Да ты постой, постой, — уцепилась старуха за его руки. — Разбойник, право! Не тобой строено, тоже, ишь, ломать выискался!.. Погоди, говорю, пойду в горницу, погляжу, может, другой-какой ключ подойдет...

Гриша вынул штык из пробора, и старуха поплыла, причитая, к крыльцу избы, где стояли мальчик и девочка, издалека наблюдавшие за происходившим.

— Раз-бойники! Кряста на них нет. Пробор ломать! Прямо разбойники...

— Может, и в самом деле нет лошадей?—сказал Аркаша, оставшись наедине со своими спутниками.

— У них четыре лошади, — отвечал Ладушкин, — хозяин - то самостоятельный... Не может быть, чтобы всех угнали. Брешет старуха, должно быть, еще издалека нас завидели, знают, что их черед нести наряд, вот и спрятались.

— Саботировают, — сказал Гриша. — Сейчас!..

И больше ничего не добавил, только почесал свой густо-русый загривок, отчего сдвинулась его синяя заломленная, продавленная фуражка на самый лоб, но он ее не поправил, а только приподнял свое толстощекое лицо и сплюнул толстогубым ртом, продолжая посматривать на крылечко избы.

Старуха вскоре вернулась, походка ее стала торопливее, в руках был ключ, на щеках играли кирпично-красные пятна.

— Может, и подойдет, — сказала она, — замок-то простой.

Ключ, действительно, подошел. И за запертой дверью оказались четыре прекрасные стойла с настланным полом, и в трех из них по лошади.

— Вот же они, кони, — сказал Гриша с деланным изумлением. — Гляди, тетка! А мы-то их искали!.. Значит, пехом мужики поперли в поле?

— Выходит, что пехом... Что ты мене доспрашиваешь? Что я табе, жена, что ли?.. Молод еще, батюшка!

— Ну, ладно, тетка, закладывай тарантас.

— Ку-да. тарантас?!

— Живей, живей, говорю, закладывай.

— Ку-да закладывать!? — громче взметнулась старуха. — Да ты что, обалдел, сынок?! Без самого да закладать?..

— Ну, не хочешь, я сам запрягу...

И Гриша, решительно отставив к стороне винтовку, принялся выкатывать из-под навеса тарантас. Старуха попробовала, было, повеситься ему на руку, но он так замахнулся на нее хомутом и так гаркнул: — убью!!. — что она отскочила, перекрестившись.

— Ну, и разбойник!.. Ну, и грабитель, каянный, царица небесная! Да как у тебя, рука-то намахнулась на меня, старуху?.. Супостат истинный!..

В ней теперь была странная смесь подавленной привычной спеси, изумления, боязни перед Гришиной настойчивостью и остатка суровой непреклонности. В то же время казалось, что она играет навязанную ей роль, потому что она не выходила из рамок приличествовавшего ее дородности спокойствия, голос ее оставался певучим и по-своему ласковым. Но мешать Грише она уже не решалась и только костила его всячески, не забывая своей хозяйской зоркости.

— Так, значит, и запрягашь? Ай да большак у мене новый нашелси, ай да хозяин!.. Гнедого-то в корень, в корню он у нас ходит!.. Ай да благодетель мой... Так, значит, и распоряжашься по всем по деревням? Ну, сын, ну, родимый... Супоню-то подтяни!..

Гриша кончил запрягать и спросил:

— Сам-то не отыскался? Может, подойдет какой, в роде как ключ к замку? Дело простое — до Белоспасска свезти. А то и сами махнем духом.

По знаку старухи глазевший до сего времени Ванятка уже одевал стеганый пиджак и уже взлазил на козла, отворив ворота. Но пока выезжали и осторожно пробирались мимо нового, стоявшего посреди улицы сруба, неугомонная старуха все провожала причитаниями, которые Аркаша принимал прямо на свой счет:

— А уж и удружил же ты мне, батюшка, а уж и уважил же ты мене, старуху! Ну, добро, добро... Ну, молодец, ну, вояка! Да как же я таперь самому на глаза покажусь?.. Ванятка, ты смотри, обратай, не задерживайси нискольки!.. Ну, сын, ну, родимый... Да ты б мне лучше в груди топором разуважил, да и лучше б богородицу из ружейца в куски расстрелял!..

(Продолжение следует)

Ходоки

Рассказ

ИВ. КАСАТКИН

С поезда на вокзальную площадь вышли три мужика и долго топтались тут, размахивая руками и смекая, куда бы податься в этой невообразимой человеческой сутолоке.

Был ранний час утра, стоял лютый мороз. Москва дымилась, звенела и грохотала движением. Постовой милиционер около железной жаровни в чаянии согреться деловито выделывал ногами трепака и тер уши. Утренние поезда с трех вокзалов выбрасывали на площадь все новые и новые потоки людей. В мутном рассвете, как бы сотрясая морозную мглу и все здания, разноголосо и мощно ревели с окраин заводские гудки, сзывая огромную рабочую армию к станкам.

Три мужика, нелепо шарахаясь среди площади от перекрестного движения трамваев и автомобилей, наконец, решительно взбодрили свои мешки за плечами, враз поправили на головах огромные, какие-то дикарские меховые шапки и, помахивая большими, похожими на пироги, рукавицами, гуськом потянулись в первый кривой переулок. Там они опять сгрудились, попялили некоторое время руками и громоздко полезли куда-то в подвал, скрылись под вывеской: «Чайная будь здоров с подачею горячих поджарок свой труд Семена Петухова».

Чайная в этот ранний час была пуста, — лишь в углу, просматривая газету, сидел прокопченный усатый человек в неказистой лосненой куртке с виду слесарь или кузнец. Неистовая электрическая лампочка горела под сводчатым потолком, нагло освещая с большим толком расположенную на прилавке обильную снедь. Полупудовый, чуть початый окорок ветчины возлежал тут на особо возвышенном месте, а дюжий пласт севрюжины, глыбы украинского двухвершкового с прослойками сала и прозрачный оковалок великолепного студня служили как бы подножием. Дальше в удивительном порядке заманчиво расположились многие иные с'едобные вещи, вплоть до печеных яиц и аккуратно разделанных селедок, при чем каждая селедка, невзирая на глухую зиму, держала во рту свежий пучочек какой-то зелени.

За стойкой, на фоне полок с расписными в розанах чайниками и подносами, шевелился и сам Семен Петухов, — небольшого росточка, круглоголовый, круглощекий, весь круглый, как пузырь, с вороватыми глазками в виде изюмин, почти-что лысый, с ничтожной телушечьей растительностью только на подбородке. Сбочивши к плечу голову и высунув кончик языка, он ловко, как бы играючи, длинным ножом шинковал белоснежный качан капусты.

Щурясь от нестерпимой лампочки, три мужика потоптались у порога и стали рассаживаться за крайний от двери стол. Мешки, шапки и руковицы они сложили к ногам на пол, при чем из всех этих вещей получилась удивительно большая куча.

— Чем же бы это мне попотчевать вас, милаки? — задумался Петухов, любовно оглядывая стойку. — Православному человеку сперва что ни то покрепче требуется... Можно колбаски на сковородке поджарить, убивши туда яичек побольше. Либо свининки с лучком... А можно и рыбки-судачка с хреном. Это как кому, на любителя. Только я бы советовал свинину испробовать, еда заправистая, на ней не промахнешься...

— Ты нам чаю собери на троих,—хозяйственно приказал дородный мужик в новом ярко-кирпичном полушубке, с чрезвычайно широким рябым лицом в тугой рыжей бороде, при этом он строго покосился на соблазнительную стойку со снедью.

— Закуска у нас завсегда бывает своя! — простуженно засипел второй мужик в обтрепанном зипуне, худой, длинный, с мочальными во все стороны сосками вместо бороды, и начал разматывать с гусиной шеи бесконечный грязный шарф. — Чайку-варку с морозцу-то, хы-хы, это в самый раз по утробе! Чай на чай, братцы вы мои, не палка на палку: растопыришься, напузыришься, тут только будто и свет увидишь! — молол он, ныряя гусиной шеей и неустанно подмигивая. — Я вам слово скажу: с жирной-то еды вша заводится, во!

Третий мужик был замечателен тем, что имел продолговатое апостольское лицо белее редьки и непомерно длинный, уныло повисший над губою нос. Впрочем, белое лицо его еле просвечивалось сквозь прямо хлестнувшиеся черные волосы, настолько длинные, что вместе с бородою они образовали дикую заросль, из которой как-то чудно торчал лишь унылый нос, да пораженно в одну точку глядели неподвижные, точно дегтем налитые, круглые птичьи глаза.

— Варвара-а, Варварушка-а! — ласковым напевом кликнул за перегородку Петухов. — Ну-ка, давай, ходи, матушка, козырем... собери вот милакам чаю!

Он вытер о передник руки, достал с полки чайники, несколькими кидками щепоти, как бы крестя, всыпал в малый заварочный чаю и снова принялся шинковать капусту.

За перегородкой помещалась кухня; там весело потрескивали дрова и болботал кипящий куб. Загребая подшитыми валенками опилки на полу, сонно выплыла оттуда мягкая, полногрудая, зловеще на

один глаз кривая девка. По-птичьи сбоку целясь единым глазом, она забрала чайники, удалилась в кухню и не так-то скоро, колыхая грудями, подала мужикам на широком подносе чай, при чем отступила на шаг и скромно сморкнулась в подол.

Петухов тем временем управился с капустой. Выискивая глазами и руками, где бы и что еще прихорошить и поправить среди разложенных на прилавке явств, он нашел все в порядке, облизал пальцы и направил изюмные глазки на мужиков.

— Откуда, почтеннейшие, прибыть изволили?

Мужики, приступившие к развязыванию каждый своей котомки, враз оглянулись, и дюжий, в рыжей крутой бороде, скупо буркнул:

— Вологодские мы, из-под Вологды...

— Без маленького земляки мне, — забарабанил пальцами о стойку Петухов. — Сам-то я, конечно, ярославец, но края ваши вот как вдоль и наискосок знаю. В прежние годы с красным товаром я коробейничал. Мелочью тоже не брезговал: перстеньки, серьги, гребешки, наперстки, крестики, бусы, ленты, календари, святцы, поминальники... В те поры жить-то было ведь вот как можно! Дальше да больше, дальше да больше, — подводы завел, молодцов подрушных... За попутье стал шкуру всякую собирать, овчину, шерсть, холсты, лён, кости, тряпку-ветошь, гриб сушеный, гриб соленый, ягоду-морошку, чернику, клюкву... Нам все подай сюда! Дельце-то из рук не валилось!. Господи ты боже мой... в'езжаешь, бывало, в село — замельтешит вкруг тебя бабьё это самое, девки!.. Все равно как над цветком пчелы, так и вьются, так вот и лепятся к тебе. Раскроешь товары, — жужжат, ахают, глаза у иной разгорятся, — любота глядеть!.. Народ у вас смирный, худо не скажешь про народ. Но бабочки ваши, — ох, иные и ласковы-ы!.. Господи, прости меня грешного, — бывало, ночку ли скоротать, либо за уголком где, в перелесочке ли прихватишь... с милым почтеньем! Варварушка, — встрепенулся он, — ты не мети к порогу: гостей отвадишь... дай-ко я тебя поучу...

Тут он подскочил на кривых ножках, сгреб девку сзади под груди и закружил, замотал, тиская так и эдак и приговаривая, как надо мести.

— Отступись, охальник! — слабо отбивалась Варвара, пыхтя и ворочая одиноким глазом.

Наигравшись, Петухов прянул за стойку, встряхнулся, оправился, положил в рот какую-то ягодку и вздохнул, качая головой:

— Кабы не революция, я бы, милаки, теперь, кум королю был... каменные дома давно имел бы, капиталами ворочал! Разве сидел бы я в этом подвале, кабы не товарищи. Пробовал я повыше-то забраться, пытался... да сшибают нашего брата нынче, ох, как сшибают! Сунься-ко хороший человек дельце какое обстряпать, они тебе живо салазки загнут, пикнуть не успеешь!.. Ну, а вы, — гляжу я на вас и не пойму, — по какой части в Москву-то? Смекаю, насчет работёнки?

— Погорели мы, — отозвался рыжий мужик, вынимая из своего мешка большой ситник.

— Сгорели! — подмигнул худой мужик, по-гусиному вытянув длинную шею над пирогом с кашей, который обеими руками держал он наготове, чтобы укусить. — Было такое дело: вчистую сгорели, вокак!

— Ай-а-яй!—закачал Петухов головою, счищая ножичком плесень с выловленного из банки огурца. — Как же это вы, милаки, оплошали-то? От огня беречься надо, с опасочкой надо, с оглядкой. Значит, уж очень шибко господа бога прогневили, не иначе.

Рыжебородый, распахнувши жаркий кирпичный полушубок, большими отхватами кусал ситник и свирепо ворочал скулами и белками глаз. Отряхнувши с бороды крошки, он достал из мешка новую ковригу, разломил ее пополам и обернулся к Петухову.

— Истинно ты сказал: прогневили мы бога. Ежели на умную голову покумекать: диво-дивное, да и только. Вот тебе, к примеру, стояло село. Хвать,—и нет села!.. гладкая земля одна. Вчистую слизнуло, до последнего даже амбара. Вот как! Теперь ты гляди: церковь, храм божий во имя Николы угодника, деревянный, замечательно древний... ученые глядеть приезжали издалека... и тот погорел как есть. К примеру, пепел один остался на том месте. Вот ты теперь и думай! — мужик поспешно ощерил рот, по-звериному отхватил от ковриги здоровый кус и круто заворочал скулами.

— Ай-а-яй, ай-а-яй!—дивился Петухов, шныряя веселыми воровatыми глазками по прилавку. — Я же говорю вам: вот оно, знаменье, указка нам, дуракам! Безбожие развели, — дальше ехать некуда!.. Я вот про себя скажу. Висела у меня вот тут, в углу, иконка малая, всего-то с ладонь, в пресвятую честь ангела моего хранителя, преподобного Симеона столпника... висела и никому не мешала. Накатит иной раз под-сердце с расстройства, с неудачи, зажгешь лампадочку, воззришься сердцем-то, — глядь, и полегчало. И вот, приходит намедни ихний-то, стрекулист какой-то советский, молодой, а шкилет шкилетом, будто с год не жрал. С портфелью, сукин сын, инспектором назвался. Оглядел патент, то да се, Варвару увидал, и прицепился хуже банного листа: наемная-де сила! Я ему и так, я ему и эдак... Сирота, мол, девка-то, сродственница мне дальняя, приютил вот, пою-кормлю, обужу-одежу завожу ей... к тому же инвалид: через барана глазу лишилась, — барана стригла, зажамши меж ног, а он разбрыкайся, да и бодни ее прямо в глаз... Ни-ка-ких резонов! Сел, собака эдакая, бумагу сочинять, протокол... поднял зенки в потолок, да и усмотрел иконку-то. И что ж вы думаете? Не поленился, сволочь эдакая, полез и своими погаными руками снял вместе и с лампадкой... — Покорнейше, говорит, прошу убрать это подальше,—и вежливо сует мне в руки. А?.. вот дьявол, ехидна какая! Нынче под метелку метут святыню всякую... православному лба покрестить стало некуда!

Он достал счеты, развернул какие-то записки и так ловко защелкал косточками, пустил такую трель, что утонувший в газетных строчках усатый человек в углу как бы очнулся от глубокого сна, удивленно посмотрел на Петухова и принялся за свой давно остывший чай.

— Сколько ты ни хитри, как ни беги прытко, а гнев божий настигнет всякого! — строго, поднявши палец вверх, неожиданно загудел мужик с апостольским лицом и унылым носом, и видно было, что на подобные разговоры он падок, как воробей на мякину.—Ты только забудь бога-то, он те до самого корня изничтожит: вихрем взвеет, водой затопит, огнем спалит! Так и наше дело... Ведь какое безобразие пошло в народе: христовы праздники забыли, еду вкушают, лба не крестя, по-собачьи самокруткой женятся, младенцев ко святой купели носить и рукой махнули... Эдаким способом вот и дожили: батюшка всевышний-то глядел-глядел, терпел-терпел да начисто и полыхнул все село до сорины! Трех младенцев, старуху слепую попалил... Вот он, гнев божий! Отсюда и указуется: со страхом и трепетом припади к стопам его да не гинет волос с главы твоей...

— Эх, дядя, и чепуху же ты порешь несусветную! — не вытерпев, вступился усатый человек из угла. — Недаром волосами-то весь зарос, к стопам припадая... До больших годов, сват, дожил, а речи твои—ох, глупые, слушать дико! Старуха полоумная иной раз лучше скажет. Через эдакие-то речи со стороны видно, что и жизнь ваша вся там, наверняка, вот такая же дурацкая. Факт! А при такой жизни не мудрено и селу сгореть. Сколько домов-то погорело?

— Всех домов погорело девяносто два, — ответил ему рыжий мужик. — Иных разных построек уж и не считай. К примеру, церковь, и та погорела. Весь народ в поле был, в дальних местах, косили сено как раз, сушь стояла... Приехали, прибежали, прискакали... глядим: один сплошной костер... за полверсты не подступись!

— В исподних портках остались, во-как!—нырнул гусиной шеей худой мужик.—Мне-то не дивно, я, может, от младости, окромя рваных порток, ничего и не видывал, жил-вертелся, как хрен на кочке... А вот им-то каково!—мотнул он шеей в сторону двух мужиков.—Ох, прискорбно им было после таких хоромин лопатой пепел-то огребать...

— По какому же делу вы теперь в Москву-то?—любопытствовал усатый, внимательно оглядывая мужиков.

— Ходоки мы. Вологодские. Насчет лесу.

— Полномочены миром, чтоб лесу, значит, достать.

— Здравствуйте! — удивился усатый. — Вы бы еще в Америку ударились! Сколько известно, край ваш лесом пока не оскудел. Чего другого, а лесу там до чорта.

И мужики согласным хором подтвердили:

— Лесу, знамо, что хошь!

— У нас лесу — не проворотишь!

— Лесом-то задушило нас, во!

Усатый даже по ляшкам себя хлопнул.

— Так на какой леший сюда-то вас занесло? Погорельцам у нас лес — в первую голову. Факт! В свой исполком вам прямая дорога, а не в Москву!

— Исполкомы эти у нас вот где сидят, — похлопал себя по шее рыжий мужик, в кислой улыбке обнажая крупные лошадиные зубы.— Мы, слава-те господи, исколесили их вдоль и поперек. Спознали мы их! С самой осени вот эдак-то мычемся по ним впустую! Мы и в губернии два раза уж были... Проездились, исхарчились до последнего. Да неужто, думаем, вот так болванами и оставаться? Думали-думали, да миром и порешили: к самому Калинину дойдем!

— К старосте, к Михал-ванычу, во! — замигал длинношеий.

— Путаница тут какая-то, — развел руками усатый. — Раз стихийное бедствие... Да какой же это дьявол вам отказывал-то? На каком-таком основании? Уди-ви-тельно!..

— Удивительно и нам, — распялил рыжий мужик широкие, как лопаты, ладони. — Мир порешил, нас полномочил, бумаги у нас налицо... И — полное препятствие! К тому же, заметь, еще и смеются!.. Стройтесь, слышь, сделайте ваше одолженье, ну только нет-де такого закона, чтоб казна давала вам лес.

— Это головотяпством называется! — искренне заволновался усатый, решительно осаживая свою кепку-блин на самый затылок. — Низовые-то наши работнички, мать их прахом взвеять, иногда еще и не такие кренделя загибают, нечего греха таить... Факт! Вот это неладно... За такие штуки к иисусу надо тянуть, и никаких! Позор, и больше ничего! Но позвольте... как же так? — погорели вы в сенокосную пору, а сейчас зима к исходу. Как же это вы, девяносто домохозяев... до сей поры... в поле, что ль, живете?

— Зачем в поле? В домах живем.

— Как — в домах?..

— Да так и живем в домах.

— В каких?..

— В деревянных, известное дело в каких.

Тут усатый передвинул кепку с затылка на самые глаза, а плечи поднял выше ушей, ничего не понимая. Схлебнув с блюдца чай, рыжий мужик пояснил ему:

— Как жили, так и живем. Не выстроилась самая ничтожная часть: голь, пропойцы... беднота эта самая, а мы их зовем перекувырдышами, — рыжий слегка покосился в сторону худого мужика с длинной шеей. — Таких людей ты хоть позолоти, им все не впрок! А мы, слава-те господи, еще до зимы живой рукой построились. Как можно, ведь мы не цыганы какие-нибудь... И лес и ссуду, — все по закону употребили. Тоже, к примеру, инвентарь разный, плужки там и прочее, у кого что погорело, без малого уже получили...

Усатый водрузил кепку опять на затылок, растаращил глаза и в замешательстве прошелся пальцами по всем застегнутым пуговицам своей лосненой куртки.

— Так какого же еще дьявола вам требуется? — жалобно застонал он упавшим голосом. — На какой леший сдался вам лес, ежели... уже давно построились?! Убей, ничего не пойму! — закрутил он головою.

Рыжий мужик спрокинул вверх донцем чашку на блюдечко, покрестился мелкими крестиками, вытер с лица пот, аппетитно рыгнул, исподнизу пятерней выгладил бороду и хозяйственно приосанился.

— Дело наше простое. Я тебе его сейчас об'ясню. Ежели ты умный человек, зараз все и поймешь. Этот год, слава создателю, дюже сильный урожай у нас был и на хлеба и на травы. Это раз. Теперь ты гляди: которую уж зиму наши мужики бузуют в лесах, на разработках казенных, и деньгу зашибают несусветную. Нам даже дивно: и куда такая прорва идет нынче шпалы этой самой, лесу-строевику, дров, клепки?.. Ты заметь: вю эту уйму опять-таки наши же мужики с весны и в низа по воде гонют, — тут опять деньга непроворотная! Это два. И с другого боку скажу: мы еще и скотом не обижены, слава богу... скот у нас дюже молошный, маслу сбыт имеем. Это тебе три. Теперь вот ты и гляди: народ выпрямился, взбодрился, на ноги встал народ-то! Все сыты, обуты-одеты, бабы принарядились, раздобрели... К примеру сказать, тут и о душе пора задуматься... душа тоже обновку просит. Вот мы, собравшись всем миром, окромя несогласных, и порешили, благословясь, заново соорудить...

— Что именно? — ерзнул на стуле усатый.

— А именно... как и было до пожара: храм во имя святителя нашего Николы - чудотворца. Вот. Как и было. Ну, чуток поменьше можно, чтоб по силам...

— Одоле-е-ем, выдюжим во-как! — засипел, вихляя гусиной шеей, худой мужик. — Нам только леску поддай, — мигнул он, теребя мочальные соски бороденки, — остальное мы обмозгуем во - как!

— Было бы радение ко господу! — прогудел мужик с унылым носом, широким махом откидывая длинные волосы, при чем они опять хлестнулись ему на глаза.

А усатый человек в углу, к стене откачнувшись, сучил ногами и хохотал как сумасшедший, заливался точно младенец, которого решили защекотать до полусмерти. Нахохотавшись, долго еще он хватался за бока и охал. Наконец, вытер слезы и бессильно отмахнулся рукой.

— Ну вас ко всем чертям! Вот распотешили!.. Комики вы, и больше ничего. А я, балда, лопухи-то развесил, слушаю... Вот если бы вы затеяли школу, — получай лес с почтеньицем. А на церковь, — шалишь!.. С церковью опоздали: царь в Могилев уехал... Факт!

Он расплатился за чай, комкнул в карман газету, поправил кепку-блин и какой-то устремленной поступью, свойственной людям от заводского станка, покинул чайную.

— Видали? — воспрянул за прилавком Петухов, указывая пальцем на дверь. — Вот они, захребетники нынешние! Эдакой хлюст

обрежет тебя чище ножа. Церковь им, как чорту ладан. Им бог-то — самый лютый враг. Ну и брандахлысты же, сукины дети! Откуда только они взялись на нашу голову? Ведь какую силу взяли над народом-то, а?!.

В чайную стал набираться разный люд: дворники, извозчики, мелкие мастеровые, привокзальные жулики. Каждого Петухов встречал приветливым словцом, иных величал по имени-отчеству, и ясно было, что ему наизусть известны многие обстоятельства каждого.

— Сеня, тезка, голубок, что из деревни-то пишут? — весело выкликивал он, орудуя за стойкой с чайниками.

— Да что... тоска одна! — отзывался Сеня, по-утреннему раздирая гребнем свалявшуюся бороду. — Хлеб-то выгребли, а теперь, слышь, к картошке подбираются.

— Ага-а!.. не я ли намедни говорил, не я ли пророчил? — вдохновенно шумел Петухов. — Им теперь только давай-давай!.. Теперь они за пазуху нам влезут, последний крест сымут! А ты что думал? Тебе в диковинку, а мы видали от них виды! Варварушка-а, Варвара-а!.. ходи, матушка, круче, собирай на столы, не разевай ротик-то!.. Дай-ко, я тебя подгоню...

Он подскочил к девке и крепко, с прижимом, с прихватом захлопал ее ладонью по широкому заду, приговаривая, чтобы круче ходила.

— Не охальничай, супостат! — лениво отлягнулась Варвара, забрала чайники и давай неторопливо плавать туда и сюда, загребая валенками опилки на полу.

Три мужика, отпахнувши полы, достали откуда-то из очень потаенных мест свои кошели, чтоб расплатиться за чай. Петухов кривоного подкатился к ним, забрал деньги и присел на порожний стул.

— Ах, милаки, милаки, — засветился он изюминами глаз, — дельце вы затеяли славное... На что уж лучше: храм божий! Ну только и мне сдается: не дадут вам леску-то, ох, не дадут!.. Вам, родимые мои, тут изловчиться надо как ни то похитрее. Этот, с газеткой, хахаль-то, не нашего поля ягода, — но он слово одно умное молвил... Меня это слово-то так и осенило... Ведь прямо в руку положил! На школу, дескать,—с почтеньем... Слыхали? И вот крепкий мой вам совет: просите на школу, и никаких! Греха не будет: для бога ведь просите... А там, миром-то и обернете, куда надо! С миру взятки гладки... Поняли?

— Ну-у-у!.. — диким бараном вытаращился на него рыжий мужик. — На школу?!

— А ты как думал, милак! С ними, дьяволами, правдой-то нынче разве проживешь? С нас семь шкур дерут, а ты не моги и дыхнуть? Налегай-ка, со христом, как вам советую... Может, совет-то мой как раз в точку и угадает! Век благодарить еще будете Семена Петухова, и деткам своим накажете... А умру, в запрестольное поминанье запи-

шете. Действуйте-ка! В святой час успеха! А на обратном пути загляньте; покалякаем душа в душу, чайком попою...

Свеся над столом бороды, мужики обалдело глядели друг на друга и ворочали мозгами. Посидевши так не мало, они встали, подтянулись кушаками, разобрали с полу большую кучу из мешков, рукавиц и шапок, вздели все это на себя и громоздко двинулись к выходу.

— В святой час! — крикнул им в спины Петухов.

Над городом уже рассвело. Мороз как-будто стал мякнуть. Три мужика в огромных дикарских шапках и больших рукавицах, взбадривая мешки за плечами и шарахаясь от автомобилей, гуськом потянулись по гремящим улицам Москвы.

Июль, 1930. Таруса.

Санаторий

Повесть

НИК. АСЕЕВ

I

Окно было перечеркнуто исполинским деревом, наискось от угла до угла. Дерево росло странно, под углом почти в 45°, так что глядящему на него из окна казалось, будто по стволу можно взбежать розогнавшись до самой вершины, не останавливаясь. Косой рост дерева не мешал его крепости и силе. Листья плавно текли и спадали с его веток зелеными хлопьями. На серых, отвислых, похожих на старых змей ветвях пели птицы. Они пели, напрягая горла и взъерошив перышки на груди. Человек лежал у окна, смотрел и слушал.

Раньше чем попасть в эту комнату, к этому окну, раньше чем начать наблюдать за ростом этого дерева, за пеньем этих птиц, одним словом, раньше чем обратиться со своими немощами сюда, в этот дом, окруженный парком, птицами и тишиной, его повезли к «одной женщине, которая лечит».

Повезли на извозчике, ездить на котором он терпеть не мог. Но поехал, потому что был заинтригован таинственной категоричностью тона знакомых. Там, где-то в Крыму, его знакомые встретились случайно с людьми, исцеленными лекаркой. И если он хочет вылечиться и если он хоть сколько-нибудь верит искренности забот о нем, то пусть послушается и поедет. Искренности он верил. А кроме того, было любопытно, кто так ловко умеет пустить о себе рекламу, оплетающую всю Москву, перекидывающуюся в Крым и оттуда обратно, эхом отлетающую к его случаю.

Извозчик плелся полушажком с Мясницкой на Коровий Вал. Пока однозвучно цокали копыта, проводница успела рассказать о настойке из трав, о лечении под наблюдением врача, чуть ли не в клинике и много еще такой подкупающей полулжи, которой окружает себя всякое шарлатанство и которую усердно повторяют люди в погоне за необычным, исключительным, выходящим за пределы будничного опыта.

Чем больше говорилось об этом, тем грубее обнаруживалось шарлатанство. Но знакомая горячилась, принимала на свой счет

усмешку и недоверие, а лошаденка старательно потряхивала гривою и поворачивала в тесноватый пыльный тупичок.

Женщина в платке, повязанном накрест через плечи, на вопрос о № дома и квартиры безошибочно определила нас — пациентов: «Вам к лекарке? Это вот здесь, во втором этаже левая дверь».

Во втором этаже, над скрипучей лестницей с шатающимися перилами белая дверь была перекошена как бы от молчаливой заговорщицкой гримасы. Звонок был вырван с корнем и висел здесь же на искривленной пружине. Пахло паленым, сытным запахом — смесью амбара и монастыря.

На стук дверь тотчас же распахнулась, явив на пороге в полутьме пухлую женщину не то в халате, не то в рясе с маслеными губами, теплыми чертами лица и острыми, настороженными зрачками, пытливо осмотревшими посетителей.

Имя знакомой знакомых, рассказ которой привел сюда новых клиентов, было чем-то в роде пароля, после которого сдобное лицо расплылось в приветливую мину, хотя глазки продолжали проворно ощупывать пришедших, как бы изучая их свойства. Выбирая выражения, подбирая способ разговора: «Анна Матвеевна! Ах, вот как! Ну, как она поживает? Поправилась? Прибавила, говорят, фунтов 20! Да что же мы здесь, проходите, пожалуйста, в комнату».

Комната узкая, длинная, с сундуками, киотами, многоподушечной постелью.

— Присаживайтесь, пожалуйста. Вы, наверно, по болезни? Кавернозный процесс? — многоопытно оглядывая посетителя: — уж я вижу, вижу по внешности. Да только ведь я теперь не пользую, знаете ли, неприятности одни от этого. Разве что по большому знакомству.

Знакомая была человеком решительным:

— Так все-таки вы скажите, можно ли обратиться к вам или не о чем и говорить.

Рыхлая сдоба лица, полные плечи, туповатый нос, чувственные губы повело чуть заметной судорогой от бестактной торопливости гостьи. Предварительная церемония договора должна была, очевидно, занять более продолжительное время. Хозяйка комнаты как-то замялась, стараясь выиграть время, чтобы освоиться с посетителями, распознать их цену.

— Уж и не знаю, что сказать вам, — сокрушенно нерешительно начала она свой молебен.—Жду вот от Наркомздрава ответа: предлагаю поставить в клинике на испытание, — чтобы значит врачи наблюдали за результатами моего лечения. Ведь они тоже интересуются этим средством.

— И что же ответил Наркомздрав? — это спросил сам больной.

Сметливые глазки хозяйки на минуту задержались на нем.

— Да вот требуют, чтобы я им сообщила рецепт моей настойки. А разве это мыслимо — отдать, — это ж мне куска хлеба лишиться! Вот я вам покажу благодарности от больных.

И она ловко вывернула из комода к слову пришедшиеся пачки писем из различных городов — обычных писем, тысячами посылаемых рекламодателем всех патентованных средств, писем, загружающих почту трогательными, жалобными, умоляющими просьбами о помощи, скороспелыми благодарностями при малейшем облегчении, предложениями выслать повторный флакон, так как «после первого я себя почувствовал неизмеримо лучше».

Листки раскладывались пухлыми ручками по клеенке стола; между прочим было действительно и отношение Наркомздрава с просьбой прислать состав лечебного средства или дать его на лабораторное исследование.

Это отношение — как ни быстро оно мелькало перед глазами, больной все же сумел его прочесть—играло, очевидно, почетную роль среди просьб, благодарностей и запросов простых смертных корреспондентов.

— Вот пишут все, просят присылать питье; кто раз попробовал моего лечения, тот уже за другое не возьмется.

— А вот я думаю лечиться пневмотораксом. Как по-вашему, это можно совместить с вашим леченьем?

— Нет уж, нет, этого никак нельзя, — заторопился сдобный уверенный голос. Пневмоторакс, знаете, такая вещь — наживете себе плеврит, а потом на меня будете жаловаться.

— А вы что же, врач по профессии?

— Нет, профессия моя другая. А это средство я получила от дедушки по завещанию. Много людей оно на ноги поставило. Но знаете: есть и завистники. В Смоленске, где я жила раньше, Губздравотдел ходатайствовал о моем выселении, потому что ко мне много народу обращается, очень много.

Неопределенность отзыва о ее профессии заставила больного внимательно оглядеть комнату. Божница в углу была заставлена лампадами. На стене красовалась кабинетная карточка усатого нето унтера, нето жандарма. Посетителю уже хотелось скорей уйти из этой затхлой комнатушки, из этого запаутиненного угла, где жирела эта дебелая лекарка, уцелевшая до наших дней шарлатанка средневековья. Но спутница больного была настойчива и решительна:

— Значит, вы лечите питьем? — спросила она. — И сколько это стоит?

— Стоит это здоровья, — внушительно поджала губы хозяйка, а за бутылку я беру три рубля. Вот пишут из Ленинграда, совсем плохо было одной дамочке. А теперь зарубцевались каверны: просит еще выслать для знакомых.

И она опять зашуршала благодарственными письмами.

Но знакомая была неугомонна.

—А когда же окажутся результаты лечения?

— Результаты окажутся после первой же бутыли,—со скром-

ной покорностью ученого перед любопытством невежды отвечала лекарка. Должна предупредить, что сначала будет ухудшение.

— Да, ухудшение. Так что, может быть, придется и в постель слечь и температурить будет сильно. Это начнутся осадки.

— Осадки? Какие?

— А как же, вредные осадки должны из легких выделяться от питья. А потом и начнет рубцеваться каверна.

— Скажите, пожалуйста, — не унималась знакомая, — а вы можете действительно, как говорят, производить свое лечение под наблюдением врача?

— А, конечно, могу; да и без врача не возьмусь совсем. Вот обратитесь к доктору, врачу С—кой больницы. Он принимает как раз сегодня от 4-х. Он и будет наблюдать за лечением.

— Вот как? Вы думаете он возьмется?

— Возьмется. Он интересуется действием моего лекарства. Вот, например, Осипова, Мария Николаевна, знаете — певица?.. Вот от нее, между прочим, письмо.

— Хорошо, дайте нам адрес врача, о котором вы говорите.

— Адрес его—...ский переулок. Да вы позвоните по телефону.

Больной давно уже держал спутницу за рукав с тем, чтобы уйти. Но та, увлеченная тем, что наука якобы подтверждает этот шарлатанский способ лечения, близоруко щурила глаза на письма, на сундуки, на полные, добротные щеки лекарки, во всяком случае далекие от заболевания.

На лестнице произошел такой разговор:

— Ну? Что вы думаете об этом?

— Думаю, что чистое шарлатанство, опасное для здоровья.

— А доктор?

— В доктора не верю, а если он и подтвердит, значит, и он шарлатан.

— Ну, по-вашему, все шарлатаны. А ведь сколько людей вылечилось.

— Это не люди, это московские дуры.

— Ах, вот как! Значит, по вашему?..

— Нет, нет, не вы, конечно. Вы—жертва рекламы. Но почему вы думаете, что не проще пойти в туберкулезный санаторий?

— Хорошо. Не будем спорить — кто из нас глупее. Но если врач подтвердит свое согласие на то, чтобы взять лечение под свою ответственность, ведь не утверждаете же вы, что он за пять рублей поставит на карту свою репутацию?

— Нет, я этого не утверждаю. Я просто думаю, что врач откажется.

— Тогда едемте к врачу.

— Идемте!

В тупичке ждал все тот же смиренный извозчик

На извозчике:

— Какой ей смысл за 3 рубля отправлять вас на тот свет?

— Во-первых, этих трехрублевок у нее штук 10 в день. Ведь не задаром же ее выслали из Смоленска. А во-вторых, возможно, что ее декокт и не так уж вреден. Но все же я предпочитаю руки опытного врача этим пухлым лапам, слюнявящим трехрублевки.

— Эх, вы, несчастный!

— Это вы несчастная.

— Ах так? Ну хорошо! Вот только доедем до врача, и если он не шарлатан, как вы убедитесь, и согласится наблюдать за лечением, то вы будете лечиться у него?

— Нет, я все-таки буду лечиться в санатории.

— Ладно. Тогда мы не встречаемся больше.

— Ну, что ж делать. Не встречаемся. Только я уверен, что никакого врача по этому адресу не живет.

Но адрес и фамилия врача, данные лекаркой, были правильны. И даже часы приема указаны точно. Однако, больной к нему не пошел. Хотя бы потому, чтобы рассказ не окончился на этом этапе истории его болезни.

II

И вот они не встречаются, и он лежит в этом доме, у окна, вверху закругляющегося сводом. Дом стар, тяжелой казематной стройки, получившейся в результате столкновения легкой итальянской воздушности с тяжелым северным хмурым исподлобьем. Он был будто набит невыпекшейся сдобой московского ренессанса. Строил его архитектор Джильярди, который строил и университет. Лепные потолки дома похожи на густой масленистый крем, стены желтели маслом. Тяжесть циркульных аркад отдает неуклюжей грацией провинциальной многопудовой кокетки. Окна запираются на ночь глухими железными переплетами, своды нижнего этажа нависли мнастырской тяжестью. В общем, дом больше походит на крепость, чем на санаторий. Но пушинки тополевого цветения летают всюду так мирно и весело. Они катаются по паркету, сбившись в круглые пушистые хлопки, напоминая о воздушных течениях гуляющих по всем коридорам и комнатам дома.

Вход в дом охраняется двумя парами львов и драконов. Черные с позолотой висячие фонари высятся по бокам крыльца. Вход вымощен белыми плитами, как в итальянских домах. Но дальше начиналась Москва. Еще канцелярия была на свету так же, как и кабинет главного врача. Но унылый свод коридора, в конце отсыревшего и зацветшего плесенью, уже говорил о разрушении. По бокам его шли кабинеты врачей и лечебных процедур. В конце были умывальни, уборные, ванные и две добавочных палаты каждая на три человека. Весь низ был, очевидно, предназначен, по замыслу строителя, для ближайшей челяди, обслуживающей владельцев особняка. Здесь долж-

ны были жить гувернеры, учителя музыки, приживалки. Главные комнаты, просторные, высокие и светлые, были наверху.

В дальнем углу коридора сохранились еще мраморные вазы с фруктами и цветами на тяжелых пьедесталах. В общем же, обстановка старого дома уже была заменена новой, легкой и более деловой мебелью. Лишь кое-где тяжелые столы краснели таинственным отливом старого лака да приземистые, низенькие, похожие на крабов кресла с далеко отставшими от сиденья спинками казались созданными для неудобных, натянутых поз. Но странное дело: как только опускался на него человек — оказывалось, что сидеть на нем чрезвычайно приятно и уютно: точно был вымерян расчет их пропорций. Здесь в пестром халате, вымытый в ванне, выслушанный главным врачом, зарегистрированный, зачисленный на довольствие больной проходил своеобразный пятидневный карантин полного покоя после прибытия.

Больной спал, и у лица его суетился и хлопотал маленький ветерок.

Такие же маленькие, озабоченные ветерки работали у изголовий других спящих. Они очищали их дыхание — трудное и прерывистое, дыхание туберкулезных, омывали их прокуренные, задымленные, изуродованные легкие, слабо и участливо касаясь их губ, щек и лбов. Иногда в окно залетал шалый гуляка, порывистый, кружащий головы берез. Тогда в окнах перекатывался океан листвы, трепетали вымпелами салфетки на столиках у изголовий, а все тело даже поверх одеяла поглаживала могучая ветровая рука. Но эти порывы бывали редко, а маленькие, домашние, кропотливые ветерки—сиделки—неторопливо и бесшумно возились у изголовий. В лад им, этим обученным, дисциплинированным дыханьям жизни, работали руки нянь и сестер. Они были так же заботливы и неутомимы и так же легко и осторожно касались тела больного. Начиная с утреннего обтирания, до вспрыскивания всевозможных возбудителей деятельности организма, до банок, похожих на опрокинутые телеграфные колпачки, до страшных банок, пьявками присасывающихся к торсу больного и оставляющих на нем круглые багровые следы своих широких ртов, эти руки сестрински и матерински окружали больного ласковыми, мягкими движениями. И боль утихала, казалось, от одного участливого прикосновения. Хороши были также и глаза сестер. Внимательные и заботливые, полные доброты и терпения, глаза эти были отданы больным почти в полное владение. В самом деле: никаких других мыслей, интересов, желаний нельзя было усмотреть в этих глазах, никаких других интересов, желаний, кроме забот о больных, их горестей и страданий. Нервы больных успокаивались и крепли от этих ветерков, рук и глаз.

Вход наверх начинался широкой лестницею меж пузатеньких колонн, развертывающейся на втором марше двумя крыльями. На площадке между двумя маршами под тремя окнами лепилось широкое, низкое зеркало в зеленой плюшевой раме. По бокам его цвели гортензии в искусственных обрубках. Под зеркалом тревожащая надпись:

«Разговаривайте вполголоса — есть тяжело больные». Второй марш вел двумя крыльями к высоким комнатам верхнего этажа. Четырехугольные ласковые колонны встречали и здесь идущего бараньими завитками своих верхушек. Комната светилась насквозь многочисленными окнами, блеском паркета, нарядностью праздничных покоев, черным лаком роялей. Но и здесь мебель была смешана: старая давних владельцев встречалась все реже, уступая место белой санитарной, крытой масляной краской. Лишь кое-где тяжелые тумбы оберегали еще углы да в закоулках широких коридоров, где в нишах окон были устроены отдельные палаты, высились, отделяя их, массивные ореховые ширмы, забранные кремовым потемневшим шелком, с граненым бемским стеклом в верхних своих долях. В комнатах стояли удобные пружинные кровати, столики, подставки, весь инвентарь прикованных к постелям людей — все доступное их обладанию имущество. Было лето, в комнатах лежали только тяжело больные.

III

Человек попал сюда в результате длительных, упорных и всегда убыточных схваток с жизнью. Его волосы забелелись раньше срока потому в конце концов, что он сам добивался ускоренности этого срока. Диагноз врачей был правилен, но главной его болезнью оставалась дальнозоркость фантазии, если только существует такая болезнь. Он был подслеповат и наивен, он натыкался на мелочи, ему хотелось мыслимое и предполагаемое видеть уже осуществленным. И он угадывал его признаки, радуясь даже ошибкам. Революция была освобождением от тесной обуви традиций, привычек, условностей. Но босой ногой оказалось ходить неудобно. И взамен старых спешно подыскивались, подгонялись новые условности, равнозначащие оставленным. Природа не терпела пустоты, и люди не хотели обходиться без традиций. Восторг перемены, радость новизны уступили место легкой загрязненности, захватанности, равнодушию. Он продолжал прислушиваться ко всякому дуновению жизни, все еще принимая его за проносящийся ветер освобождения. На самом деле, в мелочах жизнь изменялась туго и медленно. Старое перегорало тупо и упрямо, дымя и сопротивляясь. Оно мстило за себя всякому поверившему в его гибель. И в конце концов не побеждал никто. Старина сливалась с новизной, и пошлость становилась в соглашение со свежестью. При чем самое выражение это «пошлость» оказывалось старинным понятием, происходящим от того, что пошло со старины, как и «пошлина»: то, что пошло с давних лет, то, что установлено в давние годы... Пошлость то же самое, что и давность. Так что пошлым человеком оказывается всякий, сохранивший связь со временем, давно прошедшим, носитель обычаев, туго поддающийся новизне. Таких было большинство. Большинство, упорное и пугающее той самой своей массовостью, именем которой клялись на всех перекрестках оценщики и отборщики нового.

Все это было так запутанно-непоправимо, что оставалось только ожидать лечения временем. А время шагало большое, свежещекое, широкогрудое. У времени были свои большие дела. И обращать внимание на мелочишку, на детали, на отчистку от налипшего на сапоги хлама времени было некогда. Старое, разбитое в лоб, вставало, смыкаясь за стеной на уже пройденном пути. Ворочаться и дробить опять было похоже на то, чтобы сечь море. И вот даже этот санаторий возник как бы в насмешку (над ним) тоже в старинном доме стиля московского ренессанса, построенный архитектором-итальянцем. И пока немотствовал старый дом, шли события одно за другим важнее: английское признание, Китай и т. д. И странное дело. Старина, так упорно отвергаемая им и его друзьями всю жизнь, устав хмурить и скалить клыки, оборачивалась теперь к нему другой своей стороной: высоколобой мудрости долгой культуры, знания, выдержки, величественных и внушительных форм. И все-таки это был бой, потому что он чувствовал, что, сдавая свои позиции одну за другой, он не терял уверенности в первоначальной своей правоте. Иначе это была бы сама старость. Нет. Прошлое прошло, и с прошляками нет примирения, даже если они не окажутся пошляками. Но это неправильно было: обвинять и преследовать их огулом, сбивая в плотные массы. Нет. Нужно выделить из них наикрупнейших и, разбив их на голову, рассказать остальным об обмане.

Но первая же попытка сделать это и привела его в санаторий.

Кроме палат наверху, где помещается зеленая столовая и общий зал с хорошим бетховенским роялем с вышивками и рисунчатыми рукоделиями больных по стенам, кой-где к материи приколоты бумажки с написанными на них старческим почерком советами: «Ходи не горбясь». «Нет, нет, да и вздохни разок-другой». Зал обставлен белой крашеной легкой мебелью. Столовая — в длинных столах, в чинных рядах стульев, в пальмах, сохранившихся еще с найденовских времен. Кроме зала и столовой, на втором этаже помещается и «просмотровая», где «поддувают» — накладывают пневмоторакс, вспрыскивают туберкулин, а по понедельникам взвешивают всех становящихся в хвост больных.

В просмотровой над деревянной скамьей, на которую ложится больной для укола, — успокоительная, хорошая надпись крупными буквами:

> Опыт показывает, что польза, приносимая врачом страждущему человечеству, и результаты, получаемые им в его практике, находятся в большой зависимости от его научных познаний, но, может быть, нисколько не в меньшей степени от совершенства, до которого он доходит как нравственная личность и как цельный характер.
>
> Проф. К. Дегио.

Больной, прочитавший эту надпись, яснее представляет себе внутренние качества окружающих врачей. А качества эти заслуживают, чтобы их представлять себе ясно. Когда думаешь о врачах, воображаешь себе или заезженных до костей провинциальных деревенских врачей или тех московских рвачей, котрые из страданий человечества не стесняются выжимать свои далеко не скромные доходы. Одну из таких знаменитостей обложили налогом в двадцать тысяч рублей. И тогда кажется непонятным, как такой ученый, талантливый врач или профессор может не думать не только о больных, но и о своих же товарищах врачах, развращаемых его доходами, дразнимых, мечтающих последовать его примеру; как он может не думать о своей профессии, сводимой им к получению известного количества бумажек по приемным дням. И какой бы ни был он одаренный человек, мне кажется, что доверия к нему должно существовать меньше, чем к заурядному врачу, чей интерес к своему делу еще не выформился в перевод его на тысячи и десятки тысяч рублей.

Я знаю, что есть врачи и другого сорта, что между ними встречаются и интереснейшие фигуры, в роде гениального хирурга Герцена, прямого потомка А. Герцена. Его мать или бабка была итальянкой; и живость, быстрота и яркость этой фигуры отразили в себе черты этой двойной бунтарской крови в черных глазах, нечернеющих усах и ярких губах и быстрой руке пятидесятилетнего хирурга.

Другие фигуры, другие представления о врачах входят в воображение со страниц газет, призывающих врачей в провинцию, говорящих о тех из них, которые под всяческими предлогами уклоняются от работы, лишь бы остаться в центре. И жалким и смешным кажется это культурное обнищание интеллигенции, шедшей раньше в авангарде борющегося человечества, а теперь трусливо жмущейся к «культурным ценностям» в шкурническом страхе перед трудностями своего дела. Но все эти мысли разлетаются в прах, как только знакомимся с работой врачей Высокогорского санатория. Да, это действительно интеллигенция в том высоком и хорошем смысле, в котором его произносили люди шестидесятых годов. Но вместе с тем это уже и новая трудовая интеллигенция в том ясном и крепком смысле, который ей хочет придать советская страна.

Спокойствие и уверенность в минуты самых тяжелых испытаний, безграничная преданность делу, которое они делают, работоспособность без ограничения, приветливость и уменье обращаться с больными — вот общие черты высокогорского врачебного персонала. Конечно, кроме этих, каждой из них (в огромном большинстве врачи Высокогорья — женщины) присущи и индивидуальные черты высокой моральной и физической ясности и своеобразия, но как-то не хочется говорить о них в отдельности. Не в том дело, что одна из врачих—Ф. М.—как-то особенно легка и спокойна в движениях, что у нее талантливые врачебные руки, что ее полуседые волосы, румянец под гладкой кожей, прямота и ясность взгляда привлекают к себе

больных; не в том дело, что другая—Н. К.,—похожая на профессора прямотой фигуры, несколько гордыми чертами лица, вдруг иногда на лекции превращается в увлекшуюся рассказом девочку-подростка; не в том, наконец, дело, что третья—Л. М.—с несколько припухлыми губами, пальцами, залитыми иодом, так долго и внимательно прислушивается к больному, — общей их чертой, повторяю, остается какая-то особенная личная одухотворенность, ясность и крепость, похожие на тишину, ясность и крепость осеннего воздуха в яблоновом саду. Черты эти происходят, мне кажется, от веры в свое дело, от удовлетворенности своим трудом, результаты которого в виде бесконечного людского конвейера, проходящего через санаторий выздоравливающих, всегда у них перед глазами.

Но как бы ни были велики личная обаятельность, самоотверженность и другие заслуги отдельных врачей, — всех их об'единяет, как обруч бочку, какая-то крепкая, скрепляющая их работу сила, создающая условия для этой работы, подготовляющая, подталкивающая эти высокие человеческие усилия твердо и плодотворно служить науке и человечеству. Сила эта — организаторский опыт и талант — заключена в двух нестареющих руках, олицетворена в персоне 68-летнего Деда, — как ласково-фамильярно зовут его больные между собою, — заведующего санаторием.

Его биография, хотя бы кратко приведенная, должна быть известна читателю. Восстановить ее всю — потребовало бы отдельной книги. Вот несколько эпизодов из нее.

IV

Сын шестидесятника, народного учителя, главный врач с детства получил хорошую зарядку. В эпидемию сыпного тифа отец его не только сам пошел, но и сына не удерживал от того, чтобы итти в бараки, переполненные больными для оказания им помощи. По окончании Московского университета М.К.К. прошел хорошую школу, работая под руководством известного земского врача Орлова в качестве фельдшера в Подсолнечном. Эта практическая подготовительная закалка, очевидно, и поддержала его в дальнейших житейских бурях. А бурь этих встречалось не мало. Заброшенный в какую-то среднерусскую глухомань, Дед, тогда еще молодой, попал в амбулаторию, в которой, как его предупредили в Курской, все врачи умирали от какого-то гнилостного заражения. Больница на 4 койки была убогая, для врача специального помещения не полагалось, спать приходилось тут же, в перевязочной. Удушливый запах и сырость в первую же ночь заставили задуматься молодого земского врача над причинами и следствиями смерти его предшественников. На утро Дед уже хлопотал над тем, чтобы в кратчайший срок вскрыть половицы амбулатории. Его соображения оказались правильными: дырявые полы годами принимали в свои щели прогноенные бинты, вату, марлю,

окровавленные, заскорузлые тряпки — всяческие отбросы перевязок, которые насытили воздух болезнетворными бактериями настолько, что создавалась серьезная угроза здоровью обитателей этого помещения. Стоило перестлать полы и вычистить подполье, чтобы всякая опасность миновала, и сообразительный молодой доктор прожил и проработал в этой больнице свыше 5 лет безвыездно. Здесь впервые ему пришлось выдержать проверку своего характера. Властями предержащими ему было предложено дать заключение об имеющихся в уезде штундистах как об изуверах-скопцах. Это было в интересах православной господствующей церкви, а также и губернских сил, пекущихся о поддержке православия. Молодой врач оказался, однако, непокладливым и такого медицинского заключения дать не согласился. Тогда ему дали понять о неудобстве дальнейшей его работы, не совпадающей с попечениями начальства о вверенном ему населении. И Деду пришлось переменить место своей практики; дальнейшая земская служба в Херсоне и Херсонской губернии тоже не отличалась спокойствием. Борьба со взяточничеством и попытка поставить дело снабжения больницы продуктами и медикаментами больницы под строгий отчет и контроль сразу подняли против него клыкастые рыла местных поставщиков и питателей губернского масштаба. Против него затеяно было дело о жестоком якобы его обращении с больными. Темные намеки вицмундирного редактора местных «Губернских Ведомостей» пытались пустить гнусную сплетню. Однако, припертый к стене подведомственный «разоблачитель» вынужден был признать свои вымыслы клеветой. Врач был оправдан в общественном мнении, но это вовсе не подняло его репутации в глазах «начальства». Немедленно вслед за этим ему вменили в вину организацию им фельдшерской школы, в которой бдительное око усмотрело незаконный процент слушательниц-евреек. Новый переезд из губернии в уезд, а вслед затем поездка на холеру в Бессарабию. Работа и здесь, кроме прямой практики, вылилась в широкую организацию и просветительную деятельность, без которой всякая борьба была бы бесплодна. Дед сам перевел и выпустил в свет маленькую брошюру на молдаванском языке о том, что такое холера, как предохранить себя от нее, как бороться с ней. И в третий раз его деятельность вызвала негодование грозного начальства. Вызванный для об'яснения Дед об'яснил, что брошюра издана именно им для раз'яснения населению опасности и путей заражения холерой и мер борьбы с ней. Начальство, однако, не удовлетворилось этим об'яснением, заявив, что такую брошюру должно было издать на русском языке; когда автор заявил, что население в огромном большинстве русской грамоты не знает так же, как и наречия, ему было твердым тоном дано понять, что во вверенной мудрости начальства губернии не может быть людей, не знающих русского языка, а лицам, сомневающимся в этом, пребывание в этой губернии строжайшим образом возбраняется. Так в постоянных мелких и крупных столкновениях с само-

дурами-администраторами, в постоянной борьбе за право на мысль и инициативу, направленные в помощь людским массам, креп и утверждался в правоте своего пути молодой сначала, а потом уже опытный, матерый земский врач М. К. К. Это его, так сказать, внешняя биография. О внутренней говорить здесь не будем, так как это не любовный роман и не приключенческая повесть, а всего лишь об'ективная попытка разобраться в явлениях, окружающих нас ежедневно, которым мы удивляемся меньше, чем американской скорости экспрессов, и которые, однако, свидетельствуют о нашей собственной скорости, о скорости внутренней нашей культуры, двигающейся пока отдельными вспышками отдельных замечательных спектров. Но об этом будет речь ниже.

После долгих боев и скитаний по земским глухоманям Дед попадает, наконец, в «центр», в Московскую губернию и уезд, в село Свиноедово, близ станции Мытищи. Но, конечно, московское земство было по сравнению с провинцией образцовым и показным. Образцовым и показным оказалось и место, на которое попал М. К. Больница близ фабрики Чернышева, построенная этим купцом из тщеславного желания увековечить свое имя, по первоначальному замыслу жертвователя должна была быть попросту богадельней. Купец желал убить двух зайцев враз: и угодить богу и прославить свое имя на земле. Поэтому он крепко держался за свое желание построить именно богадельню. Многих и длительных усилий стоило заставить его переменить решение. Доводы, которые должны были повлиять на упрямство купца, главным образом те, что, дескать, строить богадельню теперь не модно, что русский купец не должен отставать от европейских в своей помощи науке, что больница гораздо в большей степени упрочит славу его имени. Купец как-будто и внимал этим доводам, но задача о душе все-таки возвращала его к привычной мысли о богадельне. Этаж за этажом отвоевывался тяжело и упорно. Богадельня должна была быть двухэтажная. Однако, удалось внушить «благодетелю», что нижний полуподвальный этаж следует вывести на свет, что в полутьме призреваемым будет уныло и мрачно. Таким же путем отстояли центральное отопление. Богадельщики сами должны были топить печи; но тяжелые больные, конечно, нуждались в ровной постоянной температуре. Теми же доводами добились установки лифтов в здании. Все время подталкивая ленивое воображение жертвователя, удалось добиться улучшения построек настолько, что в конце концов получилось образцовое, по пригодности для медицинских целей, здание. Единственно, в чем пришлось уступить купцу — это в наименовании учреждения. Назвали его «Домом призрения для хронических больных». На самом же деле это была прекрасно оборудованная больница для хроников, в которой было свыше полутораста коек, отведенных под костный туберкулез для взрослых, 35 коек для детей и с полсотни коек для легочников. Здесь и развернулся во всю глубину врачебный и организаторский талант М. К.—

Деда. Приглашенный заведывать этой больницей нестарым еще человеком, закаленный многолетним опытом земской службы, обветренный степными вихрями врачебных об'ездов дальних волостей, он с муравьиным упорством и с истинно человеческой верой в общественный долг свой продолжал не раз разрушаемое грубыми лапами чванных и невежественных самодуров большое, малозаметное дело борьбы с туберкулезом. Человеку с малым воображением трудно представить себе всю былую напряженность этой борьбы: недоверчивая ограниченность провинциального низового врачебного персонала, скептические улыбки специалистов, светил, строящих свое благополучие на осторожном умолчании в отношении всякого нового метода, необходимость усовершенствования собственных знаний на ряду с подготовкой наново сотрудников, способных целиком отдаться этим новым методам борьбы, этому терпеливому самопожертвованию не в один героический миг, а распределенному на годы и годы кропотливого опыта, наблюдения, исследования.

И вместе со всем этим отвоевывание себе и им права на эту борьбу, места на эту борьбу, значение которой теперь очевидно всякому мыслящему человеку, а тогда покупалось ценой длительных споров, крепкой выдержки, зачастую в ущерб личным интересам отстаивающего ее. И на этом непрочном основании в больнице, построенной под видом богадельни, в окружении недоверия, а зачастую и прямой помехи делу, начал Дед в 1912 г. применение искусственного пневмоторакса—сжатия легких воздухом. Кроме него, этот же метод начал применяться проф. Лапшиным в Москве и проф. Штейнбергом в Ленинграде. Особенность положения Черныиевской больницы в обширном уезде, население которого не было лишено влияния городской культуры, дала возможность Деду установить своеобразную систему лечения. Как уже отмечено выше, в «Дом призрения» поступали главным образом хронические больные. Многие из них были из дальних деревень, лечение с их согласия было только длительным. Одним словом, больные сюда поступали на годы. Все особенности их биографии, все своеобразие их характера, привычки, склонности, симпатии и антипатии становились близкими и знакомыми врачу точно так же, как и больным — биографии, характеры, привычки и склонности врачебного персонала. Лечащие и лечащиеся сживались, сближались друг с другом до ощущения родства, до ощущения общности интересов, и это создавало тот особый дух общежития людей, связанных общими целями, который и называется культурой того или иного вида. Окрепшие и ставшие на ноги больные не покидали больницы тотчас же после первоначального улучшения их состояния. Постепенный переход к трудовым процессам также под тщательным наблюдением врача приносил взаимную пользу. Выздоровевшие получали работу сначала на 1 час в сутки, потом на 2 и на 3 и так далее, пока не переходили на полный трудовой день. Самый переход этот совершался в виде постепенного перехода на оплачиваемую работу,

что для больных рабочих и крестьян имело большое значение и в том смысле, что они не чувствовали себя инвалидами, не рвали психологически с привычным им ощущением себя как полезных членов общества. Таким образом, «Дом призрения» вместо того, чтобы выделывать «богадёлок» и «богадельцев» — человеческий шлак и отбросы — ставил на ноги, если не полностью, то хотя бы отчасти тот человеческий материал, который попадал ему в качестве пациентов. Если больной начинал уставать, если он сдавал на работе, его тут же переводили на постельный режим, изучая восстановление работоспособности и степень ее устойчивости под влиянием болезни. Эта система наблюдения над больными давала громадный и ценный врачебный опыт. Были больные, не покидавшие больницы по выздоровлении. Из их числа составился кадр опытных, терпеливых и внимательных нянь и санитаров, обслуживавших в дальнейшем работу больницы. С другой стороны, и тот медицинский персонал, который попадал в эту опытную станцию борьбы с туберкулезом, вовлеченный в глубокое и полное русло длительной работы, редко покидал «Дом призрения» без каких-либо внешних причин. Так составилось ядро крепко и дружно спаянной армии без шума и блеска, но с достаточной долей героизма, побеждавшей страшную болезнь человечества. Да и весь механизм так своеобразно положенной жизни этой больницы выкристаллизовался в конце концов в большое и трудовое хозяйство, самообслуживающее больницу, и был сам по себе новым врачебным методом. Он давал возможность наблюдать пациента на большом протяжении времени, следить за изменением его работоспособности, душевной энергии, привычек под влиянием тех или иных болезненных изменений. Все это вместе взятое и дало М. К. тот исключительный врачебный опыт, богатую организационную практику, знание психики своих пациентов, которые и были применены им впоследствии в «Высоких Горах».

V

Стоило бы поговорить о личных качествах Деда, так как этот человек, приближающийся к восьмому десятку и вовсе не думающий переводиться в инвалиды, заслужил право на внимание к своей жизни.

Стоило бы упомянуть о неоднократной помощи им, всегда вовремя поспевающей молодым нуждающимся силам: стоило бы описать его всегдашние заботы о низшем персонале, которому, например, в годы голода он отдавал свой труд, работая в платной амбулатории, выручки с которой целиком шли на организацию артельной столовой для служащих, и еще много другого следовало бы вспомнить, но мы не будем говорить обо всем этом подробно, так как это не роман и не повесть о личной судьбе какого-нибудь героя. С нас довольно и тех немногих, может быть, суховатых данных. Да и сам виновник и сам носитель этих свойств эпохи был бы недоволен долгой задерж-

кой на его фигуре. Он почмокал бы раздумчиво вытянутыми в трубочку губами, посмотрел бы через очки пытливыми безресничными глазками, усмехнулся бы, пожалуй, над ненужной сентиментальностью автора, но доволен бы ею не был. Потому что работал он всю свою жизнь не на удивление отдельных людей, а на пользу множеств. Еще потому, что этот ученый-практик чужд какого-либо тщеславия, хотя бы академического высокомерия или отчужденности. Вся его жизнь прошла вплотную с людьми, вся его практика была проведена внимательно примкнувшим к груди человечества ухом. И потому близость его к больным зачастую превышала, должно быть, близость родного человека: именно потому, что у родни бывают интересы разные с вашими, а у этого человека интересы совпадали с вашими: победить вашу болезнь. А потом у него было, быть может, помимо его воли, выработавшееся великое равнодушие к одному и великий интерес ко всем. Вот он стоит у стены, высокий, с седым клочком эспаньолки, с еще сохранившимися волосами, зачесанными назад, розовощекий старик, внимательно приглядывающийся и прислушивающийся к происходящему вокруг. Стоит у стенки и почмокивает, потаптывается, как недовольный слон, пощупывает локоть у проходящего мимо больного. Большая семья у него: за стол садится свыше 100 человек ежедневно; да круговорот больных за год дает три-четыре смены. Большая семья, и каждого из ее членов он помнит и знает.

— Вот видите, — говорит он ворчливо-благожелательно, чисто произнося гласные, как Луначарский, — вот видите, была у нас кастелянша, такая кастелянша, прямо во всем мире другой такой нет. Вот за 11 лет у нас только и пропаж было, что одна пара трусиков. Да и то она ее до сих пор поминает: вот, мол, какая беда случилась в 1923 году, — трусики пропали! Да. Так вот эта самая кастелянша заболела крупозным воспалением легких. Полтора месяца пролежала в больнице. Теперь выписалась, и по состоянию здоровья предписан ей диэтетический стол. Артельный наш стол для служащих ей не подходящ, слишком груб. Ну, где же ей взять диэтетический стол? Казалось бы, самое простое — уделять ей от санаторного стола. У ста обедающих по четверть ложки,—это ведь не было бы заметно. А мы не можем. Сейчас же пойдут разговоры, что персонал кормится вместе с больными! Вот оно как!

Дед почмокивает недовольно губами, покачивает головой. Но видно, что ворчит он больше по привычке, потому что в конце концов нужно же когда-нибудь поворчать человеку 68 лет и на что-нибудь, а именно на новые порядки, на обрастающие его новые раскраски жизни. А как ему ворчать на них, когда втайне да и в'яве они ему по душе, и только из желания сохранить всю самостоятельность привыкшей к борьбе натуры дед выдумывает себе затруднения, воображает препятствия в роде вот этих с кастеляншей.

Хотя и реальные препятствия и действительные затруднения существуют и досадно тормозят дальнейшее развитие санатория.

Чтобы понять всю незаметную героичность его борьбы за человеческое здоровье, следует знать вкратце историю этого санатория.

По Садовой улице, на взгорье близ Яузы, стоит двухэтажный особняк Найденовых, с громадным парком, с громадной в шесть десятин усадьбой, к которой с разных сторон примыкают сады других владений. Этот-то особняк и был заарендован под санаторий Московской общегородской больничной кассой на пять лет под первый туберкулезный санаторий «Высокие Горы».

В деле его основания принял непосредственное и деятельное участие Яков Иванович Бочаров.

Яков Иванович Бочаров, сын серпуховского ткача, сам рабочий-металлист, большевик, член президиума Московской общегородской больничной кассы, похоронен на Красной площади.

Его портрет, как основателя «Высоких Гор», висит в верхнем вестибюле санатория.

Из перечня выполняемых им обязанностей видна вся его деятельная, короткая жизнь.

Вот этот торжественный, простой перечень:

С первых дней революции — в первых рядах боевых отрядов пролетариата: в районном совете Бауманского района, Моссовета, райкома... Был членом президиума... затем заведующим отделом труда... в феврале 1920 года заболел испанкой, но работал почти до последней минуты и скончался 9 марта 1920 года в санатории «Высокие Горы».

Из сухих строк перечня работы рвется на волю быстрая, горячая 30-летняя жизнь, оставившая по себе много твердых, глубоких первых следов организации новой эпохи. С портрета глядит простое рабочее лицо с чрезвычайно энергическим взглядом, с высоким, чистым, хорошим лбом.

Именем Якова Ивановича Бочарова именуется санаторий «Высокие Горы».

Молодому учреждению на первых порах приходилось плохо. Открытый 5 апреля 1918 года, санаторий вначале не был тем образцовым учреждением, которое теперь дает тон всем остальным, равняющимся по его образцу.

Отсутствие больниц у Мобкассы заставило ее сделать неправильный шаг, превратив «Высокие Горы» в значительной части в общую больницу. Кроме того, внутренний распорядок жизни больных был далек от нормальных санаторных условий. Был всего один врач; дела санатория вершились комитетом из больных, который, конечно, не мог с достаточной осведомленностью направить жизнь санатория на правильный путь врачебного режима и спокойствия больных.

Поэтому санаторий был реорганизован, и для постановки дела в нем на новых началах был приглашен Дед.

Прежде всего был сделан подбор рабочего коллектива — приглашено три врача; было установлено правило: ни на один час ни днем, ни ночью санаторий не остается без врачебного надзора: дежурный врач все время проводит с больными; обедает, ужинает, пьет чай вместе с больными за общим столом.

Старый медицинский персонал был приглашен в большинстве случаев из земских работников.

Здесь-то и сказалась организационная роль и огромный врачебный опыт Деда. И «Высокие Горы» вскоре сделались показательным учреждением как по своему внутреннему распорядку и врачебным методам, в нем применяемым, так и по результатам, которых он добился благодаря своим работникам.

В бурные годы военного коммунизма тяжело нагруженное судно санатория качалось и трещало по всем швам. Питание больных было крайне скудно. Здесь помогли запасы рыбьего жира, оказавшиеся в распоряжении санатория. Старый дом, приспособленный для широкого барского жилья, мало соответствовал требованиям лечения туберкулеза. Летом больные все время проводили в парке. Ими были выстроены два солярия—для мужчин и для женщин: явилась возможность лечения солнцем. Заведующим санаторием упорно лелеялась мысль о постройке веранды для того, чтобы больные могли спать на открытом воздухе. Наконец, материальное положение санатория стало немного полегче. Из старых досок, из бревен, выломанных у ветхих служб бывшей барской усадьбы, выстроили веранду. Больные стали проводить на воздухе целые сутки. Солнечные, воздушные ванны, трудовые процессы в парке, саду, огороде, игры, лекции-беседы—все это проводилось на свету, на солнце, среди зелени. Санаторий «Высокие Горы» сделался образцовым. Но это еще не все. В первые годы, когда нельзя было достать приборов для производства пневмоторакса, Дед не стал в тупик перед их отсутствием. Он взял две бутылки из-под ситро, укрепил их на доске вниз горлышками, соединил эти горлышки внизу резиновой кишкой. Между ними поставил стеклянную трубку для определения силы давления, — и аппарат, дедушка всех высокогорских аппаратов, заработал на славу «Высоких Гор».

Он и теперь еще стоит в осмотровой; им и посейчас еще делают вдувание, — настолько он не уступает в работе высокосортным дорогим аппаратам более изобильных годов. Из этого небольшого фактика видны упорство, воля и любовь к своему делу, которые так характерны для руководителя «Высоких Гор».

В 1923 году было открыто 2-е отделение «Высоких Гор» для наиболее тяжелых форм туберкулеза. Там же имелись и операционная и анатомический покой. В основном же отделении, кроме веранды, был выстроен еще и павильон для наиболее легких (безбацилльных) форм болезни.

Таким образом, в результате всей этой кропотливой и упорной

организационной работы получилась возможность наблюдать и лечить туберкулез во всех его видах и оттенках. Конечно, это не могло не иметь огромного значения как для опыта работающих в санатории врачей, так и для практикантов-вузовцев, из которых подготовлялись в дальнейшем кадры провинциальных врачей-туберкулезников.

Все это подняло значимость существования «Высоких Гор» на большую высоту. Методы лечения, постановка новейших форм лечения, строжайше проводимый режим, практика трудных процессов стали образцом для других туберкулезных санаториев Союза. «Высокие Горы» стали местом, куда стекались врачи, интересующиеся образцовой постановкой дела, сюда сходились медицинские экскурсии; отсюда выходили кадры опытных борцов с туберкулезом.

И вот всему этому большому, прекрасному делу начало грозить ведомственное упрощенство.

Санаторий хотят слить с другим учреждением — Тубинститутом на Божедомке.

Это равносильно закрытию его.

Мотивы — параллельность работы с Тубинститутом, неокупаемость санатория. Мотивы эти, конечно, случайны и неосновательны. Санаторий является, как уже было сказано, совершенно своеобразным учреждением. Тысячи рабочих и крестьян прошли через него, поправив свое здоровье, справившись со смертным врагом tbc, грозившим им полной инвалидностью, а нередко и смертью. Десятки врачей-туберкулезников, сестер, нянь обучились в санатории тому подходу, какой необходим при этой болезни больному. Тубинститут в конце концов — госпиталь. Санаторный режим в нем неосуществим. Кроме того, заведующий Тубинститутом В. С. Хольцман, также много сделавший для процветания «Высоких Гор», где он был заместителем Деда, один из лучших специалистов по туберкулезу, достаточно опытен, чтобы поставить Тубинститут на должную высоту. Перевод же туда «Высоких Гор», помимо неудобства чисто пространственного характера, смешивает две инициативы, две задачи, близкие по духу, но различные по методам их осуществления. И еще следовало бы вспомнить Мосздравотделу, что организатору «Высоких Гор» уже 68 лет, что он человек глубочайшей общественной ценности, что перебрасывать созданное им ценное учреждение, путать все его начинания, дробить коллектив рабочих медицинского персонала, в конце концов разрушать все дело образцовой помощи населению, угрожаемому туберкулезом, — преступно. Но Мосздравотдел помнит только одно: что в его власти закрывать и перемещать подведомственные ему учреждения. И вот 2-е отделение «Высоких Гор» уже закрыто. То-есть не совсем закрыто, но «влито» в Тубинститут. Конечно, от этой слитости никто не выиграл. Лицо «Высоких Гор», дух его работы во всяком случае не мог сохраниться при слиянии с более многочисленным коллективом, обслуживавшим Тубинститут. Говоря попросту, с таким трудом дисциплинированный нужный медицинский персонал

тотчас же растворился в «служебных», казенных привычках обычного больничного персонала, не повысив его качественной ценности. Кроме того, конечно, старые врачи и сестры «Высоких Гор» потеряли огромной значимости опытную базу, которую представляли для них операционная и анатомическая 2-го отделения «Высоких Гор».

Та же участь грозит и основному отделению.

В прошлом уже были попытки закрыть их. Но вступился Моссовет, согласно постановлению которого без его особого разрешения сливать «Высокие Горы» с Тубинститутом окончательно пока что не дано права. Но это «пока что», конечно, не дает уверенности в прочности существования санатория, нервируя работу его персонала. Главк просто указывает на дальнейшую необходимость слияния, как на дело решенное и лишь отложенное на более или менее продолжительный срок.

Вот какая гроза нависла над «Высокими Горами».

Парк

После того, как диагноз диспансерного врача поставил их лицом к лицу со смертью, после первых пяти дней лежки в «карантине», больные — те из них, кто в состоянии бродить по парку, — начинают потихоньку обходить его углы и достопримечательности. Перемена одежды, халаты, туфли, твердый санаторный режим с его тишиной и суровой определенностью, переход ко всему этому от суеты повседневной городской мелко дребезжащей жизни действует оглушающе. Больные медленно оживают, как примявшиеся и вновь расправляющие свои листочки цветы. Они осторожно обходят нижние аллеи, поднимаются к павильону, спускаются вновь к обрыву, возвращаются к солярию. Их движения неуверенны, они медленно передвигают ноги, как кошка, попавшая в незнакомое место и вдумчиво обнюхивающая стены.

Павильон — весь в завитушках колонн, в просветах боковых и потолочных стекол, в черни и золоте фронтона, опоясанный под куполом причудливым орнаментом из фантастических птиц, клекочущих и распускающих крылья, павильон рушится постепенно, медленно, подгнивая и осыпаясь штукатуркой. Когда его прелое дерево обнажается уж очень сильно, тогда приходят рабочие и обновляют колонны, вставляют свежие куски дерева взамен выкрошившихся бревен, пломбирует его облицовку. Вокруг него пахнет прелью и тяжестью древесной гнилой пыли. «Охрана памятников старины», в лице гражданина с «пострадавшим» лицом в чесучевом пиджаке и в довоенной панаме, наблюдает за побелкой и реставрированием. Реставрация тяжелыми, совиными крыльями веет над этим местом. Символ мудрости—сова, вылетающая ночью, должна бы жить в этом павильоне. Такая же надутая, глупая и беспомощная днем, когда всем все ясно видно.

По бокам павильона на той же аллее стоят «миловиды»—шестиколонные круглые портики-беседки. Возле них высятся статуи Аполлонов и Венер. Вдали, по аллее второго яруса, возвышается концертный зал, фонарем просвечивающий насквозь. Больные бродят между разнообразных деревьев, привезенных сюда издалека, — пихт, пиний, кедров, по дубовым и липовым аллеям. На главной верхней аллее стоит двухсотлетний дуб. Аллея восходит могучим закруглением к дому. По бокам всхода поворачивает круто завиток барьера с цветочными вазами, львами и насаждениями по каменным стенам. Наверху его заканчивает лестница, ведущая на террасу дома.

По аллеям медленно движутся белые халаты, мелькают сетки и трусы окрепших больных. Вот одна из фигур, с яблоком в руке, сходит вниз, в аллею. Из угла террасы ей навстречу появляется внезапно Дед. Больной вскидывает глаза на смятенную, расплавленную раздумьем Дедову физиономию. Думая, что глаза Деда, устремленные в пространство, остановились на нем, больной направляет к Деду шаги. Но тот почти его не видит: он сосредоточен, как поэт, гоняющийся за рифмой. Ему нужна какая-нибудь точка, на которой он мог бы сосредоточить внимание. Точкой этой оказывается яблоко в руке больного. Глаза Деда останавливаются на нем. Больной это чувствует и борется с желанием предложить яблоко Деду. Но Дед уже заметил его замешательство и, не выходя из своего раздумья, обращатся к нему: «Какое вкусное у вас яблоко! Какое прекрасное яблоко»—говорит он почти машинально. Больной переводит взгляд на яблоко — да яблоко отличное. «Но почему у него не было стула!» — восклицает Дед той же интонацией. Больной смущается и не может связать своего яблока с последним восклицанием Деда. «Почему у него не было стула!»—еще раз восклицает Дед. «У кого, у меня?» — опасливо переспрашивает больной. «Да не у вас, не у вас, — у больного! Вы заняты прекрасным яблоком, а я думаю, почему у больного не было стула! Вот видите, какие у нас разные дела!» Дед раскрывает лицо в озабоченно-лукавую улыбку. Больной сразу понимает тогда неуместность своего беззаботного яблока и продолжает путь дальше, а Дед, сорвавшись ураганом, бросается в палату, очевидно, что-то решив-таки с помощью случайно попавшегося на глаза яблока. Вниз по аллеям, где цветут попеременно сирень, жасмин и липы, где стоит тонкое благоуханье молодой нарождающейся листвы, где солнце пробивает зеленую тень корельских берез и тополей, — там среди зарослей деревьев и кустов стоит павильон и веранда.

Поляна, на которой стоит веранда, окаймлена склонившимся шатром деревьев. Похоже на то, что веранда — деревянный настил под навесом — это корабль, заплывший в зеленую воду меж островов, с которых склонились деревья.

В центре, подпирая небесную утреннюю палатку, стоит живой, зеленой трепещущей колонной высоченный тополь. Его к бокам поджатые ветви летят вверх, точно он был многое время зажат в тесноте

каменной гущины и узости. От него расходятся амфитеатром ветви восьмисотлетнего великана-дуба. Ствол его, в три обхвата, лишен сердцевины. У начала кроны он перехвачен железными ремнями, четырежды вяжущими его главные ответвления,—так он стар. Издали непонятно, для чего это сделано, для чего заковали ему плечи кандалами, врезавшимися ему под кожу. И только когда подойдешь поближе, совсем вплотную, заметишь сквозь трещину коры, что древесина огромного дерева раскрошилась и выветрилась до самых стенок коры. Как это ни странно, но от всего его ствола осталась одна лишь кора в три обхвата окружностью, на одеревянелой твердыне которой и держится огромная раскидистая веселая шапка кроны. Кора бугруется крутыми желваками, она крепка и скрипуча, и кто знает, сколько времени продержит она вершину. Это дерево-чудо как бы искуснейшая иллюстрация к действию туберкулеза: дерево будто в чахотке, с'евшей внутренности его грудной клетки. И все еще цветет, все еще зеленеет оно, поддерживаемое искусственными стенами, половину второго своего века.

Если бы не боязнь обидеть этот честный дуб сравнением, его можно было бы поставить в ряд с европейцами, с буржуазным обществом тех стран, которые также издали свежо и шумливо раскинули свои ветви по миру и которое также не хочет знать, на чем оно держится, и верящему в чудо, которое сохраняет крепость поддерживающей его крону коры. Но боюсь дубовых обид и насмешек над трафаретностью сравнения. А дуб — все-таки полезное животное!

За этой деревянной метафорой стоит его сын или, может быть, внук, меньший размерами и еще крепкий стволом. Потом идет род пинии, вывезенной сюда большими богачами из далеких краев. Она выросла в этом парке как бы в порядке соревнования с отечественной флорой. Ее ажурные ветви свисают, точно верхушку ее обмакнули в болотную тину. Она напоминает об итальянских виллах тамошних богачей; напоминает об интернационализме капитала, о стремлении повсюду принимать один и тот же облик, чтобы издали быть узнанным и походить друг на друга.

Четыре дерева эти полукружием окружают веранду: они склоняются над нею, как кумушки над колыбелью новорожденной, как те колдуньи из сказки о спящей красавице, что пришли одарить ее подарками.

Но спящая красавица, покоящаяся в этой общей колыбели, бормочет совсем не сказочки.

В огромной общей колыбели этой — 40 коек, где ночами кашляют, бормочут, вскакивают, набрасывая на себя халаты, больные, где утра тихи, а вечера сумасбродны и по-мальчишески смешливы, где люди в самом деле превращаются в детей, спящих в дортуаре, вскакивая с постелей разом, как суслики у норок или стадо потревоженных моржей, под разнообразные, понятные только здесь выкрики, оклики, приговорки.

Утро. Сад стоит закован в литую тишину. В нее ударяются птичьи груди. Это не пение уже, это хриплый лай и ворчанье, и клокотанье, и причмокиванье; не поверишь, что все это выделывают кипящие голоса пичуг. Они ворочают звуки, как куски масла на сковородке. Они избивают своими руладами невозмутимую тишь. И вдруг раздается полупридушенное, сладострастное восклицание кукушки. Тогда соловьи успокаиваются, откипают. Солнечный душ сбоку бьет в зеленые тополя подмышки, и они краснеют и загораются теплым телесным цветом, развертываясь вверх фонтаном струящихся лиственных капель. А дальше застывший смерч розового песка возносит ствол сосны.

Стакан с водой в руке, когда идешь бриться, на солнце похож на обломок гигантского термометра, — вода переливается в нем ртутью. Утро начинается тягучими гулами гонга. Больные скрипят постелями, встряхивая термометры, затем идут на утреннюю записку и в умывалку.

Воскресенье

Солнце заливает двор, парк, дом. На главном под'езде между львами и драконами товарищ Клубницын тщательно насаливает щеткой сандалии: одну за другой до полного блеска. Его нос торжественно лоснится и розовеет, а лоб точно обильно смазан мирром. На нем новая неразошедшаяся еще по складкам кремовая рубашка, подпоясанная черным кружеными поясом с кистями. Весь он являет собой фигуру праздничной упорядоченности — итог недельных трудов.

Сегодня воскресенье, придут посетители, на первый завтрак дадут паштет из печенки, нет гимнастики и трудпроцесса, нет врачебного обхода. Вообще день обещает быть безоблачным и исполненным свободных, нерегламентированных развлечений и занятий. Курильщиков не так станут преследовать за кустами. Любящие уединение могут часами шататься по тенистым аллеям. Но их мало, этих мечтателей с томами Лермонтова и Некрасова, Гамсуна и Уптона Синклера. Главная масса санаторных сегодня на пятачке—на дворе. Во-первых, ведется строжайшее наблюдение — кто сколько имел свиданий, не пропущены ли лишние посетители. Во-вторых, обсуждаются качества, ценность внешности и социальный вес приходящих. Те, к кому еще не пришли родные и друзья, и те, к кому они вообще не приходят, уселись стенкой у решотки, отделяющей парк от двора. Здесь, в узкой полосе тени, отбрасываемой вьющимися на решотке растениями, собрались больные, как стайка воробьев на заборе, оживленно щебеча и погромыхивая несколько печальным смехом одиночек, предоставленных собственному остроумию.

Но это происходит много позже, а пока, с утра, франты записываются в очередь к парикмахеру, бреющему неимоверно долго,

тоже чахоточному и растерянному малому, который, поворачивая голову клиента, повторяет без всякого соответствия со смыслом дела: «имею честь!» и «будьте удостоверены!».

Парикмахер этот уверяет с горьким и гордым видом падшего ангела, что он работал раньше на Петровке у «Артиста». Руки его дрожат, ему охота выпить, но клиентов много, и он опять в сотый раз повторяет свое «имею честь».

Одно время на веранде с ним конкурировал парикмахер, попавший на санаторное лечение. У того был новенький брительный прибор, он брал вдвое дешевле, чем этот, и к тому же во время бритья пел песни так весело и задорно, что к нему шли бриться из-за того, чтобы послушать, как он поет. Но он исчез с веранды, едва успев появиться, точно пораженный местью конкурента.

Франты выходят из умывалки, где бреет парикмахер, сияя отливами щек, строгие и величественные. Большинство бреющихся почему-то имеет татуировки на разных местах тела. У Артынова вытатуирован крест с парящими по бокам его ангелами. Крест оттатуирован на груди, и на воздушных ваннах Артынов, играя в волейбол, представляет собою, когда расставит руки, двойное распятие. У другого, Сорина, тоже на груди оттиснут серп, молот, две пожимающие друг друга руки и северное сияние. Похоже на ребус, — не вызывает ни в ком изумления. У многих татуировка не так пышна и ограничивается отдельными предметами и орнаментами.

После чая начинают прибывать посетители. Здесь начинает просветляться социальный облик больных. К Тоцкому приходит его мать, молодая еще тридцатипятилетняя красавица с преувеличенным, как на карикатуре, бюстом. Он уверяет, что она стенографистка. По виду она скорее должна стоять у прилавка ювелирного магазина. Что же, может быть, она от прилавка и пришла к званию стенографистки.

К Артынову приходит тоже мать — деревенская, робкая неуверенная старушка, которую долго опрашивают у ворот. Она принесла сыну домашнюю сдобу, туфли, помидоры. Сын, стриженый пофашистски, низколобый наш раздатчик пищи, явно стремится поскорее отделаться от посетительницы, снижающей его прическу и залихватский вид шофера водочного завода.

К Шаякину, красному командиру, приходит жена, явная палаточница с Сухаревки или владелица дачи в Пушкине. Она рыхла, полна, одета в кружева и шелк. Она приносит худенькому краскому так много еды, что кажется, с'ешь он все сладости и фрукты, приносимые ею, — он каждый раз после ее прихода должен был бы удваиваться в весе.

К Сергею Сергеевичу приходят товарищи партийцы. Они увлекательно и вкусно разговаривают о чем-то, усевшись на самой дальней лавочке.

Но все это случается значительно позже, а пока сияющее утро начинается с умывалки. Умывалка тоже выходит в сад, по ней густо ходят зеленые тени, фигуры моющихся пятнают солнечные блики. Нужно обтереться водой согласно санрежиму. Для этого каждому больному выдана полотняная перчатка и второе полотенце. Обтираются не все, но большинство. Умывалка мала, в ней гулко бьет плеск голосов и воды. Под шестью кранами моются шесть голых людей зараз. Столько же ожидают очереди. Но вот к восьми часам почти все вымыты. Выпито молоко и простокваша. Белые халаты уже замелькали по парку: фигуры в трусиках и в майках, вытянувшись на одной ноге, набрасывают деревянные, вырезанные из фанеры кружки на вбитые в землю колышки. Большинство, впрочем, остается на веранде, бреется, чистит башмаки, занимается еще какими-нибудь мелочами.

В десять с четвертью раздается низкий вой гонга. Чай.

Начищенные металлические чайники блестят на длиннейшем — на 80 человек — столе. У каждого номера больного, отмеченного белой краской на лавке, на столе расположена «зарядка», так называется прибор: тарелка, кружка, вилка, ложка. На тарелке лежат 40 граммов масла, сыр или паштет из печонки по «постным» дням (по «скоромным» бывает каша). В кружку положены пять кусков сахару — порция больного на день.

В чайнике кофе с молоком или чай. В конце стола сидит врач, без разрешения которого вставать с мест не полагается. Над столом, на ребрах деревянных полукругов, натянута клеенка: во время дождя она сдвигается, в хорошую погоду собирается в складки. Клеенка эта — тоже изобретение Деда. Чтобы проводить свой воздушный режим целиком даже во время еды, Дед «изобрел» клеенку, купив на аэродроме негодную оболочку аэростата и приспособив ее как щит для столовой на воздухе. Теперь мы едим как бы внутри огромного цеппелина, вмещающего до сотни пассажиров. За столом ближе присматриваешься к людям. Времени много, так как врач приноравливается к наиболее отстающим в еде. Лица за едой довольные, удовлетворенные. Повадка и манеры еды вскрывают зачастую характеры лучше всяких догадок и наблюдений.

Вот Лавкин, тяжеловес, с лицом римского легионера. Круто закрученные лихие усы двумя толстыми пьявками присосались к его задорно вздернутой верхней губе. Короткий прямой нос, правильные дуги бровей, нерезко очерченный лоб, переходящий в правильно округлый череп. Голова его низко стрижена, на висках забелела морозная седина. Широченные плечи с желваками мускулов говорят о его профессии. Лавкин — литейщик с подольского завода Госшвеймашины. Несмотря на свои сорок лет, седину и грозные усы, Лавкин все еще похож на мальчугана. Он также бычится на предложенное угощение, стесняясь воспользоваться им; также мальчишески наблюдает за всем происходящим вокруг него с целью выудить себе раз-

влечение. Он очень обиделся на то, что его фамилия попала в стенгазету, хотя ничего плохого о нем сказано не было, даже наоборот, его похвалили,—он обиделся за самый факт «протаскивания», как он называл помещение его фамилии в газете. Впрочем, это история отдельная. А пока вот они, другие его товарищи. Шарифулин, что так неуклюже играет в мяч, — откатчик с того же завода. Вообще Подольск имеет в этом санатории до 30 коек.

Шарифулин, глазки которого светятся задором и симпатией ко всему на свете, что не причиняет ему зла, рассказывает, нажимая на букву «и» и вставляя лишние гласные в трудные для него скопления согласных.

— Завтра ухожу! Четыре месяца отлечился. Вот смотри,—кажет он заметку на поясе—разницу, прибавленную в об'еме. — Вот как раньше было, вот как теперь. Он доволен своей поправкой, этот коренастый, низкорослый татарин с добродушным темным лицом черемисского идола.

Тяжелый труд откатчика с постоянно вдыхаемой наждачной пылью привел его сюда. Здесь он не потерял бодрости духа, наоборот, уверился в том, что государство о нем заботится, что он не был покинут в тяжелую для него пору. В нем есть хорошее какое-то равновесие, внутреннее достоинство и задорливое отстаивание себя. Когда ему напоминают — очень изредка — о его неправильном произношении, он возражает с задорной убедительностью: «Ты понимаешь? Значит, говорю хорошо! Ты по-татарски никак не умеешь: тебя понять нельзя по-татарски, меня по-русски можно понять!»

— Галавное дело не пить! — говорит он с комической торжественностью, поднимая руку с вытянутым указательным пальцем. — Галавное дело эту яду не пить! Одна румка выпьешь—месяц болеешь! Галавное дело!

Кроме Шарифулина, есть еще татарин Сагадеев, Мареев, в женском павильоне Касимова — все с той же Подольской фабрики. Но они не так запоминаются. Мареев—тот выделялся тем, что об'являл голодовку по всякому пустяковому случаю: не пустят ли его в отпуск, не возьмут ли в экскурсию,—Мареев уже лежит на койке, отказываясь от пищи. Касимову поставили на ноги санаторный режим и пневмоторакс. Говорят, она в Подольске была, как тень. Теперь ее скуластое, лукавое личико зачастую расцветает в улыбке, она кокетливо стреляет улыбками направо и налево.

Дальше за столом сидит Петров, инженер-электрик, как он сам называет себя, редкий спец по токам высокого напряжения. Так ли это—решить трудно. На вид он не возбуждает особых симпатий: белесый, мягкотелый, какой-то провинциально обесцвеченный, с прыщавым лицом. Хохоток у него неприятный, тихо-гадостный. Он, например, развлекается тем, что заставляет плясать придурковатого Сашу и дефективного Колю за конфеты и альбом. Соседи его дали ему меткую кличку за внешнюю демократичность и внутренний эго-

изм и неряшливую какую-то разложенность. Зовут его «двухорловым пятачком».

Вскоре, впрочем, его выбрасывают из санатория за одну из его отвратительных, каверзных проделок. В памяти он остался белесым пятном, каким-то очеловеченным печально-нечистоплотным червем, упрямо сжимающим и разжимающим свои дряблые кольца. И все-таки он был тяжело болен, как и огромное большинство находящихся в санатории. И это было в нем подкупающе жалостно. Со всеми его угрями, ковыряньем в носу, тихой отвратительностью то, что он безнадежный больной, делало его выносимым и терпимым в среде больных. Ему давали равное право бороться за жизнь. И он этим правом пренебрегал с каким-то смертным удальством, как и огромное большинство. Он кутил, нервился и нервировал других, об'едался принесенными из дому сластями, портя себе аппетит и желудок. Он не обтирался по утрам, не измерял температуры, одним словом, он не подчинялся санаторной дисциплине, как не подчинялся, должно быть, и общественной в жизни, и все это молчаливо одобрялось и узаконивалось остальными. В этом было что-то от бурсы, от анархиствующей обывательщины, не признающей общества как дисциплины, добровольно признанной, но слепо подчиняющейся отжившим смешным и вредным предрассудкам и традициям.

Однажды Петров об'елся лапши. Он ел ее бессмысленно жадно. Его стошнило. Это не вызвало отвращения. Это послужило лишь к целому взрыву последующих и долго державшихся острот и прибауток. Также не вызвало осуждения побоище двух соседей—Кухрина и Сероглаза, бившихся кружками и плевательницами. Сероглаз был слабоумен и добродушен. Кухрин—по-цыгански—жуликоват и нагл. Он чем-то обидел Сероглаза, так что тот размахнулся и пустил в него плевательницей. За это их обоих выписали из санатория также. Кашалот Николаев. Повар Назаров: злые глаза, как у улитки, на ниточках. Черкасов—стрекоза-попрыгунья. Гаврилеев—германский плен. Сагадеев — легкий, как фигуры раннего Гогена. Скороспелов. Лесин. Васильев.

(Окончание следует).

Кариатида

Повесть

А. ДОЛГИХ

Дом был маленький, белый, посеревший, издали похожий на забытую солнцем и людьми глыбу снега, замусоренную, непривлекательную. Вблизи он не казался привлекательнее. Стены его зажелтели и облупились до половины ржавыми полукругами от сырости и времени. Вода после дождей бежала ручьями со всех сторон крыши с обломками железных труб. Грязь под падением воды подскакивала вверх и пятнами разбрасывалась по стенам. Окна в доме томились за двойными рамами. Занавески белели полумасками, открывая лбы низких окон. Над первым этажом как-будто возвышался второй по высоте дома, но вместо окон серели на их месте легкие впадины, а, возможно, это только пыльные тенета залегли в неровностях побелки. Портал у дома был несоразмерно велик, выступал вперед большим навесом. Под ним уцелела одна из алебастровых кариатид, от другой торчал голый, поломанный железный кронштейн. У сохранившейся кариатиды было обветренное, потемневшее от пыли переносье, покорные белые глаза и приподнятые над головой мускулистые руки борца. На них покоился ветхий балкон с ажуром чугунной решотки. Лицо кариатиды обращалось вниз, взгляд упирался в землю, но круглые плодородные груди с упорством здоровья и полнокровия смотрели вверх.

Перед домом проходил мост, перекинутый через низменную местность у вокзала. Дом стоял в стороне, на большом пустырном участке с остатками скамеечных пней. Близ него даже не было проезда, а только пешеходная тропинка, но и та заросла бурьяном. По мосту проносились со скрежетом трамваи, играючи летели автомобили, грузно переваливались автобусы, цокали по мостовой извозчики, несли свою жизнь мимо пешеходы. На другой стороне моста, невдалеке, на западе, маячили по алому полотну заката высокие, прямые трубы заводов и фабрик. В сизом сумраке после захода солнца они казались мачтами флотилии гигантских, боевых судов, приостановившихся ненадолго в мирной гавани. С моста всего удобнее было видеть обитателей маленького особняка.

Ранним утром, по сигналу заводских гудков, открывалась белая высокая дверь под навесом ажурного балкона. Появлялась женщина с плетеной сумкой в руках. Высокая, широкоплечая, в белом платке на низко опущенной голове. Она шла, не глядя по сторонам, и подбородок ее упирался в высоко приподнятую грудь. Возвращалась она обратно с ношей, поставленной непременно на плечо. Она придерживала ее высоко приподнятыми руками. Около девяти из дверей появлялась опять она же, но не одна: женщина сопровождала высокого, тонкого молодого человека с книжками. Она с большим беспокойством бросала взгляды исподлобья, как бы ожидая на каждом шагу врага. Отдалялись они с таким опасением от дома, будто на утлом, самодельном челне пускались в плавание по безбрежному океану. Возвращаясь, она тревожно оглядывалась и вздыхала. К двенадцати часам женщина выходила с молоденькой девушкой. Девушка была бледна, малокровна, тонка. Она двигалась, как колеблемая ветром. Ей, несомненно, требовалось придерживаться за свою спутницу. Спутница ее имела поразительно светлые глаза, синеватые, выпуклые белки и на них такие же слабо окрашенные округлости глаз; если б в этой округлости не помещался резко выраженный продолговатый зрачок, ее принимали бы за незрячую. Но она была поводырем девушки. По мере того, как из магазина в магазин наполнялась продуктовыми подаяниями корзинка, девушка не менее обременительным, немощным телом висла с другой стороны женщины. С отрадой и явно большим облегчением спешили они домой.

Ну вот, слава богу, ничего не случилось!—говорил вид каждой.

После этого белоглазая женщина выводила в ограду толстую, тяжелую старуху в черном платье, обезображенном какими-то искусственными заплатами. Вслед за старухой женщина выносила доску, клала ее на остатки пеньков. Старуха медленно, долго прилаживаясь, отставляя широкий зад и сгибая натужно выпуклую спину, садилась. Доски потрескивали под ней, и она предохранительно распускала по сторонам руки с пухлыми кистями. После этого старуха ненадолго успокаивалась. Грузно оседала на скамье, распускаясь на ней все тяжелее. Расплывался на скамье все шире зад, растекались складки платья, шея уходила в плечи, лицо скрывалось в черном, носатом навесе платка. Она сидела неподвижно, безжизненно, безвольно, как посаженное на скамью чучело. Женщина с белыми глазами сторожила стог тряпья и заплат, оставаясь на ногах. Голова ее держалась полуопущенной. Но грудь под ситцевым платьем и холщевым передником рвала материю. И женщина тщетно приглаживала на ней нагрудник.

Стоило взвизгнуть погромче рельсу под давлением трамвайных колес или протукать по мосту мотоциклу, как ворох тряпья и немощного мяса и костей весь встряхивался.

— Боже мой, опять перестрелка! Когда же это кончится? Измучили!

Старуха не замечала окружающей ее мирной жизни и мирного строительства. Трамваи шли перед ее глазами, как боевые эшелоны,

переполненные солдатами. Грузовики и автобусы двигались ужасающими танками. Извозчики, ломовики, все, движущееся с помощью лошадиной силы, представлялось конницей в боевом снаряжении. Пешеходы, непрерывный человеческий поток через мост, несся перед старухой, как неудержимый эскадрон мобилизованных войною людей. С перепугу она поспешно вставала и, опираясь на руку стража, спешила под кров своего дома.

Наступал вечер. Заволакивались сизым вечерним туманом заводские трубы на другой стороне моста. Грудилась прибывавшая из дальнего плавания флотилия. Неслась в мирном биении жизни и усиленной работы вся улица. Темнел маленький домик за мостом. Сумрачно скрывалась под крыльцом кариатида. Открывалась в доме выходная дверь, скрипя и царапая по полу. Выходила в чистом, тонком фартуке женщина. Она становилась под сломанный кронштейн, упиралась задом в стенку, выдвигала вперед белую грудь и плечи, напряженно наклоняла вперед голову. Стояла неподвижно и молча, только дыхание отличало ее от алебастровой женщины.

Тонкий, гнущийся под тяжестью собственного тела юноша, возвращаясь в сумерках домой, путал по близорукости, которая живая женщина, и часто спрашивал алебастровую:

— Ну, ты. что, стоишь на своем посту?..

А может быть, юноша под влиянием хорошего настроения шутил со статуей...

II

Утро началось с выстрелов. Домна Антипьевна Имонакова пронзительно вскрикнула и, готовая спрыгнуть с кровати, высвободила ноги в шерстяных чулках.

— Боже мой, опять стреляют!.. Катерина! Катерина!.. Ко мне! Катерина!

Работница не прибежала на ее зов. Старуха дрожащими руками сбросила на пол стеганое одеяло, две шубы поверх него, лисью дамскую и мужскую жеребковую доху. Не ища туфлей, кинула ноги вниз на ковер, свалявшийся, как шерсть паршивой овцы в коростах. Дрожали на старухе три платья: два байковых и одно стеганое на вате. Колыхался испуганными взмахами кружевных оборок чепец на голове. Из-под одеяла, из-под шуб выпрыгнули вслед за хозяйкой два пушистых старых кота, взлохмаченных и напуганных не менее ее. Домна Антипьевна схватила с кресла у кровати снятые на ночь дневные одежды, кинула все это как попало себе на плечи, на шею, поверх головы. Закрутилась бестолково на месте. Побежала к окну, силясь обратить кружевные занавески в непроницаемые щиты. Бросилась к гардеробу. Распахнула большие дверцы, как конюшенные ворота, сдернула беспорядочно с вешалок весь ассортимент доисторических платьев. Под скрип массивных дубовых дверных половинок она прятала платья в печь, в трубу, руками и ногами запихивала под

кровать, засовывала себе тряпье под полы стеганого халата. Оно снова вываливалось оттуда, спутывало ей ноги. Метались по комнате вместе с хозяйкой два взлохмаченных кота. Перепуганные животные натыкались на хозяйку, царапали ее. В ее метании был непередаваемый кошмар, уродство, извращение владеющих ею целиком собственнических привычек. Старуха запнулась, упала на пол и поползла бесформенной грудой тряпья в угол, к иконам, нагроможденным друг на дружку лестницей до самого потолка. На ступенях этой лестницы перед образом Георгия Победоносца стояла большая лампада, напоминающая об'емистую форму для желе. Старуха распласталась перед иконами, и с губ ее шли в затоптанный ковер глухие, неразборчивые слова, подобные мычанию немой...

Вошла Катерина, белоглазая, широкоплечая женщина. Всплеснулись сильные руки над головой.

— Матушка, Домна Антипьевна, опять!..

Старуха под ее руками пришла немного в себя, приподняла голову.

— Что, пришли, пришли?.. С ружьями?.. с револьверами?.. с ножами? К горлу! К добру!..

Реквизиционный этап в разворачивании политических событий запечатлелся в ее мозгу как самый сильный, незабываемый момент в истории ее жизни. Катерина сокрушенно подняла ее с пола, гладила успокоительно по плечам, по спине, оправляла платье. Старуха, еще оставаясь на коленях, выпрямила указательный палец, призывая прислушаться.

— Все тихо. Никто не стрелял. Ступку я уронила на кухне— соль толкла. Забылась, что потревожу вас. Не уследишь в утренней суете. Да нищий выходной дверью хлопнул. Посмотрите на двор— никого там нет.

— Аркаша дома?

— Аркадий Василич почивает в своей комнате. Наверно, им хорошие сны снятся...—работница сказала это с такой нежностью и любовью, как о безгрешном, прекрасном младенце в колыбельке. На губах ее разлилась мягкая материнская улыбка.

— А Верочка?

— И Верочка дома.

Материнской улыбки хватило и на Верочку. С приходом Катерины водворился в комнате порядок, все разместилось обратно по своим местам. От всех ее неторопливых движений распространялось успокоение, уверенность, устойчивость в настоящем положении. Старуха, отдышавшись немного от переполоха собственницы, переоделась по-дневному в добротное платье, покрытое серией заплат. Еще недоверчиво и опасливо, вытягивая оплывшую шею, пошла из своей комнаты в переднюю. Здесь она подняла голову к потолку и, глазами указывая на него работнице, спросила:

— А там все в порядке?.. Никого, чтобы...

— Нет, нет, Домна Антипьевна. Никто, никто. Ни боже мой! Пока я здесь, никакой ворог...

На потолке, куда указывала Домна Антипьевна, ничего замечательного не было. Чуть одно место, квадратом побелее других и более шероховатое, выделялось в одном из углов. После осмотра потолка в передней, старуха направилась к комнате дочери, уже совершенно успокоенная. Девушка спала с папильотками в волосах, натянув одеяло на лицо. У кровати, на полу и на стульях барахлились свалкой старьевщика снятые перед сном одежды. На туалете были разбросаны в клубках волосы, шпильки, обрывки папильоток и подзеркальник обсыпан пудрой. Гардероб с свалившимися платьями стоял распахнутый настежь, как после внезапного от'езда. В этом хаосе девической спальни проглядывало сходство с материнской комнатой после ее разгрома. Здесь ежедневно происходила ожесточенная борьба между работницей и вялой в своих движениях девушкой, не любившей прибирать за собой. Не успевала комната показать себя с выгодной стороны, как внешность ее обезображивалась. Вещи меняли места, располагались в самом непотребном виде. Девушка повернулась спиной к вошедшим. Эта круто согнутая спина только и обозначалась теперь под одеялом. Катерина подоткнула под матрац свесившийся конец одеяла и простыни и на ходу притворила гардероб. Старуха уже шла к комнате сына. Катерина следовала за ней на цыпочках. Она принесла из кухни газеты. Когда старуха открыла дверь, Катерина просунула газеты в комнату. В глазах ее было такое выражение, словно она принесла и положила на стул перед спящим не газеты, а прекрасный душистый букет нежнейших и редких цветов. Тело спавшего юноши слабо выделялось под плюшевым одеялом. Голова была глубоко вдавлена в подушку и круглилась, как лысая. Редкие волосы на висках сливались с кожей. Здесь много было учебных книг на столе и открытом шкафу, но ни одного подержанного учебника. Воровским движением подхватывая с полу обувь, Катерина опасливо шепнула своей хозяйке:

— Они намаялись, всю ночь над столом, над бумагами... Смотрите, мудреные чертежи какие... не растревожьте...

Она почти выпихнула Домну Антипьевну из комнаты Аркадия и вышла сама. Через плечо ее перекидывались парой глухарей загрязненные штиблеты. Хозяйка проследовала вслед за работницей в кухню.

— А в городе, небось, побоище?—опять повторила она, существуя с в'евшимся ей в нутро и кровь представлением о непрекращающейся войне.—Когда эта мирная жизнь начнется?

Катерина, чистя при изрядной помощи слюны из своего рта хозяйские штиблеты, медленно сказала:

— Побоища нет, а на выборы в Моссовет приказывают мне итти завтра... повестка...

— Нет, нет, мы не останемся!—замахала руками и оборками чепца Домна Антипьевна.—Еще убьют тебя там в свалке... Кто это ходит?..

Белоглазая Катерина рассматривала свой силуэт в отполированной ею коже. Она, уминая каблуком хозяйского ботинка дыбившееся на груди платье, проговорила:

— Разве могу я вас оставить? Вон у Аркадия Василича ботинки проносились—нужно итти новые выбирать, да Верочка жалуется на старые туфельки. А еще дюжина чулок на продажу не довязаны. Вот мои выборы...—на лице Катерины отражалась глубокая, привычная озабоченность.

Домашняя работница и чулочная мастерица Катерина Поскотинова числилась при семье Имонаковых, как самая ближайшая родственница, и работала она на чужую ей семью без жалованья, без всякой награды за свой труд и неустанную услужливость. Хозяйка ее Домна Антипьевна, бывшая купеческая вдова, а после вышедшая с двумя детьми за пожилого дворянина, теперь оглушенная, сбитая с толку революцией, доверила работнице копленое, припрятанное имущество. Катерина таким обстоятельствам не удивляется. Не чудно ей, что за спину ее прячутся люди. Что сын Домны Антипьевны зачислен в техническое училище благодаря записи ложного родства с нею, вдовою, безземельною крестьянкою. Она относится к своему положению, как к должному. Прославлен ее род издавна, исстари одной доблестью: из поколения в поколение ее родичи по женской линии отличались склонностью няньчить чужих ребят, а частенько не только выхаживать их, но и выкармливать своей широкой, плодородной грудью. Вся родовитость их была, как выносливых и ласковых кормилиц и нянь.

III

После двенадцати часов ночи день можно было считать законченным. Так по крайней мере думала Катерина. Домна Антипьевна после сложного совершения своего махрового ночного туалета в семьдесят семь одёжек была уложена в постель. Верочка, закрутив волосы в тиски заготовленных Катериной папильоток, легла сейчас же. Аркадий, как растянулся на своей кровати с вечера во всем облачении, так мог спать, не раздеваясь, до самого утра. Вязание чулок в ночные часы Катерина не засчитывала в работу. Ибо всякий раз она садилась с намерением связать и на свои нужды пару—другую незаметно. А чулки, высиженные ею ночами, исчезали из-под ее рук с быстротою птенцов, захваченных хищником. Толстые чулки Домна Антипьевна пускала на товарообмен со знакомыми старухами в обещании осьмушки чая, фунта сахара. Вязальная машина, приобретенная по совету Катерины в первые годы революции, принадлежала Домне Антипьевне. И Катерина, не получая денег за свои работы,

считала себя не в праве возразить своей хозяйке. Чулки потоньше быстро снашивала Верочка. Для Аркадия Катерина сама с особенным усердием вязала узорчатые шелковые носки. Здесь петля за петлей, ряд за рядом в чулок разматывались катушки. Мысли Катерины потянулись обычной чередой в заботах по хозяйству. Некоторые привычки Домны Антипьевны и ей кажутся подчас лишенными смысла. У Домны Антипьевны по всему дому, по всем углам насиженные гнезда. Всё вещи, наиболее излюбленные ею, громоздкие, тяжелые, обжитые поколениями, подлинные, сплошь насиженные гнезда. Буфет—гнездо тараканье. Старуха копит в буфете куски. Тараканы раскормлены,—совсем золотые зерна на ножках. Их буквально любила Домна Антипьевна. Есть такое поверие, что тараканы ведутся к добру. Комоды с барахлом обдавали запахом плесени. В них зацветало от времени белье. Сундуки являлись рассадниками моли. Старуха не проветривает меха. Червь гложет их, и отопревает кусками, лысинами шерсть. До всех этих гнезд ревниво не допускает Домна Антипьевна даже свою преданную слугу. У Катерины чешутся руки все это перетряхнуть, привести в порядок. Но старуха непреодолима. До своей кровати—рассадника клопов по всему дому—неохотно допускает она Катерину. Боится, что та разберет ее по частям и лишит подлинного насиженного гнезда.

Но в час ночи старуха не вытерпела. Изжалили ее клопы. Не поспалось ей. Она призвала Катерину. Кровать у Домны Антипьевны была старая, красного дерева, покоившая на своем чреве не одно поколение. Клопы здесь водились родовитые, столетние. Рост они имели крупный, отличались исключительным дородством и обилием крови.

— Это не клопы, а вельможи,—называла их Катерина.

Кровать поперек раскидывалась шире, чем в длину, поперек могли помещаться на ней пары четыре. Да и все вещи Домны Антипьевны поражали своей величиной и громоздкостью. Невероятным казалось, что когда-то вносили их через узкие двери в комнату. Они не родились в этом барском особняке. Они подавляли и совершенно уничтожали его маленькие комнаты, рассчитанные на более изящную, изысканную мебель. Перед этими вещами мельчали люди в глазах Домны Антипьевны. Они заслоняли собой детей и, может быть, загроможденный ими, сошел в могилу раньше времени хилый дворянин. Домна Антипьевна только призвала Катерину, но, поднявшись с постели, раздумала допускать ее до кровати. Она взяла из шкафчика нашатырный спирт и собственноручно облила им свое ложе. На ее глазах прогорел от едкой жидкости матрац, по красному дереву прошли белые полосы, клопов как не бывало. Но Катерина только покачала головой,—знала она: клопы замрут, скроются на один день, а на другой—снова появятся сытые, вельможные, уверенные пережить еще не только поколение Домны Антипьевны. Чрез ночь хозяйка опять призовет ее быть свидетельницей исключительной живучести насе-

комых. После часа хозяйка отпустила от себя работницу, но позвала к себе Верочка, желовавшаяся на бессонницу. Ластясь по-ребячьи, она попросила поворожить ей на сон грядущий, чтоб лучше спалось. Сначала на трефового короля, после трефового короля на червонного. И трефовый и червонный король реального образа не имели, а больше воображаемы. Товарищей у Аркадия не водилось. Единственные мужчины, с которыми общалась Верочка, были кавалеры прилавка кооперации. Общение с ними не переступало дальше порога магазина. Катерина, жалея томившуюся от скуки девушку, раздумывала и о себе самой. Она говорила, как баюкала:

— Конешно, вы молоденькая, а живете скушно, жизни не видали, пары нет. Я так рассуждаю, по-своему, по-простому, что каждой одинокой женщине мужчина нужен и совет хороший. Без совета трудно жить. Теперь едешь в трамвае, смотришь, твоего плеча и положенья баба, а сидит, газету читает, как хлеб жует... ей просто, а мне отчего-то нет... Ей бы младенца в руки, а она газету... Ну, как тут растолковать?.. Вам все понятно, барышня, какая теперь жизнь пошла?..

Верочка, подложив под голову двух королей, уже заснула.

Катерина ушла в кухню. Здесь в одиночестве она раздумалась о молодежи. Теперь молодежь есть какая-то другая, ведливая, посмевающая ко всему. Верочка не такая. Место Катерины было на сундуке с добром Домны Антипьевны. О большую связку ключей работница часто рвала чулки. Схороненное добро томилось в запахах нафталина и прелой шерсти. Моль вылетела оттуда большая, тяжелая, закружилась перед огнем, как ночная бабочка. Катерине велено было спать на этом сундуке и называть перед посторонними его своим, но открывать и проветривать сундук не давалось ей права. Катерина, преодолевая запахи, жила и питалась на этом сундуке. Здесь же она предавалась ночному отдыху и читала газеты, подобранные для домашнего обихода у Аркадия. Ей понятно одно: в новой жизни нет бога, нет господ, нет места прежнему миру, но близкая ей братия по кости и крови ряд за рядом отходит от старого быта в эту непонятную ей жизнь. Катерина медленно провела своими большими глазами по мелким строчкам. Для более успешного понятия она читала вслух, по нескольку раз произносила незнакомые, неудобные для ее уменья слова и фразы. Пальцем держала строчки. И эта осязательная манера разбирать напечатанное делала ее похожей на слепую. Вот крупными буквами:

«Без колокольного звона»... «Колхоз вместо монастыря»... «Церкви под клубы»... «С'езд колхозниц»... Посмотреть бы своими глазами, какие это бабы—зряшные или путные?.

Катеринин день этими размышлениями не окончился. В кухню заглянул Аркадий. Волосы его, примятые спаньем, как бы росли все в левую сторону.

— От скуки даже спать не хочется,—сказал Аркадий, зевая. Я что-нибудь такое сотворил бы сейчас, ух!..—Он попытался раздуть ноздри, темневшие, как мелкий кедровый орех.

Катерина, преследуя свою потаенную цель, протянула ему газету.

— Почитайте мне про теперешнее... очень понятно вы читаете...

— Ой, не до того... Мне бы сейчас озорных девок целый хоровод, я всех могу осилить!.. А тут живи—один и один...

— Я вот тоже с вами живу, а выходит одна... От своих оторвалась и ни с кем не уровнялась.

Аркадий, присматриваясь к ней, попытался пригладить волосы в обратную сторону.

— Тоже, затосковала... ишь ты... Давай, почитаю,—следя за Катериной, предложил Аркадий, берясь за газету.—Про что тебе: происшествия или об'явления?

Катерина перестала дышать. Эта большая, тежелая женщина приобрела совершенно неслышную поступь невесомого существа. Все предполагаемое из уст Аркадия будет такое понятное, несложное и близкое. Он с легкостью все упрощал. Что стоит ему послужить между Катериной и жизнью толковым переводчиком? Самые невероятные события и сложные политические перевороты в его передаче получатся проще полета воробья.

— Мне про колхоз,—с робостью выговорила она,—и про баб...

Рот Аркадия наполнился слюной. Он, бороздя взглядом по груди Катерины, скомкал в руках газету, потом снова ее разгладил и, едва преодолевая набегавшую на губы слюну, произнес не совсем уверенно:

— Иди, постели постель... почитаю...

Катерина последовала в его комнату, как за откровением...

Очевидно, так совпало—с этой ночи новое гнездо развелось в доме: Домна Антипьевна открыла корыстное пребывание каких-то враждебных ей существ наверху. Стали мерещиться ей шаги над головой. Первую ночь старуха еще сомневалась в этом. Но, когда шаги наверху повторились еще несколько раз, совершенно потеряли робость, раздались отчетливые, определенные над ее ухом, старуха в панике вскочила с постели и выбежала в переднюю. Здесь она столкнулась с Верочкой. Та сама, как привидение, стояла в дверях своей комнаты.

— Ходит, ходит кто-то наверху,—с клятвами заговорила старуха. Только сомкнула глаза, а он по лестнице—скрип, скрип... Явственно мне каждая ступенька... Вчера проснулась от грохота. Выбежала в переднюю, с перепугу в одних чулках сама хотела наверх бежать. Смотрю—лестницы нет...

Верочка, с любовью ко всему таинственному, поддакнула матери. Появление в доме привидения внесло какое-то желанное разнообразие в ее жизнь.

— Ходит. Я тоже знаю, что ходит... руку даю на отсечение...

Катерина, незаметно появившаяся в передней, прикрываясь фартуком сверх рубашки, слабо возразила:

— Вам это со сна... Никто не ходит. Ход заделан наверх. Вот спросите Аркадия Василича, они никогда не жалуются...

Аркадий не пожелал показываться. Но через двери энергично выбранил сестру и мать. Хождение наверху стало реже, но совсем не прекратилось.

Катерина только-что проводила Аркадия. Возвращалась с уверенностью полного благополучия жизни и бытия своих хозяев. Но у дома на крыльце ожидала ее незнакомая фигура. Мужчина в черной бобриковой куртке подпирал плечом живот кариатиды. Гладкие волосы его поднимались вертикально над лбом вместе с козырьком кепи. Он курил. Сизый, играющий кольцами дым обволакивал наклоненное лицо алебастровой женщины. Дымилась ее голова, и из дымной завесы, как из легкого шарфа, выступали груди. Когда Катерина приблизилась к мужчине, он потушил пальцем папиросу, не поморщившись от ожога, и отбросил ее в сторону. Дымок еще некоторое время вился, путался в углублениях тела склоненной над ним женщины. Катерина враждебно, с выражением явного желания уничтожить этого незванного человека, остановилась перед ним.

— Мне Катерину Поскотинову...

— Я — Катерина! — вражеским выстрелом выпалила ему в лицо женщина.

Он немного отшатнулся и снял кепку. Оглянулся, не доверяя слуху, так неженственен был голос Катерины.

— Ну, ну, ты где работаешь-то, не на ружейном заводе? Глаза у тебя — дуло. Слова — картечь. Семен, брат твоего мужа, говорил, что ты в услужении. Не похоже. С таким характером чудно прислуживаться. Представляю, что хозяев ты держишь не иначе, как под пулеметом. Земляка в штыки встречаешь. Здесь, как под крепостью, и будешь держать? В дом не позовешь?

Катерина встала на место недостающей девы и уперлась задом в стену. Перед пришельцем были две женщины. Он только теперь разглядел, что стоял до этого под алебастровой девой. Почти в той же позе стояла Катерина Поскотинова, вросши корпусом в дом, неподвижная, безмолвная. Рабочий оглядел ее склоненное белое лицо. Переводил взгляд с живой женщины на неживую.

— Ну что ты встала, как неживая? С тобой все равно что с этой каменной бабой беседовать. Я пришел говорить с живым человеком, а не с камнем. Дворы-то ведь рядом в деревне. Я с рабочей бригадой отрабатывал в вашем колхозе. Ты не с'ездишь ли? Рабочих рук нехватает. Пройдемся в нашу сторону, коли в дом не пускаешь. — Он показал за мост. — Говорят, ты, кроме того, чулочное мастерство знаешь. Шла бы на фабрику. У кого ты служишь?

Катерина молчала. Рабочий обмерял недоумением Катерину, потом подозрительно оглядел дом. Особняк желтый, облупившийся, осевший немного назад, выглядел затаившимся шелудивым стариком. Подслеповато смотрели полуприкрытые занавесками окна. Дождя не было, но из ржавой трубы с одной стороны дома сочилась по каплям какая-то красноватая сукровица. Голубями была загажена вся крыша. Они суетились, дрались и миловались у полуразрушенной шишковатой трубы, как у старого, давно обсиженного места. Посторонней, далекой кинематографической хроникой неслась по месту уличная жизнь. И в стороне, в засаде, как из окопа, наблюдал ее оторвавшийся от общего живого движения забытый особняк. Напряженно стояли под его стенами две женщины: мертвая и живая. Живая походила на мертвую, окаменевшую, а мертвая—на живую. Рабочему казалось, что он сам находится за чертой какой-то потусторонней, нетеперешней жизни. Он опустился на низкие ступеньки под кариатидой.

— Измором тебя брать, что ли? Я пока газету почитаю, а ты подумаешь, что ответить.

Он достал из кармана «Рабочую Москву» и развернул ее перед собой. За его спиной в молчании стыли две женщины. Дыхание живой не было отличимее каменной. Каменная дышала холодом, дыхание живой было насыщено тяжестью камня. Старуха Имонакова в панике металась по комнате. У нее был нестерпимый зуд в руках, заставляющий ее сдвигать с места предметы и судорожно группировать их кругом себя. Припадочным голосом Домна Антипьевна позвала к себе дочь, указала ей в окно.

— Смотри, смотри, где у него оружие? Где револьвер? Где нож? Ох, убивать, душить пришли!.. душить!.. Что же это Катька-то, как распятая, стоит, не шелохнется, не прогонит его? Ой, где это Аркаша? Где заступники? Где ангел-хранитель наш?

Девушка внимательно под внушением матери смотрела в окно, нет ли и в самом деле у пришельца где-нибудь револьвера, засунутого за пояс, и огромного разбойничьего ножа. Но у него и пояса не имелось, был только безобидный хлястик сзади, и у того нехватало пуговиц, держался он на нитке. Из кармана не торчала рукоятка револьвера. Но вот потянулся он рукой к бедру. Мать схватила дочь за плечо, и дочь вскрикнула... Пришелец достал из кармана пачку папирос и закурил. Катерина, все так же неотличимая от немой женщины, стояла за его спиной. Но грудь ее тяжелела и наливалась кровью, как человеческим, давящим, распирающим ее молоком, словно необходимо было ей приложить к груди младенца. Но этого младенца не было. Рабочий молча шелестел газетой. У него было крепкое, небольшое, тесно связанное в своих очертаниях лицо. Большой лоб, как незащищенная крепость, открывался козырьком кепи. Ничего воинственного, устрашающего в этом человеке не было. Но Катерине казалось, что они, как бойцы, соревнуются в упорстве и

преодолении друг друга. Он перевернул страницу и взглянул в сторону Катерины.

— Ну, и тяжка ты думать. В хорошую тебя обработку надо. В союзе ты состоишь? Собрания посещаешь?

Катерина не ответила. Она сама спросила:

— Чьи дворы разоряются на колхоз?..

— Корневы, Лихутины, Макаровы...

— А много ли у них добра?..

Рабочий встал, подошел к ней. Осмотрел ее, как замурованную дверь.

— Таких фортов и на фронтах не приходилось встречать. Думается мне, плохо ты разбираешься, в какое время мы живем. Я на военные действия сейчас не настроен—побить мне тебя хочется. А на мирные ты не сдаешься. Вот тебе мой адрес. Надумаешь ответ, так зайдешь. Я живу в рабочей слободке.—Он указал в сторону заводских труб.—До свиданья...—Рабочий протянул ей руку, но она не протянула ему своей.—Адрес-то хоть возьми—каменная!..

Приподнятый дыбок козырька он опрокинул глубоко на лоб и пошел от Катерины. Отойдя несколько шагов, он остановился и оглянулся на дом, ища в нем какой-то разгадки. Остатки скамеечных пней гнилозубо выступали перед особняком. Взрытая земля напомнила рабочему вспаханную боевыми снарядами землю, таящую под собой останки неубранных трупов и человеческих костей.

«Странный домик,—заключил он.—Но работница еще страннее...»

Катерина напутствовала его глазами, как отступающего врага. Выйдя за калитку, пришелец еще раз кивнул Катерине на прощанье. Катерина на поклон не ответила. Она своей неподвижностью опять походила на неживую женщину, вросшую каменным телом в дом, находившийся за ее спиной.

V

Катерина, не обращая внимания на то, что заработок ее чулочным мастерством, вносимый в семью, превышал ученический заработок Аркадия, смотрела на молодого человека, как на кормильца семьи, на плечах которого держится весь дом. Это льстило самолюбию Аркадия и возвышало его в собственных глазах. Он, приободренный ею, начинал себя чувствовать почтенным и сильным мужчиной. Но худоба всего его корпуса с выдающимися ключицами и лопатками и костлявость и тонкость его ног составляли для него истинное мученичество. Он для придания большей солидности своей фигуре носил под ученической тужуркой две фуфайки и ноги облекал в две пары теплых кальсон. И все же в минуты дурного настроения они не представлялись ему достаточно мускулистыми. Из-за этого же недостатка он не занимался физкультурой, опасаясь насмешек со

стороны завидно округлых девиц. Технические науки давались Аркадию также плохо. Зубрение чередовалось у него с лежанием на кровати. Ложился он на нее, занятый книгой, но это занятие целиком обращалось в лежание, бездумное, неподвижное, с посапыванием в книгу, опрокинутую щитом на груди. И так—до ужина, в надежде на продолжительную ночь, такую удобную, растяжимую в воображении ленивца.

Хорошо выспавшийся, не настроенный к работе и находясь в мираже возмужалости, Аркадий разрезвился сегодня. Сначала он задирал сестру, перерыл до основания ее комод, ища любовных записок, сочинил ей пасквильные стихи в розовый альбомчик и довел ее до слез. Тогда он обратил свою резвость на котов матери. Заставил их проделывать небывалые в мире цирковые трюки. Перепуганные коты метались на высокие шкафы, занавески, прятались под диван. Он попробовал привязать к кошачьему хвосту тяжелые подсвечники, трости, Верочкины шляпки. Это закончилось разбитым стеклом в окне. Аркадий скрылся в кухню к Катерине. Это было его постоянное прибежище от гнева матери. С видом благосклонного хозяина присел он на высокий сундук, вытянул костлявые ноги и, покачивая сундук, как качели, с усмешечкой смотрел на Катерину.

— Ой, Катерина, ты что-то с некоторых пор под благородную играешь. Платья носишь в роде с Верочкиного плеча. Прическа у тебя другая. Тут что-то не так. Смотри на меня,—вот я мог бы выйти в инженеры, а работаю под машиниста. Раскусила, что это значит?

Верно, Катерина старалась причесаться не по-деревенски, не затягивала до боли в кустик волосы на затылке, а разнимала на пробор и прикрывала ими уши. Они сами распадались у нее волнами по обе стороны и мягко обрамляли ее крупное, белое лицо. Катерина, лелея в глубине какие-то не совсем разгаданные Аркадием надежды, опустила подбородок в оборки фартука. Пальцы ее тянули со стержня запутавшуюся нитку. Она дернула каретку вперед и назад. Нитка натянулась и порвалась. Катерина до боли стискивая коленями висевший с грузилом чулок под машиной, спросила:

— Вот курсы теперь разные, вечерние, к примеру... если мне...— выжимая эти слова с пересохших губ, она не поднимала глаз, и голова ее была опущена так низко, что виден был в волосах пробор от самого лба до затылка.

Аркадий пружинил ноги. От хорошего настроения они казались ему достаточно мускулистыми и в меру для его возраста мощными. Раздавшийся в передней звонок не дал Катерине услышать ответ Аркадия. В такие часы никто не звонил к ним. Звонок был сначала неуверен, но потом проявил необычайную настойчивость. В передней собрались все, но желающих открыть дверь не было.

— Не открывайте!— умоляла Домна Антипьевна. — Не открывайте! Это они!

— Откройте! Откройте!—почти истерически восклицала Верочка.—Откройте!—Она хотела этого с такой же настойчивостью, как если бы за дверью стучалась к ней новая жизнь, лучшая, превосходящая ее теперешнюю.

— Открывать ли?—спросила Катерина.

Аркадий приблизился к дверям.

— Спросить нужно. Давайте—я басом...

Он на носках подошел к двери и, выдвигая грудь и напрягая горло, спросил:

— Кто здесь?—голос его с обещанием баса больше походил на певчий дискант.

— Аркадий Васильевич здесь живет?

Аркадий в недоумении развел руками.

— Вот история! Ведь это ко мне...—он оглядел всех, как бы приглашая их в свидетели, сам не доверяя себе.

Голос был женский, отчетливый и требующий определенного ответа. Катерина подошла к двери, прислушалась, но не открывала ее. Аркадий вдруг отстранил ее решительным жестом, даже более: он, не спрашиваясь, открыл дверь. Вошла маленькая девушка. Красный беретик, как спелая ягода, алел на ее голове. Она с любопытством оглядела всех собравшихся в передней. Перед ней была Домна Антипьевна в трех капотах, в ночном чепце, опрокинутом, как блин, на голову. Покачивалась кокетливо Верочка, еще не расставшаяся с надеждой, что вслед за появившейся девушкой войдет в комнату и мужчина. Твердо возвышалась большая женщина, стоящая с готовностью воспрепятствовать вошедшей. И, забрав грудь в нутро, гнулся перед девушкой растерявшийся Аркадий.

— Я к вам по делу...

Она глазами просила защиты и помощи у Аркадия против устремленных на нее беззастенчиво глаз. Аркадий вдруг ощутил в себе совершенно новый прилив отваги. Он оглядел всех собравшихся и с чувством истинной храбрости раскинул, как проволочное заграждение перед неприятелем:

— Это ко мне из техникума...

Он даже осмелился, ощущая себя необычайно раздобревшим, подтолкнуть девушку к своей комнате и закрыл за ней и за собой дверь...

Скрестившиеся взгляды трех женщин были достойны описания. Странно, что запертая дверь устояла под ними.

VI

С приходом маленькой девушки в старый особняк бытие Аркадия неузнаваемо изменилось. Она не забыла дорогу и пришла еще раз. Насторожившихся обитателей особняка девушка не замечала. Видела только Аркадия, товарища по техникуму, оторвавшегося, по ее мнению, от масс. Аркадий бросил огорчаться из'янами своей худобы, юноша решил вести с ней активную борьбу. По возвращении из

техникума домой он не опрокидывался пластом на кровать, прикрываясь щитом раскрытой книги, а предался еще неиспытанному занятию. Прежде всего он приделал крючок к своим дверям. Крючок старый, ржавый, разысканный в хламе на дворе. Петлю загнул он из гвоздя. Уже это заставило его облиться непривычным трудовым потом. После этого Аркадий перетащил в свою комнату из передней зеркало с облачными кругами времени на стекле и утвердил его у себя. Нерешительно стыдливо обнажился, как новобранец для медицинского осмотра. В облаках туманностей на зеркале он выглядел, как мифическое существо. Худоба его тела затушевывалось туманностями. С водворением зеркала в своей комнате Аркадий стал проделывать гимнастику налегке, в трусиках, изучая свое отражение со всех точек зрения. Выискивал позы, которые ему льстили, по его мнению, и показывали его с выгодной стороны. Заучил несколько таких поворотов с известного угла зрения. Он дошел до того, что однажды измерил циркулем об'емы своего корпуса и погрузился в чтение научного исследования о нормальном развитии мужского тела. В минуты наибольшего просветления духа ему казалось, что он заметно мужает и крепнет костьми и всем корпусом. А иногда впадал в отчаяние от вероятия навсегда остаться заморышем. В момент наибольшего отчаяния он побежал к матери и с яростью бросил ей:

— Вы сделали меня рахитиком! Я мерзостью питался у вас!

Домна Антипьевна в недоумении и страхе смотрела на сына.

— Но ты же был пухленький и розовый...

— Ну вот, ну вот, рахитики всегда в младенчестве на поросят похожи!—Его осенила последняя надежда.—А что отец отличался дородством или худобой?

Домна Антипьевна подумала. Она помнила больше второго мужа. Первого так же трудно было вспомнить, как сон, снившийся двадцать лет тому назад.

— Суровый был мужчина,—ответила она.

— Нет, дородством, ростом как?..

— Карточки все истребили. Теперь трудно вспомнить... Знаю, что люди помельче относились к нему с почтением, а приказчики трусили и опасались гнева...

Аркадий с досадой дернулся и пошел от матери. В передней он столкнулся с Катериной. Она несла глаженое белье, держа его бережно на вытянутых руках, как новорожденного. Он схватил ее за плечи и качнув прокричал:

— Тощий я или не тощий? Говори!

Руки его подбирались к ее горлу, словно он собирался ее душить. Катерина, оберегая белье, попыталась отодвинуться.

— Вы все озорничаете...

— Женить бы, правда?..

— А вы невесту подобрали?.. не свистулька ли эта?..

— Катерина, ты не выражайся!—строго выговорил Аркадий, выпуская ее шею.—Кто это «свистулька»?

— Барышня ваша... шлюха!.. бегает, с пути вас совращает...

Аркадий побагровел, сжал кулаки.

— Катерина!!

Он с минуту уничтожающе, красноватыми по-кроличьи глазами смотрел на нее. Она выдержала его взгляд на этот раз. Аркадий отвернулся и пошел в свою комнату. Войдя, он сразу же накинул крючок на петлю. Но Катерина постучала в дверь.

— Что тебе нужно?—с возможной для его голоса грубостью спросил он.

— Белье вам выгладила.

Он вдруг с упрямством схватился за ручку двери, словно Катерина пыталась сорвать крючок и насильно войти к нему. Его бросило в жар и пот. Он прокричал с ненавистью:

— Не нужно мне твое белье! Убирайся!

Когда он почувствовал, что Катерина толкает коленом дверь с другой стороны, он в неистовстве затопал и прерывисто завизжал, как под ножом. Катерина испуганно опустила приподнятое колено и замерла около двери. Белье на вытянутых руках ее дрожало, как плачущий в пеленках младенец. Аркадий стих за дверью. Но сильно колотившееся сердце мешало ему прислушиваться. Катерина стояла молча, но биение в груди ее усиливалось, поднималось к горлу, а дыхание стало редким, замедленным. Наконец, совершенно прекратилось. Она прижала к груди белье и медленно пошла с ним по коридору, как-будто не знала, куда теперь направиться. Аркадий не слышал ее удаляющихся шагов. Он просидел запершись до вечера. Когда сестра постучалась к нему, он в бешенстве вскочил с кровати, но, узнав голос сестры, открыл дверь.

— Ты что сидишь на запоре?

Аркадий, краснея и ероша волосы, возмущенно повернулся к ней.

— Да понимаешь, эта баба стала забываться... грубит, глупости болтает, лезет... я раздетый, а она в комнату... вообразила что-то, обнаглела, зазналась...

Верочка была готова от скуки верить любому измышлению.

— Скажи, а барышня твоя придет сегодня? Я хотела бы с ней познакомиться...

Аркадий, почуяв в сестре союзницу, обрадованно приблизился к ней.

— Правда, она миленькая, правда?

— Да, ничего,— апатично согласилась Верочка. И с большим вниманием спросила.—А брата у нее нет?

— Как-будто нет...

Верочка со скукой и равнодушием опустила лицо. Аркадий разгорался оживлением и доброжелательством к сестре.

— Знаешь, Верочка, Кира такая энергичная, маленькая, а лучшая у нас организаторша, за все берется первая. Она как увидала наш участок, так и сказала...—Он наклонился к ее уху...

Верочка со стремительностью схватила брата.

— Аркаша, миленький, хороший, согласись!.. Ах, Аркаша, пусть она!..

Аркадий остановил сестру, предостерегающе указав ей на потолок.

— А ты забыла наш верх... да и Катерина... Мать доверила ей все имущество. Она может воспользоваться—донос сделать...

Верочка подняла голову и с бесшабашностью махнула рукой.

— Ну и пускай все провалится!..

Аркадий, поворачиваясь перед ней в заученных позах, спросил озабоченно:

— А что я не очень худ, ты как думаешь, могу я в трусиках?..

Верочка, находясь под впечатлением только-что сообщенного ей по секрету, ответила:

— Ну, глупости, бывают много худее тебя.

VII

У Аркадия и Верочки в первый раз за совместную жизнь начались еще небывало миролюбивые отношения, задушевные, длительные беседы, совещания, завелись секреты от Катерины. Оба с оттенком вдруг появившейся враждебности сторонились от работницы. Верочка не звала больше ее к себе. Девушка подолгу сидела в комнате брата или он у нее. Аркадий не просил Катерину постилать ему постель. Однажды она сама предложила ему это. Он враждебно закрыл дверь перед ее носом. Аркадий пошел еще дальше: он с резкостью отказался от привычного сопровождения Катерины до трамвая по утру. Верочка вызвалась сопровождать мать на прогулку к ограде. Но старуха в защиту ее не уверовала. Настойчивая девушка Кира, убеждавшая Аркадия устроить на пустыре спортивную площадку, решила действовать на него через товарищей. Однажды она привела их целой ватагой к дому Аркадия, и они, примерясь к месту предполагаемых спортивных состязаний и игр, разлетелись по участку, как целый штат землемеров. Взвились с крыши голуби, вспугнутые небывалым количеством людей. Захрустела, закрошилась под ногами рыхлая земля. Зажелтел между занавесок старушечий нос, подбородок задрожал, колебля кисею. Верочка распахнула окно, все четыре половинки, как-будто не осенний туманный день был, а жаркий, солнечный, летний. Она высунулась всем корпусом в окно, только ноги болтались в комнате. Живот распластался на подоконнике. Очень ей хотелось, чтобы пришедшие заметили, что обитает здесь совсем недурная девушка Верочка. Катерина также была у окна. Крестовина рамы глубоко врезывалась в ее тело. Она была прибита к ней не спи-

ной, а лицом и грудью. Кира, оставив компанию, двинулась к дому, к Аркадию. В передней встретила ее Катерина. Горело в ее лице исступление, отчего Кира отступила перед ней и подумала, что она неумышленно нанесла этой женщине какую-то глубокую обиду. Катерина, как преграду шлагбаума, протянула перед ней свою тяжелую руку и заградила девушке дорогу. Катерина стояла белее своего фартука. Она несла грудь впереди, как боевой таран. Горячо задышала в самое лицо девушки:

— Кого привела? Зачем привела народу столько? Дом взрывать! Клады какие искать? Головы людям забивать! Не позволю, пока я жива! Мой дом! Мой участок! Все имущество здесь мое! Поди вон, баламутка! Я всему хозяйка! Я! Не позволю разрушать!..

Лицо девушки едва достигало груди Катерины, и эта грудь угрожающе приближалась к ней. Дверь из комнаты Аркадия распахнулась. Он выбежал оттуда, словно крадучись. Юноша схватил Катерину сзади за локти. Но он мог только чуть шевельнуть эту женщину, надвигавшуюся тяжелым камнем на девушку. Бессильный и озлобленный, он с визгом подскочил на месте и с этим подскоком ударил Катерину в грудь. Она не покачнулась от этого удара, как от птичьего клевка, но голова ее откинулась назад. Стала видна тонкая кожа под подбородком и обозначилась легко уязвимая женственная белая шея. Девушка бросилась в защиту Катерины к Аркадию, готовому обоими сжатыми костлявыми кулаками, острыми коленями, слабо поросшей головой колотить по раскрытой перед ним женской груди. Колотить и биться в исступлении, как в дубовую крепко замкнутую дверь, через которую он не видел выхода. Он только был в состоянии кидаться на нее с сжатыми кулаками, ничтожными и жалкими перед этой широкой, мощной грудью родовитой кормилицы.

— Прочь, прочь уходи!—взвизгивал Аркадий, весь сотрясаясь на месте.—Вон!

Катерина повернулась всем корпусом к нему и девушке. Она смотрела с таким выражением, словно измеряла, что этих двоих, стоящих перед ней, она могла бы, как хотела, упокоить на своей груди, и им обоим хватило бы здесь места и теплоты. И не только им хватило бы этого тепла. Она могла покоить здесь не одно поколение. Глаза ее из белых, незрячих темнели, наливались, как густой кровью... Но она не сказала больше ни слова и ничем не воспрепятствовала, когда Аркадий в роли защитника увел девушку в свою комнату и Верочка, бросив на Катерину негодующий взгляд, скрылась вслед за братом и девушкой. В дверях своей комнаты показалась Домна Антипьевна, вся собранная из тряпья, кульков, обвесков тела, напуганная, наготове к бегству или к домашней примитивной обороне. Катерина попятилась и скрылась в кухню. Домна Антипьевна с порога слала ругательства, настигала ее ими, как петлями.

— Что ты смотришь, рот разинула? Допускаешь банды! Парней! Развратилась!

Катерина стояла у сундука с хозяйским добром. Колени ее в дрожи колотились о полосы железа кованого сундука. Звенело под этой дрожью кольцо, продетое в ключи, колотилось о сундук, и звон его все усиливался. Он проникал в уши Катерины, как набат, как будоражная внезапная весть о совершившейся катастрофе, о непоправимом несчастье...

VIII

День был редкий для осени. Воздух звонок и прозрачен. Сизая осенняя туманность окутывала ту сторону низины, высокие, прямые мачты заводских и фабричных труб. Но на этой стороне ясен был каждый предмет. Особенно оживлен и подвижен мост, перекинутый через низину. Вырезан отчетливо силуэт каждого пешехода, быстрый поворот колеса легкового извозчика и замедленный—ломового. Ярки, длинны ленты трамваев, ослепителен блеск кузовов автомобилей и автобусов.

Маленький особняк со всеми подробностями рисовался на большом участке. Но участок не был пустынен: молодежь целиком полонила его, как свое неот'емлемое ристалище олимпийских игр. Это не было больше неровное поле, наводящее мысль о взрыхлении его боевыми снарядами, с ужасом мертвых тел под ним. Здесь раскидывалась гладкая, ровная площадь, утрамбованная, уделанная до такой гладкости и плотности, что нога не оставляла следа на ней. Желтый кожаный мяч перекатывался, как по натертому с глянцем полу. Тут среди играющей, шумной, веселой молодежи нельзя было отметить когда-то вялые тела двух обитателей старого особняка. Аркадий, стараясь отличиться перед девушкой Кирой, был неутомим, как щенок из породы борзых. Резвость ног его превосходила все другие породы гончих. Остатки опасений и тревоги он заглушал шумной веселостью. Верочку же среди играющих девушек можно было заметить только по тому отличию, что она вела себя ласковее и уступчивее с мужской половиной играющих, чем другие девушки. Для нее после долгого томительного одиночества всякий юноша был мил и хорош по-своему. В каждом она находила что-нибудь привлекательное, и каждый имел у нее успех. Но сам зажелтевший особняк мало изменился от раскинувшейся перед ним веселой молодняческой площадки. Около него опять возобновился полукруг скамеек на уцелевших пеньках. Сам же он попрежнему стоял особняком другой эпохи, с принадлежностью другому миру. Окружающая обстановка не соответствовала его виду и стилю. На крыше попрежнему обитали голуби, засаривая ее. Из рваных желобов так же сочилась по каплям сукровица гниющего тела. Облетал от стен мел, как пудра с лица дряхлой красавицы, и явственно проглядывала желтизна времени. С каждым дождем неопрятнее забрызгивался низ дома и росли, выжимались из-под него плесневелые губастые грибы. Окна скрывались занавесками так же подслеповато и потаенно. Желтая свеча носа,

опрокинутая вниз, часто дрожала между кружевами. Кариатида запылилась сильнее. Почернели плечи от этих накоплений. Грудь сверху была темная, как под синяком, и белел только низ. Мощный живот под густыми слоями пыли казался отощавшим. Белые глаза с напряжением смотрели в землю под собой.

С Катериною, как опальною слугою, не говорили ни Аркадий, ни Верочка. Домна Антипьевна также была настроена дочерью против работницы. Брат и сестра, опасаясь переполоха полусумасшедшей матери, скрывали от нее свое участие и слабость к устройству спортивной площадки и непротивление многочисленному обществу молодежи, распоряжавшейся на их участке, как дома. В ее глазах виновницей во всем была выставлена Катерина. Домна Антипьевна утомилась от брани и недовольства. Работница не успокаивала Домну Антипьевну, как раньше. Она оставляла ее во власти испуга, опасений неустойчивости жизни. Старуха совершенно перестала верить в неприкосновенность замурованного верха. Она днем и ночью прислушивалась к шагам над ней. То в одном, то в другом месте явно предательски потрескивал потолок, выступали на побелке глубокие трещины, полосы, кресты. Крошилась и летела с потолка штукатурка. Старухе иногда казалось, что глиной и песком осыпано ее стеганое шелковое одеяло. Она заставляла Катерину перетряхивать его по ночам, перестилать простыни, коловшие кусками глины и песку и через три платья. Снимала с головы чепец, трясла его перед глазами работницы, доказывая, что песком и глиной обсыпана вся ее голова. Буквально сама она производила этот песок. Домна Антипьевна принудила Катерину спать на полу в передней. Старуха не верила своим глазам, что лестницы наверх нет. В узорах трещин над кроватью она различала грозные предвестия, начертаемые рукой грозного владыки. Перед ней, как в древности, возникали знаки грядущих бедствий: «Мани, факел, фарес». Старуха ставила работницу на караул и сама ночью караулила ее, не при соучастии ли той проникает кто-то наверх и творит шабаш преступного хищения.

Катерина, исполняя свои прежние повседневные обязанности на кухне, разыскивала что-то несколько дней под ряд. И не находила. Все лихорадочнее и упорнее были ее поиски. Однажды, прислушиваясь к шагам девушки, она должна была узнать, что Аркадий, никогда не выходивший за двери поздно ночью, теперь шел провожать молодую девушку. Он явно подчеркивал свои преимущества мужчины-покровителя над более слабым существом. С улицы доносились их голоса. Они были неразличимы: мужской и женский. Катерина постояла у окна, как бы собираясь последовать за ушедшей парой, но осталась на месте. Она принялась за свои розыски с особенным рвением, с разгоревшимися глазами и затяжелевшей грудью. Катерина перетрясла весь свой немногочисленный гардероб, перебрала дрова в ящике, в спешке занозя руки и не замечая этого. Перетрясла в мусорном ведре всю требуху. Искомое не находилось. С такой тщатель-

ностью и вниманием Катерина никогда не углублялась в закоулки и углы своей жизни. Она сидела на сундуке. Белым легким венчиком вился над ее головой мелкий выводок моли. Холодный кованый угол упирался ей в ногу. Она сначала не чувствовала его прикосновения, но холод проник через платье до кожи. Катерина вдруг встала, налегла грудью на сундук и сдвинула его с места. Под ним лежали две деревянные перекладины. Они протягивались в углублениях пола, продавленных тяжестью и годами. Катерина нагнулась к освобожденному из-под сундука полу и подняла оттуда клочок газетной бумажки. Она так была поглощена своей находкой, что забыла передвинуть сундук на старое место, и он стоял криво, кованым углом вперед, выдвигая его как оборонительную мину. Катерина села на этот угол, прикрывая его своей широкой юбкой, и задумалась. Она не чувствовала, что сидит в кухне на сундуке. Она сидела на обрывистом берегу, и перед ней не пол расходился, ограниченный стенами тесной кухни, а целая река, глубокая, многоводная, таящая в своих недрах жизнь, проносилась. На ее волнах, в ее подвижном зеркале проплывала вся ее жизнь родовитой, преданной, неустанной в своих заботах няньки и кормилицы чуждых и неблагодарных, забывчивых дитятей...

IX

После нахождения клочка бумажки с адресом Катерина стала уходить из дома в неурочное время. Иногда рано утром на рассвете. Она доходила до средины моста и здесь останавливалась. Смотрела в сторону дымной завесы, почти достигающей облаков на другой стороне низины, над простыми, похожими друг на друга зданиями. Оборачивалась к особняку, дымившемуся скудно из полуразрушенной, засиженной голубями трубы. От этого чахлого, жалкого, одинокого дыма у нее горько ело в глазах. Она вытирала раз'еденные до красноты веки, стягивала под сузившимся от горечи горлом концы платка и возвращалась на этот горький, прерывающийся, как дыхание больного, дым одинокого очага... Иногда в сумерках, в огнях уличного движения, Катерину едва можно было заметить на горбу моста. Она сравнивала многочисленные огни противоположной стороны с тусклыми, неяркими огнями особняка. Но дальше половины моста Катерина не переходила: она возвращалась обратно к своей алебастровой сестре, с которой и раньше и теперь особенно часто и подолгу делила молчаливую вечернюю беседу, стоя в ряд у входа под стенами старого дома...

Когда молодежь, возбужденная, пышущая соревнованием, носилась по участку за кожаным мячом, Домна Антипьевна следила за этим шаром, как за бомбой, которая вот-вот полетит в дом и взрывом разнесет его вместе с ней.

И это действительно случилось.

От слишком сильного удара одного из играющих мяч взвился вверх и упал на балкон, покоившийся на уцелевшей алебастровой

деве. Старуха это видела. Она упала на пол и ждала взрыва. Ожидаемый взрыв раздался. С треском осел потолок над родовой кроватью. Как живые, побежали в тяжелых кованых облачениях и рамах святители и боги. Разлилась огромная лампада, обдав своей масляной кровью поверженное тело старухи. Над головой Домны Антипьевны разверзлось небо с громовыми ударами, с блеском молнии. Повалились устрашающие метеориты гранитной тяжести и веса, столетние, схороненные наверху кованые сундуки, комоды, подобные надгробным плитам, и огромные, пудовые, блещущие золотом иконы. Под ними оседал и проламывался пол. Плахи взлетали качелями вверх, в диком размахе и пляске. Из-под плах вырывалась застарелая, крепкая, взрывчатая, как порох, вековая пыль. Крысы метались без памяти и искали защиты у мечущихся кошек, и кошки бегали, как крысы, настигаемые исконным ловцом. Дыбились, как слоны, обтянутые красным деревом кровати. Зеркала метали молнии, и гремел гром под тяжестью монолитных, чреватых, капищных буфетов...

Был конец мира Домны Антипьевны. В разгоряченной голове старухи пронеслась мысль о «владычице-богородице», властной развернуть пол под Домной Антипьевной и укрыть в подполье ее бренное тело. Старуха слабеющим голосом прокричала:

— Катерина... Катерина...

Но Катерина не бежала на зов Домны Антипьевны, чтобы отвести от ее главы все напасти. Ситцевый ангел, реально заменявший старухе всех святителей и богов, не являлся больше. Катерина перешла середину моста и шла по улицам потустороннего города. Она удалялась все дальше и дальше. Она не слышала мольбы и призыва гибнущей Домны Антипьевны...

Метеоритные залежи мебели, вырвавшиеся на свободу, не задели распластанного тела их владелицы. Она была уже мертва от разразившегося над ее веком светопредставления. Величественный комод, как готовый надгробный памятник, высеченный из гранита, стоял рядом с мертвым телом...

Но взрыва не было. Рухнула кариатида, не выдержав тяжести молодежи, взобравшейся за мячом на балкон. Алебастровая дева, выделяясь корпусом борца-колосса среди тел упавшей молодежи, лежала лицом вниз в обломках кирпича и штукатурки...

Песня

Из книги „Путина“

ВЛ. ЛИДИН

ТРУДУ на воде сопутствует песня. Вода рождает песню, песня рождает труд. Ночью на промысле Мумра я шел по мосткам, проложенным по болоту и кочкам,—в моряны вода, гонимая с моря, заливает промысел Мумру,—мостки вели от пристани в клуб. По доскам отстукивали сапожки резалок, спешивших на представление, и стучали тяжелые сапоги ловцов. Утром на промысел пришел пароход,—пароход шел от промысла к промыслу, на нем выпускали газету и ехала труппа артистов, которые должны были давать представления рабочим промыслов и ловцам на воде. Во время морян, когда отстаиваются ловцы на мелких приморских косах—в чернях, пароход подходит к черням, и тогда люди моря смотрят представление актеров и слушают песни, для которых простодушно открыта их обветренная душа рыбаков. Дул ветер, космически бушуя на море, и возле пристани Мумры качались суда. На промысле горели огни, плот был просторен и пуст, и в огнях стоял пароход, на котором спадали стеклянными каплями склянки. В досчатом клубе уже сидели ловцы и резалки и дожидались представления. В клубе было душно от людей, от их ожидания, и за коленкоровым занавесом гримировались актеры.

Я прошел сквозь ряды за кулисы, актеры были провинциальные, они привезли с собой частушки, которые нужно исполнять в лаптях и сарафанах, и декламацию о раскрепощенном труде. Их лица блестели от жалкого грима Иванушек—в лаптях и онучах и курносых Матрен—в цветных сарафанах и шалях, и только декламаторы выступали в толстовках и некогда лаковых штиблетах. Перед эстрадой в первом ряду сел слепой гармонист, вздохнул скрипучим дыханием гармоники, и актеры в лаптях и онучах вышли веселить частушками ловцов. Они пели частушки на злобы дня и на злобы промысла, плясали русскую. Матрена шла с платочком навстречу Иванушке, но зала была молчалива, улыбались только подростки, актеров не стали вызывать на повторение, и они вернулись за кулисы, недовольные публикой, которая ничего не понимает. Потом вышел актер в толстовке и стал рассказывать смешные рассказы; я смот-

рел из-за кулис на освещенные лица первого ряда, его слушали невесело, и никто не улыбался, хотя актер старался смешить, щелкал пальцами и изгибался. Ему тоже хлопали мало, ловцы в тяжелых сапогах сидели сумрачно, их лица были каменными, и рассказчик тоже вернулся потный и недовольный. После рассказчика вышла худая актриса и стала декламировать стихи о раскрепощенном труде и о женщине к первому мая, слова стихов были выспренни, актриса произносила их с пафосом, но зала была равнодушна и скупа, и актрисе не пришлось даже выйти прочесть стихи, приготовленные на бис. Это был неудачный вечер, стихи и частушки не тронули никого, и провинциальный косноязычный конферансье пригласил на эстраду слепого гармониста.

Слепому гармонисту помогли подняться, он сел на стул, растянул мехи своего инструмента и запел песню о кочегаре. Шел пароход, на пароходе был штаб генералов, на пароходе ехали белые. Белые ехали усмирять рабочих, пароход шел морем, и вдали уже показались берега, показалась земля, которую ехали они завоевывать. И вот тогда поднялся из трюма кочегар парохода, он глянул на эту землю, на которой были товарищи и братья, и спустился обратно вниз. Пароход шел дальше, приближалась земля, и вдруг взрыв потряс судно, пароход раскололся на части и стал тонуть, он потонул со всем штабом, и вместе со штабом погиб кочегар, который взорвал на пароходе котлы, ибо кочегар хотел спасти товарищей и рабочих. Я слушал песню слепца, это была песня, которую знали все ловцы на Каспии, песню эту сложила история борьбы на море, история освобождения Каспия. Ее поют на тонях и на промыслах, в ее наивности знакомое величие борьбы, которую еще годы назад вели ловцы партизанами и матросами на военных судах,— и вот тогда случилось то, что подняло этот зал, ловцы ревели и топали ногами, и били в ладоши, и требовали у слепца повторения. Слепец опять вздохнул скрипучей гармоникой и начал песню сызнова, никто не шелохнулся в зале, все слушали знакомую песню, в которой были борьба и героика, и опять все стали бить в ладоши и топать ногами, и слепцу в третий раз пришлось начать песню. Эта песня дышала, как ветер, она будила сердца, которые не хотели улыбаться веселым рассказам и частушкам, зала была полна возбуждения, и песня о вчерашнем дне Каспия становилась, как эпос, как сказание о величии Каспия, о величии людей на нем, ибо люди моря— ловцы, матросы и кочегары—люди одного племени.

Я вышел из клуба в полночь. По досчатым мосткам расходились рабочие промысла, резалки, ловцы. Мумра была черна. Над ней хлестала моряна. Актеры со своими саквояжиками спешили на пароход. Представление было окончено. Ночь поглощала людей. Вода была черна и возвращалась вспять. Мумра ждала наводнения. Я шел по досчатым мосткам, и рядом со мной шел матрос, с которым коротал я на баркасике вахты.

— Душе нужна песня,—сказал он мне. — С песнями тянут сети ловцы. А зубоскальством с ловца ничего не возьмешь... морское дело—сурьезное.

Его опорки шлепали по доскам. Мы пришли к пристани. Огонек фонаря светился на мачте баркасика. Моторная рыбница прошла мимо промысла в ночь.

— Про кочегара этого десять лет будут слушать песню ловцы, пока новая не сложится,—сказал матрос опять.—О героях песни складываются, а за героями и самому легче плыть. Путина рыбу дает, а ведь случается—уносит бударки, лихая посуда, на ней человек с земли и в реку не выйдет, а ловцы в море идут. Каспий — море суровое, настоящее море. Зубоскалить на нем человеку некогда. Опасность да труд. Да песня еще. Большое дело—настоящая песня.

На плоту пахло тузлуком—рыбным засолом, мы были одни, огни потухали в промысловых домах, да пустынно светился большой пароход, на котором укладывались спать, вероятно, неудачливые актеры. Мы прошли на баркасик и сели на крышу, теплую от машинного отделения. Здесь коротали мы вахты. Здесь слушал я повести о путине, о прошлом путины, о своеобразии лова, о сельди. Спутники, рассказывавшие повести, были матросы, неводчики, которых везли мы от тони к тоне, люди рыбного дела и моря. Мы шли по проулкам, протокам, закинутым в безвестность и приметным только глазу вожатого,—и с нами вместе шли эти повести. Баркасик был пустынен и глух, все на нем спали, и только матрос, который вступил на свою вахту, сел дежурить на крышу, да я, человек земли, закинутый сюда беспокойством скитаний, коротал с ним ночные часы.

— Мы с песнями на персидскую землю пришли, — сказал мне матрос еще. — На персидскую землю подались в ту пору англичане и белые. Была тогда у нас канонерская лодка «Ленин». да песни. Днем воевали, ночью пели песни для бодрости. В Энзели полегло товарищей. И про них еще сложат песню, как бились и на чужой земле погибали.

С Каспия шли ночь и ненастье. Больные звезды загорались и тухли, заносимые тучами. В море разбивались косяки воблы, которой ветер так и не дал войти в реку. Вобла ушла искать в морских просторах пристанища, чтобы начать метать икру. Я смотрел на лицо человека. Он лежал с головою на крыше. Машинное тепло согревало его широкую спину. Я думал о песнях ловцов, которые я слышал на тонях, про песню о кочегаре, всколыхнувшую притихшую залу с ловцами, о великой и сумрачной лирике их, отзывавшейся на песни о борьбе и героике. Ловцы уходили в путину—на добычу и труд. Ловцы освобождали Каспий. Освобожденный Каспий качал их бударки. Навстречу стихии шли песни. С песнями вытягивали сети с уловом, песнями вспоминали людей, которых для героических дел

вспоило море. И для меня, пришедшего на землю ловцов, на их промысла и тони, память о ловцах, о путине, о труде их и лове и о годах освобождения Каспия связалась с песней, впервые услышанной мною на далеком приморском промысле Мумра.

На рассвете ушли мы от промысла; рассвет над Волгой был дремуч и ненастен, но на пустынных заливаемых тонях тянули сети и пели песни ловцы, которые были вчера партизанами и матросами на военных судах, и о погибшем одноземце которых был сложен уже героический эпос—песня о кочегаре.

Новые Горки.
Июнь, 1930 г.

Из книги о Горьком

А. МЕЙН

Екатерине Павловне Пешковой.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Максим Горький. Это лицо знаешь с детства. Оно было—в тумане младенческих восприятий—неким первым впечатлением о какой-то новой и чудной—о которой шумели взрослые—жизни. Оно мне встает вместе с занавесом Художественного театра, с птицами Дикая утка и Чайка,—черненькие дешевые открытки, с которых глядят вот эти самые, вот эти глаза, светло, широко, молодо, дерзко под упрямым лбом с назад зачесанными волосами над раздвоенным лукавым носом, над воротом косоворотки. Все это плюс широкополая шляпа (на другой открытке) или плюс высокие сапоги (когда поясной портрет вырастал, уменьшив лицо и плечи, уместясь на все той же открытке, в портрет во весь рост). Где-то рядом—почти как «плюс сапоги», как «плюс шляпа»—стоят в памяти лица Скитальца, Андреева, клочковатая борода Толстого, Ибсеновские очки.

Мне было лет пять. Жизнь, как в театре, раздвигала свои декорации — голоса споривших в кабинете отца сплетались с маминым Потонувшим Колоколом, непонятно кричали: «педель», «сходка», «нагайки», «Лев Николаевич»... Было поздно, мать гнала спать...

День. У осеннего окна я с внезапной ненавистью гляжу на городового, всегда шутившего с нами, детьми, толстяка, и в общей тоске со всем домом жду приезда отца (уехал хлопотать за репетитора брата, студента). По окну серебряно ползут струйки дождя. Вот на фоне этих тревожных серебряных струек стоит в моей памяти ширококостная и легкая фигура юного Горького, непонятная и родная, за годы и годы до первой его прочтенной строки.

Только три десятилетия спустя жизнь судила мне увидать Горького.

Стройный, белый плоскокрыший дом. Три этажа. Террасы. Сорренто далеко позади (вправо и вниз). Влево — поворот к шоссе, круто кидающийся в графику стен и садов. Я не знаю, куда вело в эту сторону шоссе, — в моем восприятии оно здесь кончалось. Это было от поворота? Или оттого, что здесь заканчивался мой долгий

путь? Здесь живет Горький. Не все ли равно, к каким итальянским селениям идет отсюда шоссе?

В маленьком отеле напротив белого дома я встретила гостящего у Горького одного из моих московских друзей. На мое нетерпение увидать Горького он отвечал мне, что до часу его беспокоить нельзя, — он работает (с семи утра). В час звонок к обеду, — все соберутся к столу.

Я не успела еще помыться с дороги, как раздался звонок.

Вокруг большого стола рассаживались люди. На фоне прикрытого ставнями окна их лица были неразличимы. Но вот, отделясь от других, слева, шагая через узенькую полоску точно через палочку солнца, к нам двинулся кто-то высокий, в светлом, знакомый по портретам и незнакомый потому, что выше—страннее—иначе — худее — моложе... Рукопожатие.

Сели за стол. Не доглотнув первого впечатления, изумленности о высоком росте, я уж переживала второе и третье. Это — как волны моря: не взять неводом. Но, беря палитру и кисть, условно и схематично, вот мое впечатление первого дня с Горьким:

— Так вот он какой... Сдержанный, почти сухой, почти суровый. В обращении — чинность, пристальная внимательность, деловая серьезность. Между вами и им — дистанция. Это устанавливается сразу, так просто и так повелительно, что невозможно вознегодовать. Безвкусным, легковесным и безответственным предстает вдруг всякое иное человеческое общение. Сусальным «русским человеком» с его пресловутой «задушевностью» мне через час показался тот Горький, которого я ждала.

Горький — строг. Этим много, д е й с т в и т е л ь н о много о нем сказано.

Темы первого разговора? Осмотренный мною по пути музей, что-то о Неаполе. О газетах. И больше, чем тема,—в глазах Горького ненависть—суд над Сакко и Ванцетти.

Так вот оно живое, это лицо, 30 лет спустя, в первый раз! Широкоскулое и худое, в щеках провалы, волосы сбриты, серый пушок. Усы густые, вниз, рыжие. Глаза—синеватые. И м о и глаза не верят, что это явь.

Не похож на свои портреты: бесконечное богатство мимики. Но каждый портрет что-то схватил, и перед глядящими, как в кинофильме, мелькает в волшебной смене то один, то другой портрет,— а, и еще этот?—гасимые текучей сменой вовсе новых, аппаратом невиданных лиц.

Он говорит, голос глуховатый, на «о», на мой слух чуть невнятный в своих утиханиях, но когда близко, или привыкнешь, в негромких интонациях такая мощь тончайших смысловых переливов, как бывает разве что в музыке. Когда же их нехватает—рассказ перехо-

дит в жест. Кто напишет о его жестах? Я только отмечу в них невиданную мною—мне 35 лет—выразительность. Интеллектуализм? С их длинных, спокойных всплесков, с холодка неуловимых движений этого веющего смычка каплет горячий воск—печать на то волнение рассказа, которое нельзя передать. Это высокая марка волнения.

Лицо—голос—жест. С чего начать дальше? С того, что вокруг стола, где сидим,—люди, давно знающие Горького. Что мне неловко. Что мешают тарелки, ваза с фруктами, стены, окна с каким-то садом и жаркий равнодушный к моему приезду,—как завтра и как вчера,—день.

Большая комната с 3 окнами—дверями на балкон. Вид на далекое море с правым крылом гор и Сорренто с очень бледным треугольником Везувия. Каменный светлый, мозаичный пол. От него ли, или от стольких дверей на воздух—впечатление холода и простора. Книжные полки. Никакого беспорядка. Никаких вещей, подчеркивающих индивидуальность хозяина. Серьезно, спокойно. За рабочим креслом большого стола (стопка остро очиненных карандашей), над полкой—небольшой портрет Пушкина. Две-три картины. В углу, за ширмой—кровать.

Что он говорил? Что запомнилось из его слов о писателях? Неожиданности его облика поглотили всю силу вниманья. В памяти—случайные отрывки. Их помещаю в виде примечания, извиняясь за хаотичность их: что Бабель—очень серьезен. «Конармия»..... Замечательный будет писатель. Что об Ольге Форш—с похвалой («Современники», «Одеты Камнем»). Что высоко ставит Сергея Ценского. Что не понять, как Борис Пастернак так перевоплотился в 13-летнюю девочку («Детство Люверс»). (—М о е м у пониманию это недоступно!)

Из бесчисленных вопросов моих к нему:

— Вы любите Блока?

— Нельзя ответить на это. Заинтересован был очень. Да. У него никогда нельзя было знать, что он сделает в следующую минуту. Я его и пьяным видал: тело пьяного человека, а слова, мысли, поступки—его обычные. Видал, как ухаживал за женщинами, видал на заседаниях. Стихи читал, как никто...

Еще о поэтах: Бориса Садовского уже с 15 лет считал выдающимся талантом. Он и вправду талантлив. Помню его в мундирчике, тонким, тонким голосом читающим стихи,—как игрушечка. Его очень в семье баловали. Был кумиром. Каждое желание исполнялось.

— Перед «Вечерними Огнями» Фета—преклоняюсь. (И с любви Фета, 80 лет к 18-летней, смерть после об'яснения с ней).

— Апухтин—пустое место.

Что я помню еще? Что Чехова-человека любит. И писателя хвалит. (Из его вещей больше всего отмечает «В степи».

— Это хорошо. О ч е н ь х о р о ш о. Вы это посмотрите).

Лескова горячо чтит.

Об Андрееве говорит с нежностью.

Резко не любит Владимира Соловьева.

— Конечно, есть не плохие места. Но все нехорошо. Циник. О человеке сказать так: «Родился кто-то, потом издох...» О человеке! Неверие прикрывал перед самим собой благочестием. Способность похихикать надо всем, во что веришь. Переписка его со Шлейермахером отвратительна. Как и отношение к Шмидт.

— Боткинские письма из Испании несравнимы ни с чем в литературе. Единственная книга, написанная русским о другой стране. Вообще мы писать об иностранном не умеем. (Ответ на мой вопрос, почему не пишет об Италии,— ведь так ее знает. Написал несколько итальянских сказок—«не вышли»).

Заговорил о Слепцове. Казалось, радостно удивился, что я читала его.—Его ведь так мало знают.

И беседа идет, идет, уже вечер. Помню его слова о том, что это вот понимал Лев Толстой: часы дня, психологично иные речи, иной тон, иные соотношения вещей в разные часы дня. Вечером—вечерний разговор, утром — совершенно иная манера говорить у его героев.

— Удивительный мастер. Знал каждую запятую свою. Все учитывал.

— А он знал, Лев Толстой, что он—недобрый?

Горький: — Знал. О себе говорил: «Старый, глупый старик, злой старик».

Разговор перешел на Анну Каренину. Более безрадостной любви, более скучной, он не знает.—Ни разу при луне не прошлись. Ни одного ласкового слова друг другу не сказали, ни разу не поцеловались при читателе. Да, мы, русские, не умеем этих вещей писать. Это только романцы умеют. У нас—не выходит.

— Вы бы могли. Напишите.

— Нет, я не умею. Русские не умеют. В каждой любви без переписки обойтись не могут. Философствуют же, нельзя же. В том же доме, но хоть одно письмо!

О Гоголе, о конце Гоголя:—Это мне совсем непонятно. Просто не понимаю, чуждо. Для меня никакого «греха» в творчестве нет.

— Алексей Максимович, кого вы больше любите, Андрия или Остапа?

— В молодости Андрия, конечно, ну, а теперь — Остапа. Все-таки будет посодержательнее: «Батько, слышишь ли...»—это, знаете ли...

«Записки сумасшедшего» Гоголя не ценит: нарочито, слабо. И что Гоголь не знал России, не был в Великороссии, и фамилия у него не русская.

Иностранных авторов знает, как русских.

О Гете не говорит горячо. Считает, что Ломоносов ничем не меньше, а как ученый—больше. Пушкин—больше Гете.

Анатоля Франса очень любит. Переписывался с ним и видался. Настойчиво его хвалит. Не любит баллады о Редингенской тюрьме. Хвалил Иеста Берлинг Лагерлеф. Помню еще: Бернард Шоу—ядовитый старик, но любезный. Явился на званый вечер, где все были во фраках, «в каком-то эдаком пиджаке невозможного какого-то цвета, табачного, все у него висит, вот эдак... И в скрипучих огромных башмаках».

— А как Вы были одеты, позвольте узнать?

— С улыбкой:—Такая куртка была... (и рассказ о сюртуке, который висит в Берлине в шкафу у друзей).

— Очень даже приличным человеком выглядел в сюртуке.

О приходивших к нему американских писателях, вежливо с ним говоривших и высказывавших мнение, что русских надо связать веревками:

— А веревок у нас хватит?

Собственные книги его лежат небольшими стопочками на нижней полке, на самой нижней, у пола. Когда метут пыль,—то на них. Это не поза, недоброжелатели,—т.-е. ни тени позы! Просто для него естественно: тут Толстой, там—Стендаль, здесь—Пушкин. Горький как-то лег там, внизу.

Раздает эти стопочки, и только один полный комплект, 17 томов, удалось от него спасти,—он внизу, у невестки.

Из всех своих вещей больше всего любит «Рождение человека».

Мы вышли на балкон. На соседнем балконе (высоко над садом) купали Марфу в нагретой на солнце морской воде и она отчаянно плакала,—не любит теплой воды. Увидав деда, закричала сквозь слезы: «Дудука...» Он тут же прошел к ней, сел у ванны на корточки и стал ее уговаривать: — Да, обижают нас. Очень нас обижают... — И не отходил до конца процедуры.

Мы до вечера не уходили к себе. Лиловое небо опрокинулось черным шаром. От сада было видно лишь сухое деревцо в луче окна. Мы вышли в этот исчезнувший сад.

Море, весь день стоявшее синей чертой,—полосой широкой, вон там. Оно растаяло в этой огромной ночи, как снежок в горячей руке. В ней же, в этой бездонной ладони, скрылись—сгорели?—горы. О селениях, шумных и тесных, стихших, кротко повествуют огни. Мы шли вслед за Горьким по невидимой тропинке. Он рассказывал о Капри. Сзади, из светлых провалов дверей и окон, неслась струнная музыка. Неужели—еще вчера?—я не знала этого голоса? Глуховатого, тихого... Сквозь голос, ночь и огни—горькая настороженность слуха, ловящего звук его кашля.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Кисейный полог от москитов, мозаичный пол с букетами роз, горячая лестничка узких солнечных лучиков сквозь жалюзи, первое утро в Сорренто.

Не настоящие—и потому милей—фоксы провожают меня вверх по лестнице в полутемную комнату, где уже все отпили кофе. Гигантские мячи апельсинов и персики с хорошее антоновское яблоко, сухой поджаренный итальянский хлеб. Виноград с кусочками льда. Я одна.

Это—неповторимый час. В гладкой, как зеркало, неизвестности—а уж некие лучи отразились—лежит передо мной предстоящая жизнь в Сорренто. В окно, полузакрытое ставней, виден кусок выжженного мелового сада, слышен детский голос. Это—Марфа? Дверь отворилась, вошел Горький. В стакане нес скорпиона. Поймал его на своей постели. Взял руками:—Только осторожно брать надо. Опасен укус в апреле. Как опасна всякая тварь, когда она занята любовью.

Постоял на пороге.—Почта еще не пришла?

За обедом мой друг тревожно и долго сетовал, что у Горького в постели—скорпионы. «Нечего сказать — хорошо! Как живет и работает Максим Горький».

Дом высоко над морем, минут 7 по крутым тропинкам. Горький работает по 10 часов в сутки. У Горького сын, невестка и внучка. Горькому нельзя льду—и постоянно его кладет кусочками в воду. Очень жарко. Днем—темные решоточки жалюзи. По каменным мозаичным полам—меленький звук маленьких лап собачьих—два фокса (не чистокровных, «с простонародинкой»). Встречи за столом—в час (утренний кофе без Горького, он пьет раньше всех, один), в 4, в 8. Сзывает—через выжженную дорогу—звонок. (Живем, его гости, в маленьком доме напротив. Название дома «Минерва»).

Сидит в голубой рубашке с расстегнутым отложным воротом,—старик? Моложе своего сына! Густая шерстка волос, худой, легкий—еще ничего не говорит особенного, но так, голову на-бок, глянул... и человек уж принадлежит ему!

— Тимоша, да побойтесь вы бога! какие же курицы, ну какие же, на милость, курицы! Да зачем я их буду есть? Да я до смерти их боюсь, ваших куриц! Как увижу—так у меня ноги дрожат! Ну и что ж, что один суп! И превосходно, что один! Живу же? Мало! Что, мало живу? Бросьте, Тимоша, это вы, чорт ее побери, что говорите!

И руки—так, только в плечах где-то двинулись... лицо—ходуном... балуется человек! И все вокруг—расцветает.

— Вот вы, Тимоша, не знаете этого ничего, а говорите... Ну, как же это может быть, чтобы она была мулатка? Негритянка она. Самая

настоящая негритянка! Черная, понимаете ли? Черная. А пела-то как! Ах, чорт ее побери... «Пускай могила меня накажет»... Как она это пела!.. Таким, знаете ли, эдаким голосом...

Дочери своего приемного сына:

— Вот, Лиза, про меня даже во всех газетах пишут, а ты меня в бок пальцем пихаешь.

Смеется добро, почти как старик, о Джулии, забывшей ему—а всем подала—подать винограда.

— Очень строгая женщина Джулия...

И упоенно мотая головй:

— Не хочет она мне винограду дать, ну, не хочет...

— Нынче Марфа Максимовна очень были милостивы. Сами ручку дали. И еще издали кричали «дедука».

У Марфы бонна. И Марфа начинает лепетать по-немецки. Сердится. Дед ей через стол:

— Не злись, немка!

Не сводишь глаз. Выразительность жеста—необычайная.

Много рассказывает о прошлом.

Попытаюсь восстановить несколько из этих рассказов.

О том, как поступил в оперу хористом. Там же был и Амфитеатров (пел главные партии).

— А у меня второй тенор. Пел я чертей и индейцев в опере «Христофор Колумб». Начитался я Купера и Майн-Рида и очень хотел все по-индейски делать. Умел и ногу особенно ставить и шел—ну, настоящий индеец! А режиссер говорит:—Ну какой ты, Пешков, индеец! Ты просто, брат, верблюд!.. Так до спектакля и не допустили—только репетиции.

Толстовец-англичанин пригласил его к себе.

— Богатое эдакое, невероятное какое-то здание. В дверях—человек, и у человека—булава. Человек похож на попугая: желтый, зеленый...

Неимоверное богатство, принятое им за богатство гостиницы,—собственность толстовца. Столовая (в рассказе блеснула тарелка сервиза, блик на тонущей в высотах стене, тронул волшебным жестом не то скатерть, не то хрусталь)—«и понял я, что это—да, это настоящее место и есть...»

Сели. И начался обед—«не обед, а какое-то упражнение... Чорт его знает, собственно, в чем... Блюдо за блюдом»... (Описал).

— Ну, потом я рассердился: ну, что в самом деле? Ежели так, так при чем тут толстовство? Ежели так—так уж бросайте все это к чертям! Ну, и выразил это ему.

— Ну, а он что?

— А ему что? Выслушал!

— Ну, а что-нибудь сказал?

— Чудной вы человек. Да что ему говорить? Говорить-то здесь нечего. Ну, что бы он стал говорить? Ну, потом встречались мы с ним, но уж в холодном таком виде...

О нижегородском губернаторе, однажды севшем рядом с ним на обрыве над Волгой и изложившем ему свой проект устроения государства. Каждому великому князю по губернии—автономное управление. И губернии будут в порядке, и великие князья заняты. Этот же (?) губернатор, приехав в другой город, узнал, что существует городская дума и что он должен открывать ее заседания. Идея думы не вместилась в него, монархиста. Но дума была факт, распоряжение монарха, губернатор должен был повиноваться: он вошел солдатским шагом в собрание, сказал: «Об'являю такое-то заседание городской думы открытым». Затем повернулся и... тем же шагом вон из помещения.

Рассказ (один из многих, полуугасших в памяти за первые дни бесед) о дьяконе, силища голоса которого (октава) тушила свечи на большом расстоянии. «Рожа такая, точно по ней лошади топтались. Вот такого вот роста, маленький, квадратный... Страшно смотреть...»

Инженер, пошедший пройтись, сказав жене, что вернется к завтраку, на улице увидал женщину необыкновенной красоты. За ней. Роман. Она—жена какого-то посла. Едет в Константинополь, еще куда-то. Он с ней. Турецкая тюрьма. Бегство. Погоня. Морское приключение со стрельбой и, наконец, является к жене. К завтраку. Девятнадцать месяцев спустя: — Ну, вот и я.

Девушка тринадцати лет, история с отчимом, дикое по фантастике бегство. Событие одно за другим, жизнь в роскоши, отечески ее полюбившего человека, его смерть, ее продают в рабство, в гарем. Еще и еще... Японская война, она—сестра милосердия. Кончается ее след непонятным возложением ею венка на могилу писателей на Волковом кладбище.

Рассказал, как он прыгнул, купаясь, с моста, ударился обо что-то под водой и, теряя кровь, пошел ко дну. Его спас ямщик, проезжавший по мосту.

О пожаре, начавшемся утром: оставил папиросу, горящую: «Побежал, понимаете ли, на кур глядеть,—куры очень орали»... Вернулся, на столе пожар, сгорел только-что написанный лист.

...Мне было лет шесть тогда. Я был еще маленький... (поджигал забор с мальчишками и бежал,—за нами гнались). Страсть к огню. Кто-то упрекал его в огнепоклонничестве.

— Били меня не раз и очень много. И я был хороший боец. Теперь уж можно об этом сказать. Хоть и силен был, но брал ловкостью.

Об Америке.

Под'езжая к Нью-Йорку — совершенно сказочное впечатление: весь город, все очертания его невероятных домов — в элктрических, фантастически придуманных рекламах. Например, труба сплошь обведена рядами электрических ламп,—горящая труба. Горящий город.

Это у них — замечательно.

Об американской прессе: заметка в газете о том, что сенатор такой-то разводится со своей женой. Его опровержение. Опровержение опровержения,—как же, у него взрослые сыновья, и они ненавидят мачеху (она в это время в от'езде). Ее на вокзале встречают репортеры и спрашивают, плоха ли ее семейная жизнь. Она замахивается зонтиком на дерзкого незнакомца. В это время щелкает аппарат—снимок в газету: характер мачехи. Сыновья идут в редакцию, не в силах больше терпеть эту историю, и колотят виновников. Их снимают, снимок в газету: характер сыновей сенатора. Сенатор бросает деятельность, сыновья—университет, уезжают в другой город.

Проституции нет, а есть—публичные дома. Публичных домов нет, есть—полицейские, которые, увидя по лицу, что с человеком неладно, направляют: за угол, третий дом. Был разоблачен квартал—9 публичных домов, принадлежащих известной филантропке. В прессе—скандал. На другой день—опровержение. Дома были сданы ловким жуликам, которые провели филантропку, а полицейские никогда не служили в полиции, а—шайка переодетых мошенников.

— Где же правда?—спросил мой друг.

— Там, где деньги. Как всегда.

Лицемерие: статуя на доме, голый мужчина. Негодование. И в прессе—слова: «Ни одна уважающая себя женщина не будет, конечно, ходить по этой улице». Не ходит ни одна женщина. А на неприлично разрисованную каким-то смельчаком, влезшим на высоту, рекламу женщины в прозрачном одеянии все смотрят, ничего.

О музее: уроды, живые. Три с лишним аршина, карлики, женщина с шестью грудями и т. д. За доллар можно увидать что хотите: Венецию хотите? Пожалуйте, Венеция. Едете в гондоле мимо дворцов. Пьяцетта, собор святого Марка. Хотите в ад, может быть? Пожалуйста. Спускаетесь по головокружительному пути в жаркие красные недра. Котлы с кипящими живыми людьми. (Подкрашенная вода). «Кипит» от каких-то химических соединений, но трогать не позволяют. Другие подвешены за ноги и пр. Диавол с зелеными глазами, с хвостом и крыльями смотрит на вас ледяным взглядом.

Рай? Пожалуйста. Полет туда на птице. Ангел курит сигару. Петр с ключами; вдали проходят святые, еще далее—сияние, перед которым ангелы преклоняют (и вы тоже) колена.

— Все это грубовато. У нас бы лучше сделали. Хотите всемирный потоп посмотреть? Пожалуйста. Сцена, древние евреи, дождь, дождь все больше, вода прибывает все выше, уж выше скал... Матери спасают за ноги детей, крики, мучения, вода прибывает... все тонут. Вода волнами идет на зрителя, но слетает совсем близко от него в особое углубление.

Еще об Америке. О квартале китайцев (самый страшный, туда без охраны нельзя,—они, впрочем, пошли вчетвером без охраны). Полицейские стоят по-двое—спина к спине. Китайцы почти не отвечают на вопросы. Страшные люди. Ведь они лишены своих китаянок, запрет размножения, дико развит гомосексуализм и наркозы. Наружность и держимость их жуткая. Но работают превосходно, несмотря на ненормальную жизнь: прачечная, производство коробок и пр. Самый веселый, это—негритянский квартал. Свои театры. Необычайно оживленные, страшно смешные и милые дети. Всегда музыка.

— Играют на виолончелях, играют на скрипках, играют на (название какого-то инструмента)... вообще и г р а ю т!..

Они преподают в школах белым детям, но в трамвае не имеют права сесть к белым, особенные вагоны. По железным дорогам то же: «для цветных», как для скота. За связь черного с белой его судили за кровосмешение.

После разговора о детях:

Дети—существа замечательные. Как фальшь превосходно чуют... Они обладают некиим шестым чувством. Правда, обладают до тех пор, пока не превратятся во взрослых людей.

— Я, когда Максим лет 14—15 жил у меня на Капри, слушал с интересом его рассказы. Как это у него, чорт его побери, складно выходило. С большим интересом слушал.

Стоим на балконе, над выжженным, точно пустыня, садиком. Под нами несколько агав, какое-то одно драгоценное дерево с мне неизвестным названием. Вправо от нас плеснут голубоватый туман моря, за ним—еле зримые очертания Везувия; сонным белесым облаком. Сзади нас стучат ложками, подают в комнате чай.

— О детях писать трудно. Очень трудно.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Капри? Его описывают столько раз, сколько его омывают волны. Забыв спросить у Горького, где он жил на Капри, я все время от парохода до парохода вместе с встретившейся мне русской служащей берлинского торгпредства отыскивала, спрашивая у всех, — la casa dove viveste il grando scritturi Massimo Gorki.

Этих «каз» оказалось так много, что мы, должно быть, заодно осмотрели дома, где жили и Андреев, и Куприн, все жившие на Капри «скриттури». Понимая безнадежность разобраться во множе-

стве предлагаемых нам домов, мы сидели в чьем-то чужом саду, ели апельсины и смеялись над своей неудачей. Мы убеждали себя, что эта уж наверное настоящая «каза». Итальянцы смотрели на нас неодобрительно. На горе величавым упреком стоял замок императора Тиберия, который мы не пошли смотреть.

Я здесь уже 16 дней, от'езд надвигается.

В день Марфиного двухлетия пришел Пульчинелло со своим домиком на колесах. В сад высыпали дети соседей, Марфа была такая беленькая среди них. Взрослые говорили о том, что это искусство уже умирает, вспоминали русского Петрушку. В самый патетический момент глаза всех устремились на Марфу: она медленно, осторожно, с совершенной решимостью, отделясь от всех, шла вперед. Крик пугал ее, но любопытство брало верх. Она чинно дошла до самого места действия и серьезно, испытующе, с видом исследователя заглянула за угол домика. Она хотела знать, что т а м.

Этот ее маленький поход в неизведанность, несходство с другими детьми, которые просто смеялись, с детьми, которые тянули руки и чего-то туманно требовали у старших,—какого-то еще более полного пользования красотой,—четкость замысла и самостоятельность выполнения явственно напомнили деда.

Это шел маленький Горький.

Поздно вечером я еще раз увидала Пульчинелло: уже успев обойти ближние сады, полуслепой старик со своим легким сооружением стоял перед отлогой лестницей «Минервы». Прямо на лестнице сидели зрители; по сторонам мечущихся в воздухе кукол полыхали невиданные мною фосфорические свечи, и картавые, классически крикливые голоса кукол пафосом ролей покрывали окрестность. Они стригли ночь острыми световыми ножницами на черные длинные треугольники.

В Сорренто гостил молодой англичанин, писатель. Вечером Горький говорил с ним через переводчика. Спрашивал о жизни в Англии, об отношении к России. О роли женщины у них. Говорил с симпатией о матриархате. До сих пор мужчины делали историю, и плохо выходило. Сколько войн! Надо дать женщинам возможность делать историю.

Говоря о своем необычайном довольно-таки пути к культуре:—Я этим не хвастаю, не хвастает же человек тем, как его били...

Никогда не видала его удивленным. Слыша цифру раздавленных в Америке автомобилями,—столько-то сот тысяч, кажется,—повел усами: — Немного.

И утомленный, сухой, от себя (?) самозащищающийся глазок из-под брови. Горд.

Когда я прочла ему свое (вещь, по существу не могшую ему не понравиться и—в меру, конечно, потому что все в опыте жизни в меру—взволновать), я закрыла тетрадь с этим терпким, стесняющимся и просящим пощады словечком «все» (сердце колотилось, в висках стучало), — он начал мне свой ответ так:

— Д-да... тут в одном месте у вас не поставлен союз.

(Потом он сказал вещи дружественные, похвальные, не повторимые по тонкости внимания, но н а ч а т ь он позволил себе, т.-е. вменил в обязанность, именно так.)

Суховатость к рисунку брошенных перед ним карт. Все кроет козырем. Нет, нисколько не сентиментален, как о нем говорил кто-то. Рассказ о том, что он будто бы заплакал, публично читая вслух «Страсти-Мордасти»,—ложь.

Через неделю от'езд. И хочется набросать несколько наблюдений.

Очень редко смеется. Улыбается часто. Улыбка—обаятельная, молодая. А смех—добрый, нежный, стариковский.

Постоянные слова: «полагаю», «сделайте ваше одолжение», «пожалуйста». (Да сколько угодно, пожалуйста! Да какие хотите, пожалуйста! Почему нет? Да, пожалуйста!)

И от глухого голоса выходит «пуж-а-ал...»

Часто: во-от... Горячим улыбнувшимся шопотом: замеча-те-а-льно... (слышно как меча-а...») Это не слова. Это горячий ветер у губ. И прикроет на миг веки.

Говорит не умер, а «помер». «О» не грубо, не настойчиво, а—гулкостью голоса.

Кàжный», «Бѐрлин», «с людями», «озорнѝчает».

Вечером в рассказе о ком-то:

— Женщина дикой красоты.

— Да, эта женщина предсказала мне, что буду сидеть в тюрьмах. Пять раз сидел. И что человека убью. Не убивал я еще никого. Не поспел.

Играя в убегание от Марфиной игрушечной кошки, прячется:

— Кошкими меня затравили...

А Марфа требовала, чтобы «Дедука» — sitzen [1]) и снова травила его.

Не любѝт сладкого.

---

[1]) Сидеть.

Каждый день за обедом радостно отказывается от какого-нибудь блюда: — Нет, Тимоша, не удастся вам меня покормить...

(Страшно мил, кристально чист в обиходе, в сношениях с окружающими).

Выходит на минутку во время занятий, днем из кабинета (кстати, сказала ли я, что его кабинет—одновременно и его спальня).

— Чорт их побери, этих мух! Жить невозможно. Палкой их надо бить по голове.

Постоянно жжет спички в пепельнице. Не раз—пожары в корзинке для бумаг.

Горький—нумизмат. Но коллекцию (это, кажется, невозможно для нумизмата) раздарил.

Утомляется с людьми. И, побыв один два - три часа, вновь радуется, встречаясь.

Во время пения вечером у молодого населения дома внизу, в большой комнате, окнами и дверями в сад, слушал музыку и стариковски улыбался, тонко, с былой удалью, с уже отступающим чем-то... Склонив голову...

Вечер. Сад. Ужасно темное небо, еле различимы корявые стволы деревьев. В чью-то честь жжем костер. Молодежь принесла стол с вином.

Ворох папиросных и спичечных коробок, на них—хворост. На хворост— изношенный костюм моего друга. Смех. Горький мешает костер.

У его сына на стене картинка одного из Бенуа: костер, и Горький его мешает. Мы сейчас словно провалились в эту картину.

— Что вы больше любите, огонь или воду?

— Огóнь. Я óгóнь очень люблю.

Согласился, что вода во всех ее видах, и тихая, и бурная, жутка.

Сын и невестка заботливо уговаривали его не стоять близко к огню,—ветер свеж, простудится. Шутил. Не слушал.

— Алексей Максимович,—спросил мой друг,—вы когда-нибудь думали — да, конечно,— о том, что двум любящим всегда хочется умереть? Помните, у Тютчева есть...

Помолчал. И с оттенком недружелюбия в голосе:

— Ну, не знаю. Не знаю этого.

Я скатала из всех серебряных бумажек, составляющих внутреннее дно папиросных коробок, большой сияющий шар. Горький с улыбкой мне подал раза два: «Вот еще бумажка».

Я подбрасывала в руках этот тяжелый мячик, по нему полыхал свет огня, думала:

— Этот мячик останется мой. Вечер пролетит, все пройдет. Это будет залог, что было.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Завтра — от'езд. Мой отпуск кончается. Днем, среди сборов, прочла «Страсти-Мордасти». Вещь грозная в своей голой чистоте, в своей ужасности, очень тихой. Был какой-то особенный вечер. Все ушли, молодежь внизу, мы—втроем—и он стал рассказывать. О чем? Разве скажешь? Вечер с ним—это жизнь.

— Хороший человек, между прочим... очень хороший человек...— (о ком-то) и покачал сверху вниз, еле-еле, углубленно в себя—или в эту чью-то хорошесть—головой. А пальцы мнут папиросу. Зажег спичку—и рассказ дальше, до следующего случая, когда прорвет в счастье, что:

— Чорт его побери, понимаете ли, чорт его знает, как хорошо...

И широкий, сдающийся на невозможность выразить —всплеск длинных рук.

Но я сегодня в тумане. «Страсти - Мордасти». Мне кажется, а может быть, оно так и есть, в литературе нет вещи, более сильной: в ней все концы и начала. Мне душно сегодня весь день.

Сквозь условности часа—столовая, Сорренто, Горькому шестьдесят лет—в каждом его слове, в каждом жесте и в немыслимости завтрашнего от'езда мне повелительно стоит над миром пьяный горем день, когда Горький вышел во двор из подвала, простясь с больным мальчиком.

Упрямо, самозабвенно, мне это кажется последним и наибольшим.

А Горький, точно зная, что со мной, спокойно и щедро — жестоко? — кроет козырем и эту карту. Он ведь знает эту нелепую жажду, все бросив, остаться в том подвале,—не этой ли жаждой был пьян его уход из него? Он знает нищету подобного разрешения вопроса. Он знает, что этот вопрос «так нельзя разрешать». Ненавистник теории и споров об отвлеченном, он продолжает сказывать жизнь, и волна за волной, жизнь, как волна песок (драгоценна каждая песчинка), плещет в вечер судьбу за судьбой. Неповторимо, незаменимо, незабываемо ничто. И именно потому в том подвале нельзя остаться,—силы человека таинственны и огромны, человек — людям нужен, жизнь богаче себя самой. Не жалостью, не лирическим взрывом единичного героизма лечится эта рана. Он презирает кустарничество, самозванство. Он всю свою жизнь борется с этим клубком в горле, с слезной волной в час волнения. Она готова затопить мир, но существо ее—эмоционально, как дрожь при звуках оркестра. Омывая в легковесных водах «понимание», эта волна одновременно служит человеку и спасательным от волны кругом, не дающим ему окунуться в настоящую глубину.

«Страсти-Мордасти»? Да, это рассказ не плохой. Женщина, рожавшая в степи, «Рождение человека»? Да, был такой день. Помнит, еще был день: у молодого мужика, приехавшего на ярмарку и наторговавшего денег на свое молодое хозяйство, свинья с'ела бумажник. Мужик пошел под навес и удавился. Жена бросилась к нему, в это время свинья с'ела грудного ребенка. Он, Горький, в'езжал на телеге в город. Он видел, как навстречу ему бежит женщина,—она так бежала, точно не по земле, и «лица у нее не было, а так что-то» (он показал какое-то круговое движение вместо лица), она пронеслась мимо него, вбежала на стоявшую у берега баржу и — с другого конца — в воду.

Он рассказывает о дефективных детях, над которыми работал в Ленинграде: помнит он девочку исключительной талантливости, красоты и изящества—«очаровательная девочка. Воровка».

Подробно, все перипетии ее жизни,—как бились с ней, как ее тянуло к воровству; ловкость—необычайная; сцена в трамвае, где она якобы в благодарность за заботы о ней выдала шайку карманных воров, а на самом деле поиздевалась, приведя с полицейским агентом совершенно невинных людей. Освободила из тюрьмы друга-подростка.

Мальчик — слесарь гениальных способностей. Замков—не существовало. Из трех головных шпилек делал модель замка, которую никто не мог открыть. Совершенно холодное существо. К людям—презрение. Никогда не работал при ком-нибудь. Вежливо прекращал работу и поддерживал разговор, ожидая ухода. Из так называемой «хорошей семьи». Вор.

На мой вопрос, можно ли любить таких?

— Можно.

— Жалостью?

— Нет, очень сильным влечением, в котором совсем нет места жалости. Я так скучал по этим вот двум, когда день не увижу,—как-то неловко делается, что их нет...

И вдруг мне становится ясно: Горький—«вечный жид», есть картина, кажется, Марка Шагала, как шагает над силуэтом маленького осеннего нищего города гигантский силуэт старика. Каждый шаг—через гряду домов. Волосы—в тучах. Посох.

И я слушаю с новой страстью внимания.

Об итальянцах, о разнообразных, странных их свойствах, о сдержанности в гневе: будет стоять, побелев, со сжатыми кулаками,—не ударит (когда бы у нас,—уж давно драка), о неаполитанцах, безумно любящих удовольствия (небывалые ежегодные суммы на иллюминации). Что жулики, но, обжулив, в тот же день вам окажут услугу. Прирожденные актеры. Дар. У шестилетней девочки—врожденные манеры актрисы.

Мой друг сказал свое впечатление о Неаполе: совершенно сумасшедший город. Даже нельзя понять: музыка из каждого окна, какие-то рояли на колесах на улицах. Тут же пляшут...

— Да. Это—вечером,—сказал Горький,—утром Неаполь спит.

Рассказ о большом актере, с которого ни в магазинах, ни в ресторанах итальянцы не хотели брать денег.

— Мимика! Мимика...

Сказал это потрясенно и тихо, недоуменно развел руками.

— А я театр не люблю...—сказала я.

— Да и я не люблю, собственно. И пьесы я писал плохие. «Дно»? Интересно только содержание. А рока—нет. (Стержня, действия). Да, я не поклонник театра. Но я видал т а к и х актеров,—невозможно рассказать это. Из-за них не могу отрицать театр. Видимо, есть люди, которым роль—толчок к перевоплощению. Дузэ,—разве о ней рассказать можно? О других можно говорить, о ней—нельзя. В Италии трупп—нет: актер. Лучшие театры—в Неаполе.

И с глубоким восхищением об актере Андрееве-Бурлаке. О том, как он читал гоголевского «Сумасшедшего». Он безумен, да. Но откуда-то на себя смотрит. И это жутко.

— Я бы сказал афоризм: надо быть очень талантливым человеком, чтобы не быть актером.

...Ночь после игры Стрельской (ему было 17 лет). Вышел из театра и до утра—а дело зимнее—просидел у фонаря на тумбе, не заметя, как прошла ночь. Об актере, некрасивом и странном, очень тогда известном. Сцена, как мимо него проезжает с другим его возлюбленная. Никаких жестов. Он глядит ей вслед. Абсолютное молчание, непередаваемая игра лица. Роняет изо рта папиросу и вдруг тихо начинает петь. С ним боялись играть; в такую минуту следующий шаг был—убить первого попавшегося. П е р е в о п л о щ а л с я в р о л ь.

О том, как итальянцы молятся в церкви.

— Он с ней говорит, с мадонной. Говорит, понимаете ли!

Показал, как бьют себя в грудь, как глядят вверх, исступленно. Развел руками, как перед непостижимым.

Вечер идет. Плывут воспоминания.

О человеке в тюрьме, который каждый день в предзакатный час, который он долго ждал, когда стена против его окна, тоже тюремная, наконец, освещалась солнцем, делал руками тени. Целая жизнь теней. Их смывал вечер.

...О скале на строве, где похоронен Григ. Об исландских сказках, мрачных. Об арфе с голосом. О гуслях и плясках мордовских...

— Я—сорок лет как бросил пляску.

Любит Бетховена, Моцарта, Грига. Музыку о ч е н ь любит. Эта его любовь к музыке стоит возле него всегда, точно вторая тень. Из инструментов—виолончель.

— Струнный звук, конечно. Но... не щипком, а...

— Смычком. Ну, конечно.

И поняла: он — бытийной струи. Чистой, движущей, радующейся!

Мой друг сравнил его с Рафаэлем. Толстой—Леонардо, Достоев-

ский—Микель Анджелло. Смеялся, слушая. Сильно кашлял. Тревожились.

— Нет, это пустое. Перекурил.

— Да, я много видел так называемого зла.

— Но я в каждом человеке знаю так называемое добро, и я верю, что оно победит. Люди не умеют жить. Не умеют, понимаете ли.. Но когда-нибудь они научатся. Залогом этому то, что они у ч а т с я. Когда я каждый день просматриваю русские газеты, мне это совершенно ясно.

— ...В Ленине было—детское. Подойдет к елке, голову подымет—и улыбается. А на елке, понимаете ли, сойка сидит...

Выразил удивление, что мой друг мало знает птиц.

Спросил, докуда он прочел «Самгина»—до сома ли? «Там—сома ловят...» (с виноватой, упоенной улыбкой, мгновенно и круто умиляясь и, как всегда в этот миг, став застенчивым).

Я сказала ему, что, наверное, он никогда не охотился и что, как это верно, что Лев Толстой был охотником, а он—н е т.

Он скромно и тепло отвечал, что вот да, странно, действительно, никогда не любил охоты.

— Ведь жалко же их убивать, чорт возьми, зверей этих! Ведь, например, медведь! (Показал, как медведи сосут водку из бутылки, обняв лапами; как ходят, какие милые,—никогда на человека не нападают, если не тронуть, какие мохнатые...)

— Ведь медведь, он у д и в и т е л ь н о милый человек!

О самке дельфина, у которой убили детеныша. Она подплывала к берегу, где он был убит. Она плакала; слезы, как у человека. Невозможно было глядеть на ее морду.

Подчас, когда слушаю, смотрю на него, загипнотизированно слежу жесты... и вот так расскажет что-нибудь д о к о н ц а!—мне хочется сказать ему, чтоб он не говорил сейчас другого,—нельзя, не надо!—солнце, остановись!

А он уж ласкает собаку. Собака прыгает к нему на колени.

— Да вы что, маленький, что ли? Вы собака старая, зеленая...

Собака прижала голову к его груди. Он кормит ее сахаром.

— Вы бы пошли, прогулялись...

Собака не шла.

— А еноты—вот чудно: еноты сидят на деревьях, скатаются шариком, лапами морду закроют... (неуловимым движением скатался весь, показав, как)—и висит на ветке эдакий шар,—не то растение, не то цветок какой-то...

Утра в Сивашской степи; прячась за камнем, смотрим, как суслики просыпаются.

— Молитва у них, что ли такая... Моление солнцу!

Он делает что-то руками, воздушное умывание у лица.

— И... свистят... тонко... Там свистнул, тут свистнет... позади, там, здесь... (уж не слова у него, а движения): повел плечами—и нет спинки

стула, ухо—туда, сюда, слушает... миг тишины совершенной... С т е п ь!

Взлет руки вверх:—Понимаете ли? Хорошо, чорт их совсем побери...

— Да, а сусликов ловит лунь. Лунь висит, как подвешенный в воздухе и качается.—Горький вскинул голову, простер в стороны руки и длинно, медленно качает их. Лицо—напряженной важности, очертания плеч—воздушны, строги, легки...

В то мгновенье, когда Горький описал, как ударяет лунь суслика, у него совершенно серьезное—чуть сжатые черты—лицо. Но когда уже суслик мертв и в степи живет трепетной жизнью победы лунь, Горький, сам, конечно, не зная, сказывает его наедине с пищей, так как — тихо—оно и было там, в степи, должно быть. Не руша на бедного хищника его грех. Чертя еле зримый чертеж, гравер тающих линий, он говорит почти восхищенно о том, как деловито,—и в деловитости невинно,—как аккуратно выедает лунь клювом из мертвого черепа мозг. Нам ощутимо слышен этот, после суслика, позднейший степной час,—вот так, в два часа дня, в Сорренто.

«Олени».— Ночью шли на водопой. И самец кричал. Крик (разноголосо охнул, руки в воздух, и крик, как оленьи рога). Олень стучал по деревьям, давая знать задним, что опасности нет. Потом самка, самец и их теленок остановились, и теленок стал об'едать ветку, а отец и мать сторожили.

— Замечательно...

Он только одно слово сказал, туша им улыбку, но улыбка потушила его.

Да, он подолгу жил в степи, раз не мог уйти от сусликов.—Дня четыре вот так (вызывающе и смущенно) гулял!

— Когда в Феодосии на стройке железной дороги, — это было в 90-х годах, на виноградниках работал... Это что, работа дешевая, а вот мостили шоссе—это да: 45 коп! Сколько часов? Да сколько хотите! Часов в 9 начнешь—обед свой—и так до часов 9 вечера... а кругом народу сколько хочешь, ждут, когда кто-нибудь упадет или заболеет, смотрят сверху, бегут радостно! (Показал, как хватаются за кирку, как потирают руки...).

Он никогда не снизойдет морализировать. Дышит и с лунем и с сусликом. И в юности никого не учил. А только молча порой, когда этого требовала минута, пускал в ход исступленные кулаки (за разбитую на его глазах ночным сторожем об камень кошку). Четко, за описанием брызнувшей крови:

— Ну что было делать? «Мы катались, как два пса, по двору...» («В людях»).

Ночь. Давно смолкла внизу музыка. Дом спит.

Запер дверь на террасу и пошел нас проводить на лестницу. Последняя ночь в Сорренто!

У дверей «Минервы» в черной ночи с желтыми звездами, рассыпанными по мысу Сорренто, мы еще долго говорили о нем.

— Ну, что,—сказал мне мой друг,—видите, я был прав... А вы говорили—сухой, холодный... и насколько он больше Толстого! Разве можно сравнивать! Это—музыка, а не человек...

ГЛАВА ПОСЛЕДНЯЯ

Прощайте Сорренто, Капри, Кастелламаре, Торре дель Греко, Помпея, где были вчера,—едем?

Лиловое небо. Везувий, из Сорренто видимый в этой лиловости только порой и туманно, оживает тяжелой горой. Наступает на нас. Мы летим ему под ноги. На нем широкие пласты солнца. В его складках что-то от слона. Небо жжет жарче. Когда это солнце сядет, я буду опять мчаться. И Везувий снова станет туманом...

Вчера друг Горького, художник (простились, остался в Сорренто), мне рассказал о том, что, если ехать вдоль берегов, можно порой при очень тихом море увидать под водой мраморные лестницы, колонны, целые куски древних жилищ. Здесь были бани такого-то императора, там—знаменитая вилла... Землетрясения необычайно изменяют берег. Здесь, говорят, некогда был кратер; вон та цепь островов—его противоположный край. Все, что сейчас (до островов) вода—было огнем вулкана?..

Время от времени море выкидывает остатки былой культуры: статуи, амфоры. Их порой расшибает о скалы, но случается, что дар моря кинут волной на отлогом месте,—тогда люди собираются вокруг сокровища, мокрого и немого, тысячелетия пробывшего под водой. Так героическими раскопками Помпеи и Геркуланума из окаменевшего огня и беспечной прихотью волн пополняются залы музея в Неаполе. Горький не может говорить спокойно об этих музеях. Ради них, ради радости показать их еще раз, он нарушил ход своих рабочих дней,—он едет с нами показать нам Неаполь.

Стройная, легкая, повторяю, юношеская фигура Горького в черном и в черной шляпе—на фоне стен картинной галлереи. За огромным окном—жара. Прохладные амфилады скульптурных зал.

В ответ на мой вопрос о последовательности в его отношении искусств (врочем, с оговоркой, что вообще такое деление искусственно): 1) музыка, 2) слово, 3) живопись, 4) скульптура.

Канова—изумительный скульптор. Великолепен памятник Колеоне Вероккио. Роден—гениален («Мысль», «Граждане», «Калэ»). Коненков—замечателен.

— Голубкина — талант крупный. Женщина — бессребренница, но—да это всегда было—говорила в лицо неприятности. И всегда было у нее хорошее самоуважение. А ее старуха голая—такая безобразная, что, ну, прямо некуда ее поставить. Так и осталась у нее в мастерской.

Смотрим любимые его вещи: Геркулес, держащий яблоко, и недавно выкинутая морем у чьей-то виллы статуя юной женщины изумительной работы (и все воспетые чудеса Неаполитанского музея). Мы

осматриваем их залу за залой, этаж за этажом. Фрески Помпеи, макеты помпейских домов; гипсовые отливы в судорогах застывших тел. Худенькое, скорченное тельце двухтысячелетней собаки: ее остренькая мордочка задыхается, как в те дни, хотя сам скелет давно рассыпался в прах. (Секрет Фиорелли, попробовавшего наливать гипсом встречавшиеся под киркой пустоты). А над гипсовым оттиском предсмертных страданий, на непотускневшей кирпичного цвета фреске летит—легчайшим движением—некая, быть может, Фортуна. Сыпля цветы. Прозрачный край ее покрывала четок, вынутый из-под пепла, и серебрян, как стрекозиное крыло.

Горький молчит. Это—еще раз—все тот же его миг, миг, когда отводишь глаза, когда не даешь слезам завладеть глазами и горлом.

Выходя из прохлады музея в горячую печь двора, помню сказал:

— Синьорелли я ставлю очень высоко.

Ко мне подошла женщина. Тихо по-русски:

— Скажите, это не Горький?

— Это Горький.

И не сказала ему, чтобы не портить ему дня. Он так любит музей и так не любит быть замеченным.

Пошли в Аквариум (музей подвижной жизни). Чудеса моря медленно плыли, сияя, как чудовищные огни. Одно даже сияло.

Покормили кого-то из них.

Знаток Горький, любовно поясняя, показывает нам пушистость живых тычинок, пухлые масляные стволы, кораллообразные ветви, и на дне—жемчужную тишину.

— Можно ли словами описать это, думаю я, можно ли найти название для каждого из этих явлений, для всех разновидностей? Передать. Нет, нельзя: потому что сквозь все это—вода...

— Нет, не вода, а жизнь! Это я поняла спустя полчаса, когда мы попали во второе отделение музея подводной жизни: здесь были те же чудеса, но—неподвижные. Текучесть в лице спирта или других растворов тоже проницала каждый гриб и стебель. Цвета чудовищных рыб были все так же сумасшедше красивы. Но ничто не колыхалось, не плыло, стеклянный стебель был холоден, и мутный глаз не смотрел на нас, пробуждаясь из толщи сна.

Сидим в ресторанчике тетки Терезы, у самой воды. Мой последний час. Рыбачьи лодки. Остро пахнет морем. Зеркальная, пылающая гладь гаснет вдали от неба.

— Нет, у меня нет привязанности к одному месту. Уж не тянет меня ни в Тифлис, ни в Царицын, ни в Нижний. На Украине жил—был украинцем. Приехал в 1906 г. на Капри, так понравилось, что остался.

Горькому подали осьминога. Нам—макароны. Пили Лакрима Кристи. Три музыканта гремели свою струнную красу. Горький говорил, что любит это место на Санта-Лючия, потому что тут собираются

самые разные люди, тут по-настоящему демократично. И мальчишки— «понимаете ли, такие хо́ро́шие мальчишки. Настоящие».

Рассказ о том, как однажды в распоряжении городского совета в Неаполе осталось несколько тысяч франков—собрались, чтобы решить, на что употребить деньги: основать школу или сделать грандиозную иллюминацию. Большинством голосов прошла иллюминация.

Он говорит о том, как итальянцы любят оригинальное в человеке, окружают и смотрят.

— Хорошо, знаете, так смотрят.

О том, как ведут себя немцы, когда кто-нибудь не таков, как они. Плохо одет, например: они просто не видят: Идет на человека, никого перед ним нет. Как один его знакомый в Париже стал резать спаржу, которую принято не резать (французы—молодцы!), несмотря на то, что они держатся этих «правил приличия», музыканты только на миг приостановили музыку, лакей отвернулся, взглянул в окно, и все сделали вид, что другим заняты.

Торговец поднес книги. Горький купил том Пушкина. Другой, с мелочами, предложил моему другу крошечную черепаховую мандалину.

— А она играет?

— Сейчас—нет, — скаазл Горький, — когда подрастет. Что-то нынче Везувий сильно дымится. Вечером, наверное, будет окрашен огнем.

Легкая, высокая с впалой грудью и прямыми плечами фигура в черном костюме (непривычно): дома ходит в английской рубашке за пояс, в русской его не видала, и в широкополой черной шляпе, эта сухонькая, угловатая и в угловатости грациозная фигура на фоне бледного, подавляющего здесь все Везувия, на фоне раскаленного неба, помпейских музейных зал, зеркальной набережной Санта-Лючия,— стоит предо мною теперь точно так, как когда-то стояла в детстве, в этой же широкополой шляпе, на фоне московского осеннего окна, в день расправы со студентами

Этот день никогда не забуду и не могу его описать.

Столбцы. Игрушечно-чинный вокзал, маленькие пограничные станции. Это последний кусочек Запада. Последние его атрибуты в виде узора иностранных газет, польских, французских, немецких; блистающие стопочки швейцарского шоколада»... дорожные зер-зеркальца, стаканчики, карнэ, «чудо-карандаши», виды Уяздовской аллеи...

Таможенный осмотр кончен. Чиновники с блестящими пуговицами, в каскетках совершили свой долг. В Варшаве у билетной кассы я получила удивленный отказ: билет до Москвы? Билет

выдается только до Сто́лбцев, от Сто́лбцев берешь билт до Негорелого, в Негорелом уже в русской кассе получаешь билет до Москвы.

Глухой гул. Поезд. Носильщик берет вещи.

Был ветер, хлестал дождь, когда поезд с несколькими пассажирами замедлил ход у последней польской сторожки. В поле было темно. Здесь сошли все польские железнодорожные служащие, кроме машиниста и кондуктора. Они доезжают до самых границ легендарного ада, они обжигаются об его ворота. Таков долг службы.

Эти последние минуты я еще во власти Запада. Еще мой паспорт—иностранен. Еще я—«пани» (Должно быть, совсем безумная
порт—иностранен. Еще я—«пани». (Должно быть, совсем безумная в эту страшную неведомую страну!) В молчаньи со мной кондуктора—что-то стеклянное. Стоя у окна, я стараюсь за его плечом различить, что за окном. Слева замигали огни. Негорелое.

Из цикла „Лирические стихи“

ВИССАРИОН САЯНОВ

I. ЖЕНЩИНЫ

К чорту летит на рога подкова,
Семнадцатилетнего смутен пыл,
Помнится мне, что была Петкова
Первой, которую я любил.

В нашей провинции есть остаток
Старых тургеневских дней любви,
Впрочем, стремителен был и краток
Вихрь, прогремевший в моей крови.

Мы и знакомы то были бегло,
Узкий проулок, пыль, каланча,
Помню, к шабрам ты запросто бегала,
Странные речи порой шепча.

Замуж ты вышла иль в воду канула,
Пыль на геранях своих кляня,
Ты из окошка в тот вечер глянула
И проводила в поход меня.

Песни армейские мяли холку
Жарче запевок на свете нет,
Год я берег смоляного шелку
Жарко расшитый тобой кисет.

Но через год, в роковую ростепель,
В брод огневую пройдя реку,
Я, полевой покидая госпиталь,
Отдал кисет своему дружку.

Только-что с глаз ты долой, из сердца
Тоже летишь с почтовыми вон,
Может, другая возьмет рассердится,
Ты-то давнишний поймешь урон.

Как оглашенная, доля наша
Годы выводит в глухой туман,
Вот на рассвете поет Наташа
Горбатова, сжавши в руке наган.

Нюрка Буланова, друг любезный,
Тише воды, ниже травы,
Ты мне казалась в тот вечер тесный
С гамузом полублатной братвы.

Вышло не так, ай да мальчик-ёжик,
Крепко, видать, он тебя любил,
В грудь мне изогнутый финский ножик
До рукоятки почти всадил.

Месяца три не ели, не пили,
Выли щенята со всего двора,
Под хлороформом рану зашили,
Отпуск мне выдали доктора.

Вот мы и друг от друга оторваны,
Стали с тобою мы жить вразброд,
Время сегодня не в те уж стороны,
Как разводящий, меня ведет.

Что ж, во-первых, во-вторых и в-третьих,
Синий, зеленый и белый дол,
Сколько дорог — даже не рассмотреть их —
Я, задыхаясь, с любой прошел.

Молодость кончилась на три четверти,
Жить по-другому теперь пора,
Ветер кружит надо мной, но вечер тих,
Захолонула меня жара.

То грохоча на размытых насыпях,
То подымаясь вразброд, тесна,
Снова по миру проходит наспех
Неотвратимо моя весна.

II. ПЕСНЯ

С Васильевского, что ли, с Голодая,
Отпетая, как остриё штыка,
Тогда ходила песня молодая,
Подшефною стрелкового полка.

Она в посты ходила разводящим,
Над фрезерным станком наклонена.
Бывало, мы ее к матлёту тащим,
А все еще кобенится она.

Братве тех лет почти что всей знакома,
Она не знала, есть ли мрак и мгла,
До траекторий утреннего грома
Ее дорога громкая вела.

Прошли года, и снова утки в дудки,
А тараканы в барабаны бьют,
Другие парни вертят самокрутки
И наши песни старые поют.

Мальчишки те, они уж постарели,
Райкомщики, за выслугою лет,
Огромный стаж вмещают еле-еле
В свой комсомольский трепаный билет.

Темна вода во облацех воздушных,
А наши дни тревожны и легки,
Еще немало песен прямодушных
Порой ведут стрелковые полки.

Не под матлёт далеких лет окраин,
Но также верны помыслам своим,
И нынче мы, как в юности, сгораем,
Как и тогда, без промаха летим.

Конец толкучего рынка

ОСИП КОЛЫЧЕВ

На сотни голосов поет Толкучий рынок —
И солнце кляксами лежит на мандаринах...

Через обочины и через мостовые
Он шлет моим глазам сигналы цветовые:

Апоплексической петушьей головой,
Нельющимся желтком ромашки полевой,

То красной, как рубин, старинной карамелью,
То языком быка, покрытым легкой цвелью...

День...

Тугим клубком лапши катается базар,
И надувается, как гречневый развар,

И сбитень воздуха, заправленный дрожжами,
Разваливается от грохота и ржанья...

Ночь...

И, цветастые завесив ночники,
Ветхозаветный пух трамбуют мясники,—

И на добротнейших, прапрадежьих перинах,
Обнявшись с женами, храпит Толкучий рынок...

Прогорклых овощей вздымается гора,
Финифтью и фольгой летает мошкара, —

И, словно в мéсиве, я вязну по колени
В пахучей похоти базарных испарений...

Валяется сургуч облезлой колбасы,
И мозговую кость перегрызают псы...

И, свесясь с языка, блестят при новолуньи
В четыре бисеринки бешеные слюни...

О, скотобойческая, пурпурная ночь,
Болезненного дня болезненная дочь!

Ты дышишь мне в лицо инфекцией проказы —
И не роса, а гной ложится на проказы...

Я видел: воспалясь от тренья добела,
Вселенную лотков коверкала пила,—

И, грянув каблуком по ведрам и по крынкам,
Шла революция по ярмаркам и рынкам,

Вооруженная, как нужно, до зубов,
На синие мешки индюшечьих зобов...

Она сдирала шерсть с рогатого отродья,
Швыряла медные колбасные ободья,

Ломала надвое стальные брусья щук
И грудью рушила за рундуком рундук...

Тяжелым пламенем захлестывая шири,
Она разбила вдрызг лотошный рай Эсфири

И в Яшку-резника, в большого сорванца,
Пустила несколько золотников свинца...

Ночные маневры

ЕВГ. ЗАБЕЛИН

Самолет, причаливая к тучам,
Поднимает в небе вымпела...
Степь простором
Вздыбилась дремучим,
И закат обуглился до тла.
Затаившись в сумраке весеннем,
Проводами стягивая сон,
Тишину последним донесеньем
Полевой раскинул телефон.
На траве, кострами не согретой,
На седой истоптанной земле
Плавный хвост предсказанной кометы
Опустил прожектор в полумгле...
Он упал за ближним перевалом,
Где, роняя отбрызгами свет,
В темноту ударили сигналом
Голубые молнии ракет.
Вспыхнул залп,
И выпрямились дула,
И свинцовой россыпью острей,
На крутых равнинах разметнуло
Раскаленный ветер батарей.
Слышишь, — пули чокаются звонко,
Вновь снаряды стаей пролетят,
Чтоб шрапнель кружилась над воронкой,
Над огнем расколотых гранат,
Чтоб взметнулись конницы галопом,
И опять в развернутом строю,
Как тогда под дымным Перекопом,
Армия—по выверенным тропам
Проносила молодость свою...
Рвется настежь эхо недолетов,
Меркнут взрывы около реки,
И в упор клыками пулеметов
В этот час глядят броневики.
Снова нам навстречу из-за леса,
Из-за мертвых скорченных стволов,
Дымовая выплыла завеса
Грозовым удушьем облаков.

Здесь они расстреляны навылет,
Здесь слова, отдавшие приказ,
Боевой бессонницей застыли
И легли морщинами у глаз.
Но пускай забредившая кровью
Посреди истлевшей тишины
Ночь встает к степному изголовью
Бестревожным отдыхом страны.
Перед ней в горячем полумраке
На просторах держим караул...
...Догорает зарево атаки,
Орудийный вздрагивает гул.
Гаснет тень, и откликами меди
Сквозь туман
Заржавленных болот
Предрассветный рапорт о победе
Наш горнист полям передает.
Ранний луч в румяной поволоке
Гладит кожу высмугленных щек,
Колосится солнце на востоке,
Спелым солнцем пенится восток.
На полях в пути краснознаменном
Жаркой плахтой выткана роса,
Загорелся утренник по склонам,
И клинками,— в песне о Буденном,
Зазвенев, скрестились голоса;
Через ночь, пройденную походом,
Мы вступаем ротой в лагеря...
Пахнет утро травами и медом,
И плывет гудками по заводам
Громкая Республика моя!

XVI с'езд партии

(26 июня - 13июля — 1930 г.)

М. И. КАЛИНИН

В былые времена, в годы господства царизма, с'езды нашей партии, почти как правило, собирались за границей. Исключение представляет только первый с'езд, который удалось собрать в Минске. Происходил он в маленьком домике, окруженном простым деревянным частоколом. Последующие с'езды, собиравшиеся за границей, проводили свои заседания там, где удобнее было укрыться от преследующего ока царских шпиков и заграничной полиции. Так, например, V Лондонский с'езд заседал в церкви. С тех пор, как правительство и Центральный Комитет переехали в Москву, с'езды нашей партии происходили в Кремле. Вплоть до XV с'езда это было возможно, потому что удавалось находить там соответствующие помещения. Правда, уже XV с'езд пришлось с большим трудом устраивать в наиболее значительном зале Андреевского дворца. Но XVI с'езд уже никак нельзя было организовать в Кремле: не было соответствующих помещений. Судите сами: на XVI с'езд прибыло 1.268 делегатов с правом решающего голоса и 891 — с правом совещательного голоса. Всего, таким образом, на с'езд собралось 2.159 делегатов. Это значит, что они представляли собою 1.260.874 действительных членов партии и 711.609 кандидатов. Всего на 1 мая в партии насчитывалось 1.972.483 члена и кандидата, т.-е. почти 2 миллиона. По сравнению с XV с'ездом на минувшем XVI с'езде делегатов было на 30,1% больше, а в отношении делегатов с решающим голосом — на 41,3%. Это увеличение целиком соответствует численному росту действительных членов партии, который составляет 42,1%. Вот откуда получился такой большой численный состав XVI с'езда партии.

В силу этих обстоятельств Центральный Комитет решил собрать XVI с'езд в Большом театре. К моменту открытия с'езда делегатов и гостей собралось до отказа. Делегаты разместились в партере, в ложах бельэтажа и в первых двух ярусах, а гости заполнили собою почти битком остальные три яруса. Зал заседания имел обычный внешний вид; никаких бутафорских украшений, ни одного транспаранта с лозунгами. И только в глубине сцены стоял гипсовый бюст Ленина, окаймленный у основания цветами, ярко освещенный и окруженный боевыми знаменами различных частей Красной армии. А за стенами Большого театра бушевало огромное море демонстрантов из рабочих, интеллигенции и служащих. Многочисленные их потоки двигались переменными волнами почти по всем радиусам Москвы, чтобы приветствовать большевистский с'езд и демонстрировать свою сплоченность вокруг партии. Характерно, что так было не только в Москве, но и по всему Советскому Союзу. Я бы сказал, что улицы Москвы, особенно те из них, которые непосредственно ведут к Театральной площади, были настроены по-

праздничному. Нечто подобное, лишь в меньших масштабах, наблюдалось в окружных и областных центрах, когда там собирались окружные и областные конференции.

Массы тянулись к Большому театру... И это понятно: здесь собрался штаб большевиков, здесь—мозг и сердце рабочего класса, через которые пролетариат реализует свои социальные идеалы. Этот штаб внешне не блистал особой колоритностью и нарядностью. Подобно своему классу, он производил впечатление серого чугунного слитка. Но под этим однообразием, несомненно, имеются люди талантов и выдающихся способностей. Правда, постороннему глазу было бы трудно их разглядеть. Никто не выделялся ни манерой обращения, ни своеобразной жестикуляцией, ни режущей глаза позой. Все выглядели более или менее одинаково. Среди всей этой массы трудно было разглядеть даже вождей нашей партии. То же самое можно сказать о выступлениях и речах участников с'езда. Не было здесь феерического ораторства, пышных фраз, обворожительных жестов и потрясающих воздух восклицаний. Каждого оратора больше всего интересовала суть дела и только в последнюю очередь оформление своей речи.

Открывая с'езд, я обратился к делегатам с небольшой речью, в которой кратко обобщил итоги нашей работы. «Если бы мы пожелали сейчас обобщить и коротко выразить все результаты социалистического строительства за последние два с половиной года, то, мне кажется, что не найти наиболее правильной и наиболее выразительной формулы этих успехов, чем лозунг, впервые выдвинутый т. Сталиным в речи на конференции аграрников-марксистов, т.-е. лозунг о сплошной коллективизации сельского хозяйства и ликвидации кулачества, как класса». И в самом деле, в этом лозунге, как в фокусе, сконцентрированы все наши успехи и достижения. Здесь в первую очередь отражается завоеванный и закрепленный размах индустриализации страны, без чего немыслимо было бы выдвигать этот лозунг. «Если можно так выразиться, — говорил я далее, — этим лозунгом прямо и непосредственно наша партия поставлена перед гигантской задачей подлинного социалистического строительства со всем об'емом величайших трудностей, которые несет в себе эта историческая работа. Поэтому не удивительно, что на почве практических затруднений раздаются отдельные голоса, в которых сквозит боязнь этих трудностей и в которых отражается шарахание перед ними то вправо, то влево. Партия решительно борется с этим шараханием, и я не сомневаюсь, что с'езд положит предел подобным колебаниям. Да здравствует победоносное социалистическое строительство! Да здравствует Всесоюзная коммунистическая партия большевиков и ее XVI с'езд!»

После сконструирования президиума и других органов с'езда начались приветствия от многочисленных делегаций, прибывших с разных концов Советского Союза. И в дальнейшем, на протяжении всего с'езда, пришлось заслушивать приветствия чуть ли не каждый день или, по крайней мере, через день, потому что накапливались все новые и новые делегации. Пожалуй, не найти ни одной республики, ни одной области, от которых не было бы делегаций. С'езд приветствовали представители и от заводов, и от колхозов, и от разных групп интеллигенции. Все они в один голос выражали свое сочувствие делу широкого социалистического строительства и свою непоколебимую готовность претворить в жизнь решения XVI с'езда партии. Такая демонстрация чрезвычайно знаменательна. Она показывает прежде всего, насколько расширилось и окрепло влияние нашей партии в самых глубоких толщах рабочего класса и трудящихся, насколько близки и понятны массам руководящие лозунги социалистического строительства, выдвинутые в последнее время нашей партией. Здесь, конечно, нет возможности привести все эти приветствия, как великолепные иллюстрации настроения трудовых масс. Для этих целей достаточно будет следующей

небольшой выдержки из речи тов. Келлера, представителя Всесоюзной ассоциации работников науки и техники, организовавшейся на платформе активного содействия социалистическому строительству. «Мы много занимаемся, — говорил он в своем приветствии, — производительными силами нашей страны, в том числе и полезными ископаемыми. Но ведь главная производительная сила, это — человек, человек физического труда. При капитализме трудящийся был погребен в цепях политического и экономического рабства, под толстой корой нищеты и невежества. Только в нашей стране встает свободной эта главная производительная сила — пролетарии. Что это значит для науки? Вспомните, от Ломоносова до Мичурина прошло почти два века, а теперь из крестьянских писем многие из нас, и я в том числе, уже чувствуем приближение многих сотен и тысяч Ломоносовых и Мичуриных из народной среды, из рабфаков, из батрацких курсов. Но эти Ломоносовы и Мичурины будут иметь в руках могучее оружие, они становятся сейчас на стройку новой марксистской науки и новой социалистической культуры. Как могут на этот великий порыв, великое стремление к знаниям, к технике, как могут ответить на это ученые, которые любят свою науку? Ответ только один: мы отдаем и себя самих и нашу науку в крепкие пролетарские руки. Мы знаем, что эти руки не выдадут, что они поведут науку к неслыханному и невиданному размаху и расцвету. Но мы знаем, конечно, какие перед нами трудности! Ведь мы идем по новым путям, не испытанным еще человечеством. Но эти трудности мы преодолеваем и будем преодолевать к великому изумлению наших врагов, потому что мы возбудили новые силы, те силы, перед которыми дрожит буржуазный мир. Главная сила, это — творчество масс, вооруженных знанием, и здесь проявляются чудеса социализма, чудеса, которым изумляется весь мир. Разве не одно из чудес социализма, что он старых, седых ученых, ушедших в свои кабинеты, в книги, в лаборатории, снова вызывает из их академической отчужденности на стройку жизни и делает их молодыми партийцами? В заключение я хочу подчеркнуть очень простую суть нашей декларации работников науки и техники, об'единенных в Варнитсо, и наш ответ тем врагам Советского Союза, которые кричат, что у нас разрушается культура. Этот ответ прост: мы приходим в коммунистическую партию для того, чтобы свои силы, свои знания, себя самих и свою жизнь отдать рабочему классу для великой стройки социализма».

* * *

Деловая работа с'езда началась политическим докладом от ЦК тов. Сталина. Начал тов. Сталин с характеристики состояния мирового капитализма и внешнего положения Советского Союза. «Если охарактеризовать в двух словах истекший период, — говорил он, — его можно было бы назвать периодом п е р е л о м н ы м. Он был переломным не только для нас, для СССР, но и для капиталистических стран всего мира. Но между этими двумя переломами существует коренная разница. В то время, как перелом этот означал для СССР поворот в сторону нового, более серьезного экономического п о д'е м а, для капиталистических стран перелом означал поворот к экономическому у п а д к у. У нас, в СССР, р а с т у щ и й п о д'е м социалистического строительства и в промышленности и в сельском хозяйстве. У них, у капиталистов, р а с т у щ и й к р и з и с экономики и в промышленности и в сельском хозяйстве».

Самым главным последствием мирового экономического кризиса надо считать обнажение и обострение противоречий, присущих мировому капитализму. Именно на этой почве обнажаются и обостряются противоречия между важнейшими империалистическими странами, которые все больше и больше втягиваются в борьбу за рынки сбыта, в борьбу за сырье и в борьбу за вывоз капитала. Затем обнажаются и будут обостряться проти-

воречия между странами-победительницами и странами-побежденными. Далее, обнажаются и обостряются противоречия между империалистическими государствами, с одной стороны, колониальными и зависимыми странами — с другой. «Растущий экономический кризис не может не усилить нажима империалистов на колонии и зависимые страны, представляющие основные рынки сбыта и сырья. И действительно, нажим усиливается до последней степени. Это факт, что европейская буржуазия находится теперь в состоянии войны со «своими» колониями в Индии, в Индо-Китае, в Индонезии, в Северной Африке. Это факт, что «независимый» Китай уже поделен фактически на сферы влияния, а генеральские клики контрреволюционных гоминдановцев, воюя между собой и разоряя китайский народ, выполняют волю своих хозяев из империалистического лагеря.

Нужно считать окончательно проваленной лживую версию о том, что работники русских посольств в Китае являются виновниками нарушения «мира и спокойствия» в Китае. Русских посольств давно уже нет ни в Южном, ни в Среднем Китае.

Но зато имеются английские, японские, германские, американские и всякие иные посольства. Русских посольств давно уже нет ни в Южном, ни в Среднем Китае. Но зато имеются немецкие, английские и японские военные советники при воюющих китайских генералах. Русских посольств давно уже нет там. Но зато имеются английские, американские, немецкие, чехо-словацкие и всякие иные орудия, винтовки, аэропланы, танки, отравляющие газы. И что же? Вместо «мира и спокойствия» мы имеем теперь в Южном и Среднем Китае самую разнузданную и самую разорительную генеральскую войну, финансируемую и инструктируемую «цивилизованными» государствами Европы и Америки. Получается довольно пикантная картина «цивилизаторской» работы капиталистических государств. Неизвестно только, при чем тут русские большевики».

Наконец, обнажились и обострились противоречия между буржуазией и пролетариатом в капиталистических странах. Все эти факты говорят о том, что стабилизации капитализма приходит конец, что под'ем революционного движения масс будет нарастать с новой силой, что мировой экономический кризис будет перерастать в ряде стран в кризис политический. Дальнейшее нарастание и усиление противоречий между капиталистическим миром в целом и Советским Союзом. При этом он предупредил, что «это противоречие не есть противоречие внутрикапиталистического порядка. Оно есть противоречие между капитализмом в целом и между страной строящегося социализма. Но это не мешает ему разлагать и расшатывать самые основы капитализма. Более того, оно вскрывает до корней все противоречия капитализма и собирает их в один узел, превращая их в вопрос жизни и смерти самих капиталистических порядков. Поэтому каждый раз, когда капиталистические противоречия начинают обостряться, буржуазия обращает свои взоры в сторону СССР: нельзя ли разрешить то или иное противоречие капитализма или все противоречия, вместе взятые, за счет СССР, этой страны советов, цитадели революции, революционизующей одним своим существованием рабочий класс и колонии, мешающей наладить новую войну, мешающей переделить мир по-новому, мешающей хозяйничать на своем обширном внутреннем рынке, так необходимом капиталистам особенно теперь, в связи с экономическим кризисом. Отсюда тенденция к авантюристским наскокам на СССР и к интервенции, которая (тенденция) должна усилиться в связи с развертывающимся экономическим кризисом». В качестве самой яркой выразительницы такого курса по отношению к Советскому Союзу т. Сталин совершенно естественно назвал Францию — «родину любвеобильной «пан-Европы», «колыбель» пакта Келлога, самую агрессивную и милитаристскую страну из всех агрессивных и милитаристских стран мира».

«Внутреннее положение нашей страны представляет картину растуще-

го под'ема народного хозяйства и прогрессивного сокращения безработицы. Выросла и ускорила темпы своего развития крупная промышленность. Окрепла тяжелая промышленность. Социалистический сектор промышленности продвинулся далеко вперед. Выросла новая сила в сельском хозяйстве — совхозы и колхозы. Если года два назад мы имели кризис зернового производства и опирались в своей хлебозаготовительной работе главным образом на индивидуальное хозяйство, то теперь центр тяжести переместился на совхозы и колхозы, а зерновой кризис можно считать в основном разрешенным. Основные массы крестьянства окончательно повернули в сторону колхозов. Сопротивление кулачества отбито. Внутреннее положение СССР еще более упрочилось».

Промышленность. — За последние три года ее валовая продукция увеличилась на 77,5%. Что касается сельского хозяйства, взятого в целом, то здесь этот рост за тот же промежуток времени составил только 7—8%. Средний годовой прирост всего народного дохода за отчетные три года составляет более 15%, а за текущий 1929—30 г. он составит, вероятно, не меньше 20%. Здесь мы имеем, несомненно, рекордный темп, ибо в Северо-Американских Соединенных Штатах, Англии и Германии средний годовой прирост народного дохода составляет не более 3—8%.

Особенного внимания заслуживают наши успехи в области индустриализации страны. Если в довоенное время доля промышленности в валовой продукции народного хозяйства составляла 42,1%, то в заканчивающемся хозяйственном году она составит, по всем данным, не менее 53%, а все остальное, т.-е. сельское хозяйство, — не более 47%. Нечего и говорить, что в области товарной продукции народного хозяйства получается еще более резкий перевес в пользу промышленности. Но самым ярким показателем роста индустриализации, безусловно, является систематическое увеличение удельного веса производства орудий и средств производства в общей продукции промышленности. Удельный вес промышленности начинает уже возобладать над удельным весом сельского хозяйства, и мы находимся накануне превращения из страны аграрной в страну индустриальную.

Мы идем вперед ускоренным темпом, догоняя в технико-экономическом отношении передовые капиталистические страны. Это не значит, конечно, что мы уже догнали их в смысле размеров производства, что наша промышленность уже достигла уровня развития промышленности передовых капиталистических стран. Нет, далеко еще не значит. Темп развития промышленности и уровень развития промышленности нельзя смешивать друг с другом. И в самом деле. Возьмите, например, продукцию электроэнергии. В этом отношении Советский Союз остается далеко позади Северо-Американских Соединенных Штатов, Канады, Германии и Италии. Или, например, производство чугуна. По этой линии мы до сих пор плетемся в хвосте Северо-Американских Соединенных Штатов, Германии, Франции и Англии. Следовательно, «мы дьявольски отстали в смысле уровня развития нашей промышленности от передовых капиталистических стран; только дальнейшее ускорение темпа развития нашей промышленности даст нам возможность догнать и перегнать в технико-экономическом отношении передовые капиталистические страны; люди, болтающие о необходимости снижения темпа развития нашей промышленности, являются врагами социализма, агентами наших классовых врагов».

В области сельского хозяйства наши успехи неизмеримо скромнее. Так, например, посевные площади зерновых культур только в текущем году составят 105,1% от довоенного уровня. Валовая продукция зерновых культур поднимется, вероятно, до 110% от довоенной нормы, а товарная часть — менее 73%. Что касается животноводства, то здесь нам еще далеко до довоенного уровня. В этом году лошади составят 88,6%, крупный рогатый скот — 89,1%, овцы и козы — 87,1%, свиньи — 60,1% от нормы 1916 г. При таких усло-

виях, конечно, еще более неутешительная картина получается с точки зрения товарного выхода животноводства, особенно по линии мяса и сала.

«Мы имеем, таким образом, явные признаки неустойчивости и экономической ненадежности мелкого и малотоварного хозяйства по животноводству». Подводя итог анализу состояния сельского хозяйства, тов. Сталин наметил следующие проблемы: «1) проблема упрочения положения технических культур путем обеспечения соответствующим районам достаточного количества дешевых хлебных продуктов; 2) проблема поднятия животноводства и разрешения мясного вопроса путем обеспечения соответствующим районам достаточного количества зерновых продуктов и кормов; 3) проблема окончательного разрешения вопроса о зерновом хозяйстве, как главного вопроса сельского хозяйства в данный момент. Выходит, что зерновая проблема является основным звеном в системе сельского хозяйства и ключом к разрешению всех других проблем последнего. Но разрешить зерновую проблему и вывести тем самым сельское хозяйство на путь серьезного под'ема — это значит ликвидировать в корне отсталость сельского хозяйства, вооружить его тракторами и сельхозмашинами, снабдить его новыми кадрами научных работников, поднять производительность труда, увеличить товарность. Без этих условий нечего и мечтать о разрешении зерновой проблемы. Возможно ли осуществить все эти условия на базе мелкого индивидуального крестьянского хозяйства? Нет, невозможно. Невозможно, так как мелкое крестьянское хозяйство не в силах принять и освоить новую технику, не в силах поднять в достаточной степени производительность труда, не в силах увеличить в достаточной мере товарность сельского хозяйства. Остается один путь, путь укрупнения сельского хозяйства, путь насаждения крупных хозяйств, вооруженных современной техникой. Но советская страна не может стать на путь организации крупных капиталистических хозяйств. Она может и должна пойти лишь на организацию крупных хозяйств социалистического типа, вооруженных новой техникой. Такими хозяйствами и являются у нас совхозы и колхозы. Отсюда задача—насаждение совхозов и об'единение мелких крестьянских хозяйств в крупные коллективные хозяйства, как единственный путь разрешения проблемы сельского хозяйства вообще, зерновой проблемы в особенности». Именно этот путь и усвоила наша партия, особенно после XV с'езда, тем более потому, что во второй половине 1929 года наметился резкий поворот крестьянства в сторону коллективизации.

Поворот этот был подготовлен всем ходом развития нашей индустрии и прежде всего той ее отрасли, которая производит машины для сельского хозяйства. Далее, этот поворот был подготовлен развитием сельскохозяйственной кооперации. Наконец, этот поворот был подготовлен сетью колхозов и совхозов, вооруженных новой техникой. Как известно, крутой перелом в области совхозного строительства был связан с постановлением Политбюро ЦК в апреле 1928 года об организации в 3—4 года новых совхозов с таким расчетом, чтобы они могли дать к концу этого срока не менее 1.640 тыс. тонн товарного хлеба. В действительности оказалось, что мы с успехом перевыполнили эту наметку. Если взять развитие посевных площадей зерновых совхозов, то к концу пятилетки один только Зернотрест будет иметь столько же посевной площади зерновых, сколько имеет теперь вся Аргентина. А если взять целиком все совхозы, то они будут иметь к концу пятилетки на 1 млн. гект. больше посевной площади зерновых, чем имеет теперь вся Канада. В области колхозного строительства нами достигнуты еще большие успехи В результате целого ряда финансово-экономических и организационных мероприятий посевная площадь колхозов в текущем году достигла более 36 млн. гект., считая яровой и озимый клин. Таким образом, за 3 года колхозная посевная площадь выросла более чем в 40 раз. Это зна-

чит, что у наших колхозов теперь приблизительно столько же посевной площади, сколько во Франции и Италии, вместе взятых. Как видите, темпы прямо ошеломительные.

Достигнув таких колоссальных успехов в области социалистического строительства, мы тем самым уже заложили основу для коренного улучшения материального и культурного положения рабоче-крестьянских масс. Это улучшение, бесспорно, началось уже теперь. Вот, например, положение рабочего класса. За три года численность лиц наемного труда увеличилась более чем на 2 миллиона человек, при этом один только 1929—30 год дает прирост в 700 тысяч человек. Безработица, по самым осторожным расчетам, сократилась к 1 мая тек. года более чем на 42%. А теперь посмотрите, как обстоит дело с распределением народного дохода по классам в нашей стране. На долю рабочих и трудящихся крестьян, не эксплоатирующих чужого труда, в этом году приходится 77,1% всего народного дохода; на долю кулаков и городских капиталистов — 1,8%; на долю прочих (имеются в виду пенсии) — 1,5%. А как обстоит дело в капиталистических странах? Оказывается, что на долю рабочих и прочих трудящихся города и деревни, не эксплоатирующих чужого труда, приходится в Германии только 55% народного дохода, в Северо-Американских Соединенных Штатах — 54%, в Англии — 45%. Доля же капиталистов в Германии составляет 45%, в Северо-Американских Соединенных Штатах — 46%, в Англии — 55%. «Выходит, таким образом, что в то время, как в передовых капиталистических странах доля эксплоататорских классов в народном доходе составляет около 50%, а то и больше того, у нас, в СССР, доля эксплоататорских классов составляет не более 2% народного дохода... Вот где, — говорит т. Сталин, — источник силы и авторитета советской власти среди миллионов рабочего класса и крестьянства. Вот где основа систематического роста материального благосостояния рабочих и крестьян СССР».

Отсюда становится вполне понятным систематическое увеличение реальной заработной платы рабочих. Учитывая соцстрах и отчисления от прибылей в фонд улучшения быта рабочих, можно признать установленным, что реальная заработная плата достигла 167% сравнительно с довоенным уровнем. «Это значит, конечно,—справедливо указывает тов. Сталин, — что уже сделано все необходимое для серьезного увеличения реальной заработной платы, что нельзя было поднять реальную заработную плату на более высокую ступень». В связи с этим он сделал ряд совершенно заслуженных упреков по адресу нашей кооперации и заметил, что «аппарат кооперации более всего заботится об авансе, в виду чего слишком туго идет на снижение розничных цен, несмотря на категорические директивы со стороны руководящих центров. Выходит, что кооперация действует в данном случае не как социалистический сектор, а как своеобразный сектор, зараженный неким нэпманским духом».

Относительно помощи крестьянам как индивидуальным, так и колхозным докладчик сообщил следующие данные: по линии кредита и государственного бюджета за последние 3 года было отпущено 4 миллиарда рублей, одной только семенной ссуды и по другим видам помощи этого рода было выдано крестьянам за тот же период времени не менее 2.570 тысяч тонн зерна. Принимая все это во внимание, можно сказать, что «рабочие и крестьяне живут у нас в общем неплохо, смертность населения уменьшилась по сравнению с довоенным временем на 36% по общей и на 42,5% по детской линии, а ежегодный прирост населения составляет у нас более 3 миллионов душ».

Известные достижения за последние 3 года обозначились у нас также и в области культурного положения рабочих и крестьян. Но, разумеется, они ни в коем случае не могут нас удовлетворить, ибо они далеко не соответствуют действительным потребностям масс и размаху очередных наших задач в области социалистического строительства. «Главное теперь, — сказал тов. Сталин, — перейти на обя-

зательное первоначальное обучение. Я говорю «главное», так как такой переход означал бы решающий шаг в деле культурной революции. А перейти к этому делу давно пора, ибо мы имеем теперь все необходимое для организации всеобщего первоначального образования в подавляющем большинстве районов СССР. До сего времени мы вынуждены были «экономить на всем, даже на школах» для того, чтобы «спасти, восстановить тяжелую промышленность» (Ленин). За последнее время, однако, мы уже восстановили тяжелую промышленность и двигаем ее дальше. Следовательно, настало время, когда мы должны взяться за организацию всеобщего обязательного первоначального образования».

Перечисленные успехи достигнуты не без трудностей, но «наши трудности являются не трудностями упадка или трудностями застоя, а трудностями роста, трудностями подъема, трудностями продвижения вперед... Это значит, что наши трудности являются такими трудностями, которые сами содержат в себе возможность их преодоления. А как можно побороть трудности? Уже из самой сущности и характера трудностей неумолимо следует, что это можно сделать лишь одним способом, а именно: организовать наступление на капиталистические элементы по всему фронту и изолировать оппортунистические элементы в наших собственных рядах, мешающие наступлению, мечущиеся в панике из стороны в сторону и вносящие в партию неуверенность в победе. Других средств нет. Только люди, потерявшие голову, могут искать выхода в ребяческой формуле тов. Бухарина о мирном врастании капиталистических элементов в социализм. Развитие шло у нас и продолжает итти по формуле т. Ленина — «кто кого». Мы ли их, эксплоататоров, сомнем и подавим, или они нас, рабочих и крестьян СССР, сомнут и подавят,— так стоит вопрос, товарищи. Итак, организация наступления социализма по всему фронту, — вот какая задача встала перед нами при развертывании работы по реконструкции всего народного хозяйства». В этом лозунге заключается вся суть исторического значения XVI с'езда партии. Это есть главная ось, вокруг которой вращаются все решения с'езда.

В третьей и последней части своего доклада тов. Сталин рассматривал вопросы партийной жизни. В первую очередь он остановился на руководстве социалистическим строительством со стороны партии и нашего Центрального Комитета. «Работа ЦК в этой области,— говорит тов. Сталин, — шла главным образом по линии исправления и уточнения пятилетнего плана в смысле увеличения темпов и сокращения сроков, по линии проверки исполнения установленных заданий хозяйственными организациями». Далее он привел несколько основных постановлений ЦК, исправляющих пятилетний план в духе повышения темпов строительства и сокращения сроков исполнения, по черной металлургии, тракторостроению, автостроению, цветной металлургии, сельхозмашиностроению, комбайностроению, совхозному строительству и колхозному движению. Затем он подверг уничтожающей критике троцкистскую постановку вопроса о темпах индустриализации и знаменитую «потухающую кривую» развития нашей промышленности. «Эта теория есть теория оправдания нашей отсталости. Она не имеет ничего общего с марксизмом, с ленинизмом. Она есть буржуазная теория, рассчитанная на то, чтобы закрепить отсталость нашей страны. Из людей, имевших или имеющих отношение к нашей партии, эту теорию отстаивают и проповедуют лишь троцкисты и, пожалуй, правые уклонисты. О троцкистах существует мнение, как о сверх-индустриалистах. Но это мнение правильно лишь отчасти. Оно правильно лишь постольку, поскольку речь идет о конце восстановительного периода, когда троцкисты, действительно, развивали сверх-индустриалистские фантазии. Что касается реконструктивного периода, то троцкисты, с точки зрения темпов, являются самыми крайними минимали-

стами и самыми поганенькими капитулянтами».

«Капитулянтство на деле, как содержание, «левые» фразы и «революционно»-авантюристические замашки, как форма, прикрывающая и рекламирующая капитулянтское содержание, — таково существо троцкизма». Что касается правого оппортунизма, то основное его зло «состоит в том, что он разрывает с ленинским пониманием классовой борьбы и скатывается на точку зрения мелкобуржуазного либерализма». Характеризуя перспективы дальнейшего развития партии, тов Сталин указал: «Задача состоит в том, чтобы продолжать и впредь непримиримую борьбу на два фронта как с «левыми», представляющими мелкобуржуазный радикализм, так и с правыми, представляющими мелкобуржуазный либерализм. Задача состоит в том, чтобы продолжать и впредь непримиримую борьбу с теми примиренческими элементами в партии, которые не понимают или делают вид, что не понимают необходимости решительной борьбы на два фронта».

Наконец, отдельно тов. Сталин коснулся имеющихся в партии уклонов в области национального вопроса. Какие это уклоны? Во-первых, это — уклон к великорусскому шовинизму. Во-вторых, это — уклон к местному национализму. В чем состоит существо уклона к великорусскому шовинизму? Существо этого уклона «состоит в стремлении обойти национальные различия языка, культуры, быта; в стремлении подготовить ликвидацию национальных республик и областей; в стремлении подорвать принцип национального равноправия и развенчать политику партии по национализации аппарата, национализации прессы, школы и других государственных и общественных организаций». В чем состоит существо уклона к местному национализму? Существо этого уклона «состоит в стремлении обособиться и замкнуться в рамках своей национальной скорлупы, в стремлении затушевать классовые противоречия внутри своей нации, в стремлении защититься от великорусского шовинизма путем отхода от общего потока социалистического строительства, в стремлении не видеть того, что сближает и соединяет трудящиеся массы национальностей СССР, и видеть лишь то, что может их отдалить друг от друга».

Надо признаться, что изложение доклада тов. Сталина представляет величайшую трудность. Несмотря на огромные размеры доклада, развитие мысли в нем крайне динамично. Сокращая доклад, мы тем самым вырываем ряд положений, мыслей и директив. Но с этим еще можно было бы мириться. Главное — это то, что Сталина трудно передать, ибо на его речи лежит отпечаток сталинской стилистики, которая придает лишь ему присущую своеобразность и сохранить которую очень трудно. Впрочем, дело легко можно поправить: взять, да и обратиться к оригиналу.

Еще при жизни Ленина установился такой порядок, что с'езду партии представлялось два отчета—политический и организационный. Разумеется, во времена подполья такого подразделения не было и не могло быть. Это понятно, потому что в те времена партийная работа имела несравненно меньший размах. К тому же большевики испокон веков придавали огромное значение организационной работе, так как это есть самое верное обеспечение политики вообще. После Октябрьской революции организационная работа партии развернулась в колоссальных размерах. А что делается теперь, в период напряженного социалистического строительства? Теперь значение этой работы поднялось еще больше, масштабы ее расширились, об'екты организационного воздействия умножились. Поэтому одному человеку совершенно не под силу сделать с'езду политический и организационный отчет Центрального Комитета.

На XVI с'езде партии организационный доклад делал тов. Каганович, один из секретарей Центрального Комитета. «Организационная работа ЦК,— сказал он,— была подчинена генеральной линии нашей партии и задачам

социалистического строительства». В центре внимания партии стояли следующие основные политические задачи: обеспечение быстрых темпов индустриализации страны; социалистическое переустройство сельского хозяйства и ликвидация кулачества, как класса; перестройка и укрепление органов диктатуры пролетариата; обеспечение боеспособности партии, идейное и организационное укрепление ее рядов, как важнейшее условие осуществления этих задач. Для обеспечения быстрых темпов индустриализации страны требуется прежде всего соответствующая организованность рабочего класса. Как здесь обстоит дело? Какими приводными ремнями располагает партия для организационного воздействия на рабочий класс, а через него — на остальные слои трудового населения? Из обильного фактического материала, приведенного докладчиком, выяснилась следующая картина. Профсоюзы за отчетный период выросли на 10,9%, хотя охват профсоюзным членством довольно-таки серьезно отстает от бурного роста общей численности рабочего класса. Вероятно, не меньше 20% пролетариев еще до сих пор не охвачены профсоюзами. Делегатский корпус женщин-работниц насчитывает в своих рядах 107 тысяч человек. Осоавиахим почти удвоился и об'единяет в настоящее время свыше 5 миллионов человек. МОПР вырос с 3.630 тыс. до 4.015 тыс. чел. Союз безбожников охватывает 2.500 тыс. чел. Комсомол об'единяет 2.466 тыс. чел., увеличив свои ряды более чем на 500 тыс. чел. В Красной армии прослойка рабочих поднялась до 23,4%, коммунистов — до 4,4% и комсомольцев — до 18,1%. Число рабкоров увеличилось с 115 тыс. до 532 тыс. чел. Пионерская организация выросла на 100% и насчитывает в настоящее время свыше 3.300 тыс. человек.

«Отчетный период,—говорит далее тов. Каганович, — характеризуется бурным трудовым под'емом рабочего класса». Вслед за этим он привел огромное количество соответствующих иллюстраций. По данным Госплана, социалистическим соревнованием в настоящее время охвачено 87% рабочих, а ударничеством — 48% рабочих обследованных предприятий. Самая высокая волна ударнического движения началась после ленинского призыва. Это новое и чрезвычайно знаменательное явление в жизни рабочего класса повелительно ставит вопрос о перестройке работы производственных совещаний с таким расчетом, чтобы перенести центр тяжести их работы в цехи. В связи с этим должна подвергнуться коренной перестройке вся система пролетарских организаций. В первую очередь необходимо перестроиться нашим профсоюзам. Ряд фактов свидетельствует о том, что профсоюзы до самого последнего времени сильно отставали от движения рабочих масс. Больше всего в этом отношении грешило старое руководство ВЦСПС, которое исходило из оппортунистических установок. После смены руководства ВЦСПС в работе профсоюзов наметился определенный перелом, и они начали поворачиваться лицом к производству. Особенно резко этот поворот выразился на перевыборах завкомов металлистов, куда избрано большинство ударников.

Далее тов. Каганович остановился на перестройке комсомольской и партийной работы на предприятиях. В этой связи он выпятил задачу правильной организации партийной и комсомольской работы в основных подразделениях цеха, для чего необходимо произвести соответствующее перераспределение коммунистов и комсомольцев по предприятию. Как известно, транспорт представляет собою одно из самых узких мест в нашем народном хозяйстве. В связи с этим докладчик наметил ряд боевых задач в области партийной работы на транспорте.

«Руководство строительством новой советской социалистической деревни,— сказал тов. Каганович, — занимало важнейшее место в работе нашей партии». За эти годы наша партия чрезвычайно тщательно изучила деревню. По самым приблизительным подсчетам, за отчетный период в деревню было послано партией около 250 тыс. чел. Большой размах получила за это вре-

мя шефская работа. Неотложная задача по этой линии заключается в том, чтобы обеспечить партии своевременную сигнализацию о недостатках и ошибках работы в деревне. Далее тов. Каганович отметил значительный рост числа квалифицированных рабочих в деревне. Так, например, в одних только зерносовхозах в настоящее время насчитывается свыше 70 тыс. квалифицированных рабочих. Что касается организации батрачества, то в этом отношении налицо несомненные успехи. Союз сельскохозяйственных рабочих сейчас об'единяет около 1.630 тыс. членов. Точно так же успешно продвигается вперед организация бедноты. Всего в деревне по учтенным 14 областям насчитывается 24 тыс. групп деревенской бедноты.

Решительный поворот основных масс крестьянства в сторону коллективизации ставит на очередь дня вопрос о перестройке всех деревенских организаций с таким расчетом, чтобы по-настоящему повернуть их лицом к социалистическому переустройству деревни.

Много внимания в докладе было уделено вопросам культурной революции. Только в самое последнее время мы вплотную подошли к решению этих вопросов. Дело не в том, что партия недооценивала значения культуры (теперь такой взгляд находит мало сторонников даже за границей, а внутри СССР, вероятно, уже никто так не думает), а в том, что раньше наше внимание было целиком поглощено вопросами хозяйственного строительства, наши усилия раньше были направлены на восстановление крупной промышленности, во имя которой приходилось экономить решительно на всем. Поэтому не удивительно, например, что в 1927—28 году мы обучили только 800 тысяч неграмотных. Зато теперь намечается резкий поворот. Уже в 1929—30 году нам удалось обучить 10½ миллионов неграмотных.

За отчетных период несомненные сдвиги обозначались и в области улучшения состава советского аппарата, что было достигнуто посредством вовлечения новых рабочих. Развилась новая форма борьбы рабочих за улучшение госаппарата — шефство предприятий над учреждениями. Плохо обстоит дело с коренизацией кадров в отсталых республиках и областях. Серьезным препятствием здесь является великодержавное отношение к вопросу о подготовке национальных кадров со стороны ряда учреждений.

Последнюю часть своего доклада тов. Каганович посвятил анализу руководящей роли партии и рассмотрению важнейших вопросов обеспечения ее боеспособности как в идейном, так и в организационном отношениях. За последние 3 года значительно улучшилась система практического руководства местами. Центральный Комитет обследовал за это время 71 партийную организацию и заслушал 64 доклада. На места было послано 80 оргпартгрупп в количестве 1.845 человек. В общей сложности за это время было 162 выезда 66 членов и кандидатов Центрального Комитета, которые пробыли на местах 115 месяцев. Через Центральный Комитет было послано в распоряжение местных организаций 11 тыс. работников. Уменьшилось циркулярное руководство: если к XV с'езду было выпущено 70 циркуляров, то к XVI — только 37.

Значительные успехи были достигнуты в области идейно-теоретического уровня членов партии. Это было обеспечено ростом сети партийного просвещения, стационарных совпартшкол и комвузов. Широкое развитие и применение получила за отчетный период самокритика. В огромной степени повысилась активность членов партии. Широко развернулась внутрипартийная демократия. Особое внимание тов. Каганович уделил некоторым фактам разложения в ряде организаций, подверг критике правооппортунистический подход к внутрипартийной демократии и заострил задачу вскрытия не только гнойников, но и обстановки, благоприятствующей созреванию этих гнойников.

Вслед за тов. Кагановичем с отчетом Центральной ревизионной комиссии выступил тов. Владимирский. В своем докладе он остановился глав-

ным образом на том, что было внесено нового в работу аппарата ЦК, в какой степени работа этого аппарата отвечала тем новым задачам, которые были поставлены перед партией, и в особенности — на новой форме работы центрального аппарата.

На основе всех этих отчетов развернулись широкие прения. Высказалось около 100 ораторов. Поэтому трудно остановиться даже в самых кратких чертах на каждом выступлении. Достаточно будет сказать, что красной нитью через все выступления проходила беспощадная критика правых уклонистов. Каждый оратор требовал от бывших лидеров правого уклона не только раскаяния и большевистского признания своих ошибок, но и практической работы, которая бы служила доказательством, что они действительно отказались от своих оппортунистических взглядов, что они действительно согласны с генеральной линией партии, что их заявления не являются политическими маневрами. Затем последовали выступления т.т. Рыкова, Томского и Угланова, которые защищались, признавались и уверяли, что они полностью и целиком поддерживают политику партии. Но нельзя сказать, чтобы с'езд был удовлетворен этими об'яснениями и заверениями бывших лидеров правого уклона. Совсем не выступал на с'езде т. Бухарин, который незадолго перед тем уехал на юг лечиться. Достаточное внимание в прениях было уделено «левому» уклону и антисередняцким загибщикам. Критика уклонов от генеральной линии партии была стержнем всех прений по отчету Центрального Комитета. Но это не значит, что выступление каждого оратора сводилось только к этой критике. На ряду с этим каждый останавливался на каком-нибудь особом вопросе. Так, например, следует обратить внимание на выступление тов. Андреева. С моей точки зрения, он очень хорошо подошел к вопросу о практических путях осуществления коллективизации. Видно было, что человек знает это дело и накопил достаточный практический опыт. Серьезного внимания заслуживает обширная речь тов. Ворошилова, посвященная вопросам обороны. Заключительным словом тов. Сталина закончилось обсуждение отчета Центрального Комитета партии. В принятой единогласно резолюции XVI с'езд одобрил целиком и полностью всю предыдущую деятельность Центрального Комитета и наметил основные линии для работы в дальнейшем.

* * *

Следующим пунктом повестки дня был отчет Центральной контрольной комиссии. Докладчиком выступил председатель ЦКК тов. Орджоникидзе. Если система советской власти является совершенно новой формой государственного управления и ни одно ее звено не похоже на звенья капиталистической системы власти, то еще в в большей мере это можно сказать относительно нашей ЦКК—РКИ, которая имеет исключительную оригинальность даже с точки зрения советского государственного строя. Основной отличительной особенностью ЦКК—РКИ является то обстоятельство, что она представляет собою орган, одновременно и партийный и советский. Правда, вначале она действовала больше, как партийный орган, и только в последнее время в ЦКК—РКИ получили должный удельный вес элементы советского порядка. Таким образом, хотя архитектурный план построения ЦКК—РКИ был дан еще Лениным в его предсмертных статьях, но только теперь она окончательно оформилась и заняла подобающее ей место в партии и советской системе. Возросшая сила и роль ЦКК—РКИ весьма удачно была отображена в докладе тов. Орджоникидзе. «За этот период, — начал он, — партии пришлось преодолеть громадные трудности как хозяйственного, так и внутрипартийного характера... Поставленный Ленинным вопрос «кто кого» решался теперь избранием того или иного темпа нашего развития... От правильного решения темпов развития нашего социалистического хозяйства, от правильного решения вопросов развития сельского хозяйства, вопроса борьбы с кулаком,

вопросов классовой борьбы решалась судьба Октябрьской революции, судьба советской власти... Политика троцкизма и правых одинаково в конечном результате ведет к расколу между рабочим классом и крестьянством. Политика и тех и других не только не укрепляет смычку между рабочим классом и крестьянством, не только не усиливает доверия крестьянства к рабочему классу, не только не укрепляет руководства рабочего класса крестьянством в советском государстве, но, наоборот, их политика ведет к подрыву доверия крестьянства к рабочему классу и тем самым ведет к гибели диктатуры пролетариата в нашей стране». После этой исчерпывающей критики правых уклонистов и троцкистов тов. Орджоникидзе перешел к обзору очень богатых результатов изучения узловых вопросов нашего народного хозяйства в связи с контролем исполнения пятилетнего плана. За отчетный период изучение коснулось черной металлургии, судостроения, хлопчатобумажной промышленности, хлопководства, нефтяной промышленности, тракторостроения, трие-ростроения, лесной промышленности, станкостроения, арматурного дела, паровозостроения, стройматериалов, железорудной промышленности, дизелестроения, текстильного машиностроения, угольной промышленности, торфа и др. Как правило, в результате обследований ЦКК—РКИ, программы соответствующих отраслей народного хозяйства значительно увеличивались. «Тут может быть, — говорит т. Орджоникидзе, — задан такой вопрос: чорт вас дери, какими чудесными силами вы обладаете, что как куда ни пойдете, сейчас же увеличиваете программу?!! Никакими особенными силами мы не обладаем, товарищи. Обладаем преданными, честными коммунистами и несколькими специалистами, в том числе и иностранными... Я должен заявить здесь, что вся работа, которую мы проводили, проводилась главным образом вместе с теми товарищами, которые в данной области непосредственно работают. Вернее сказать, вначале у нас были отчаянные перепалки, но, в конце концов, дело решалось решением ЦК». «Таким образом, ЦКК—РКИ развернула огромную работу по линии выявления и беспощадного уничтожения всего отрицательного, что мешает поступательному ходу развития нашего народного хозяйства». «Работа ЦКК—РКИ и впредь должна продолжаться по линии мобилизации всех наших внутренних ресурсов. Надо добиваться того, чтобы ни один станок, ни одна машина, ни один квадратный метр площади наших фабрик и заводов не оставались неиспользованными. Борьба за режим экономии, борьба за полное использование старого оборудования, за его рационализацию остается в полной силе на сегодняшний день. Все силы должны быть направлены к тому, чтобы строительство фабрик, заводов, станций, дорог, на которое мы тратим громадные средства, было по качеству и темпам не только не ниже таких же предприятий Америки и Европы, а превосходило их».

Вторую часть своего доклада т. Орджоникидзе посвятил работе ЦКК—РКИ в области улучшения советского государственного аппарата. «Государство наше, это — государство переходного времени. Аппарат этого государства, как он ни плох, он все-таки наш аппарат. Поэтому было бы нелепо и абсолютно неправильно, если бы мы, видя все безобразие нашего госаппарата, его бюрократические извращения, повторяли бы то, что было правильно до Октябрьской революции — сломать, разбить аппарат... Мы должны переделать аппарат наш, упростить и удешевить его, поставить его под контроль рабочих масс, привести в соответствие с нашей экономикой. Владимир Ильич сказал, что наш аппарат должен быть настолько прост, чтобы каждый рабочий мог принять участие в управлении государством. Что мы имеем в этом отношении? Нечего, конечно, говорить, что нам еще очень далеко до ильичевской установки. Аппарат наш до сих пор дорог, бюрократичен, неуклюж, громоздок, но кое-что уже сделано, и нам кажется, что пути полного его оздоровления найдены. Все расту-

щее социалистическое хозяйство само подсказывает эти пути. То, что вчера еще казалось необходимым и неизбежным, сегодня становится совершенно излишним; больше того: оно становится помехой, тормозом для дальнейшего развития». Дальше следует ряд примеров: акцизная система, таможни, налоговая система, кредит и др.

Много внимания ЦКК—РКИ уделила изучению результатов районирования. По этой линии был внесен ряд серьезных коррективов. На очередь дня становится вопрос об упорядочении работы областных и краевых учреждений. Скверно обстоит у нас дело с торговым аппаратом. Особенно тревожным является состояние заграничных торговых органов. По директиве ЦК был разработан Рабкрином план реорганизации заграничного торгового аппарата. В результате этот аппарат был сокращен почти наполовину.

Известная засоренность нашего советского аппарата понудила партию поставить вопрос о чистке. Пока что эта работа только началась. Уже первые результаты чистки показывают, что представляется возможным произвести значительное сокращение и упрощение некоторых учреждений. Для иллюстрации тов. Орджоникидзе приводит ряд примеров: Мосфинотдел, Центросоюз, Наркомфин СССР, Наркомфин РСФСР, НКПС, ВСНХ РСФСР, Наркомзем РСФСР, Наркомторг РСФСР, Наркомпрос РСФСР, МОНО, МСНХ, Мосземотдел, финаппарат Сибирского края, Уральское облзу и др.

В последней части своего доклада тов. Орджоникидзе остановился на вопросах внутрипартийной жизни. За отчетный период была проведена чистка партии. По неполным данным, проверено 1.554.000 коммунистов. Исключено из них 130.500 человек, что составляет 10,2%. В 1921 году было исключено 30,3%. Добровольно и механически выбыло за это время 18.800 человек, что составляет 1,3%. Исключено было партколлегией 34.000 человек за разные проступки.

В заключение была изложена история борьбы разных уклонистов против партии. В этой борьбе они требовали от ЦКК, чтобы она заняла позицию какой-то обывательской справедливости. «Мы считаем себя большевиками, — сказал тов. Орджоникидзе, — и в решении политических вопросов нашей партии мы ни в коем случае не можем занять какую-то обывательскую политику... Малейшие колебания единства партии со стороны оппозиции, будь ли это правая, будь ли это «левая» оппозиция, всегда встретят со стороны всей партии и в первую очередь со стороны ЦКК самый сокрушительный отпор».

В развернувшихся прениях по отчету ЦКК—РКИ следует отметить речь т. Енукидзе о советском строительстве и о переходе всей оперативной работы в районы, в связи с ликвидацией округов.

* * *

Последним из отчетных докладов был заслушан отчет русской делегации в Коминтерне. Докладчиком выступал т. Молотов. На основе анализа мирового экономического кризиса он показал правильность политической линии Коминтерна в борьбе с правым уклоном. Затем он обрисовал противоречия, раздирающие систему мирового капитализма, уделив при этом особенное внимание развитию противоречий между капиталистическими странами и колониями. Одной из наиболее важных частей доклада т. Молотова, по-моему, является раздел, в котором он подробно разбирает роль социал-демократии в системе господства буржуазии. «Буржуазия не может и теперь отказаться от метода «либерализма», от метода коалиции с социал-демократией. Но и сама социал-демократия все быстрее идет по пути фашизации, по пути срастания социал-демократического или реформистского профсоюзного аппарата с фашизирующимся буржуазным государством... В результате обострения противоречий капитализма буржуазия для удержания своего господства все более пользуется методами насилия, методом открытой диктатуры. Метод не-

посредственной диктатуры буржуазии находит свое выражение в фашизме. В обстановке углубляющегося кризиса капитализма и растущей угрозы пролетарской революции буржуазия стремится все больше использовать метод фашизма для подавления революционного движения... В свою очередь социал-демократия, как главная опора империалистической буржуазии в рабочем классе, также идет по пути фашистского перерождения. Она уже выработала для этого соответствующую идеологию. Сущность этой идеологии заключается в безусловном подчинении интересов рабочего класса интересам сохранения буржуазного государства». В качестве иллюстрации тов. Молотов приводит выдержку из статьи лидера австрийской социал-демократии К. Реннера. Еще усерднее эту идеологию развивает известный французский социалист Поль Бонкур, который «гордится» больше всего тем, что он на первое место ставит интересы «национальной защиты», т.-е. интересы французского империализма. Не мудрено поэтому, что вся социал-демократия связывает судьбу свою с интересами сохранения буржуазного господства. «Итак, — заключает тов. Молотов, — социал-демократия готова на все, чтобы бороться за «сохранение высшего целого», за сохранение капитализма, за сохранение господства буржуазии. Разумеется, капиталисты это прекрасно учитывают и широко пользуются услугами социал-демократии. Германская буржуазия, достаточно использовавшая против рабочих правительство Миллера и теперь прогнавшая его прочь для более широкого использования другого метода нажима на рабочих, все же высоко ценит услуги социал-демократии. Не даром и теперь 22 полицей-президентских поста в Германии заняты социал-демократами». Далее тов. Молотов переходит к рассмотрению и критики правых и «левых» ошибок в вопросе о борьбе с социал-фашизмом. Для правых элементов в Коминтерне характерно отрицание перерождения социал-демократии в социал-фашизм. Это вполне естественно, поскольку они защищают политику блока с социал-демократией. «Левые» элементы в Коминтерне, напротив, не понимают разницы между социал-демократическими рабочими и социал-фашистской бюрократией. Для позиции, например, германских «левых» чрезвычайно характерен следующий лозунг: «Гоните маленьких Цергибелей из предприятий и профсоюзов». «Борьба с «левым» сектантством, — говорит т. Молотов,— является необходимой предпосылкой окончательного преодоления право-оппортунистических колебаний в вопросе о борьбе с социал-демократией. Она необходима для того, чтобы до конца разоблачить социал-демократию, как «рабочую» партию финансового капитала, и оторвать от нее на сторону коммунизма основные массы социал-демократических рабочих».

Очень подробно в докладе был освещен процесс нарастания революционного под'ема. В заключение тов. Молотов наметил новые задачи перед секциями Коминтерна. В связи с усилением расшатывания капиталистической стабилизации и ростом полевения пролетарских масс Коминтерн выдвинул лозунг: «Класс против класса». Этот лозунг является определяющим для всей тактики компартий. «Эта тактика — класс против класса — означала переход компартий к осуществлению на деле самостоятельного руководства классовыми боями в непримиримой и развернутой по всему фронту борьбе против социал-демократии». Сейчас, вероятно, ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что влияние компартий в рабочих массах значительно усилилось. Но далеко неудовлетворительным является организационное закрепление этого влияния. «И никогда еще слабость организационной работы компартий не сказывалась так сильно, как теперь, когда перед секциями Коминтерна стоят задачи самостоятельной организации и руководства развертывающимися классовыми боями пролетариата... На каждом шагу сказывается неумение связать свою практическую работу с

революционной политикой коммунизма и неумение организационно закрепить влияние компартий в массах. А без такого закрепления нельзя обеспечить дальнейших серьезных успехов компартий».

В прениях по отчету русской делегации в Коминтерне выступало много представителей братских коммунистических партий. Все они солидаризировались с докладом т. Молотова и останавливались на особых задачах, стоящих перед их партиями. Вместе с тем они основательно занимались самокритикой. Из наших русских товарищей с большой речью выступил тов. Мануильский, который говорил об организационной слабости иностранных компартий и о практических способах преодоления этой слабости. О работе Профинтерна говорил тов. Лозовский.

* * *

Таким образом, 20 заседаний с'езда были заняты заслушиванием и обсуждением отчетов.

На 21 заседании с'езд заслушал доклад тов. Куйбышева о выполнении пятилетнего плана промышленности. Исходные моменты и принципиальные соображения относительно развития социалистической промышленности были развиты в докладе т. Сталина. Поэтому тов. Куйбышеву пришлось сосредоточить свое внимание на выяснении задач практического порядка. В первую очередь он доложил с'езду о ходе выполнения строительной программы, намеченной пятилетним планом; потом о состоянии энергетической базы и о выполнении плана электрификации страны; далее о развитии тяжелой и легкой индустрии, подвергнув при этом особому рассмотрению состояние машиностроительной промышленности и ход работы по организации новых производств; наконец, положение отраслей промышленности, связанных с сельским хозяйством, и перспективы дальнейшего их развития. Исходя из того, что в настоящее время большую роль в промышленности играет научно-исследовательская работа, тов. Куйбышев подробно осветил деятельность научно-технических учреждений и научно-исследовательских институтов. Бюджет этих органов научно-исследовательской работы в настоящее время составляет 108,6 млн. рублей. Сеть институтов насчитывает 50 единиц. Что сделали наши институты? Например, тепло-технический институт дал метод эффективного сжигания подмосковного угля. Торфяной институт дал послойно-поверхностный способ добычи торфа. Институт прикладной минералогии разработал метод получения серы и серной кислоты из сернистого газа, в огромном количестве вылетающего в воздух при плавке медистых перитов. Институтом по удобрениям разведан целый ряд богатых и экономически выгодных рождений фосфоритов. Большую роль наши институты сыграли в разрешении проблемы аллюминия. Этими данными далеко не исчерпывается перечень серьезных достижений научно - исследовательской работы в промышленности. Но и сказанного достаточно, чтобы показать, как обстоит здесь дело. Более подробные данные читатель может найти в самом докладе.

Очень интересную картину нарисовал тов. Куйбышев в области географического размещения промышленности. Так, например, Урал ориентировочно к концу пятилетия должен увеличить продукцию по группе тяжелой индустрии более чем в десять раз. На базе собственной металлургии он превратится в крупный район машиностроения и химической промышленности. Сибирь представляет собою район, которому будущее сулит бурные темпы развития. По предварительным наметкам, вся промышленная продукция Сибири увеличится в четырнадцать раз, а по группе тяжелой индустрии — в двадцать раз. Не менее широкие перспективы открываются также и перед Казакстаном, который таит в себе огромные богатства в области цветной металлургии, угля, каучуконосов, технических культур и т. д. Продукция Казакстана, по

новым проектировкам, должна возрасти к концу пятилетия в пятнадцать раз. «Само собой разумеется, — говорит тов. Куйбышев, — что повышение удельного веса Урала и Сибири в экономике страны не означает снижения развития темпов промышленности таких районов, как Ленинградский, Московский, Ивановский и другие. Они должны развиваться не меньшими темпами, которыми они развивались до сих пор, а по целому ряду отраслей промышленности, скажем, по машиностроению, по энергетике, они должны развиваться более быстрыми темпами. Наконец, такие районы, как Средняя Волга, Нижняя Волга, ЦЧО, Нижегородская область, Северный Край с его неисчерпаемыми лесными богатствами тоже должны будут иметь большие темпы развития. Но тем не менее мы в этой политике географического размещения промышленности должны по-большевистски твердо выдержать то, что сейчас стоит на очереди как важнейшая проблема исторического значения — это создание нового угольного и металлургического центра, второй угольной и металлургической базы на Урале и в Сибири».

Значительную часть своего доклада тов. Куйбышев посвятил рассмотрению качественных показателей работы промышленности и тех резервов, которые имеются в промышленности для ускорения темпов работы. В этой связи он остановился в первую очередь на себестоимости. Ряд отраслей промышленности с плановыми заданиями в этом отношении справляется сравнительно удовлетворительно. «Это свидетельствует о том, что задание по снижению себестоимости по всей промышленности является выполнимым в том случае, если лучше работать, если этому участку нашей борьбы уделить достаточно сил и внимания». Но в большинстве случаев эти плановые задания остаются далеко и далеко недовыполненными. «Урон, нанесенный промышленности вследствие недовыполнения задания, столь значителен, что для компенсации потерь во втором полугодии текущего года потребуется совершенно исключительное напряжение. Во втором полугодии необходимо снизить себестоимость на 16 проц. против того уровня, который достигнут в первом полугодии. Только при этом условии можно будет выполнить годовое задание». Дальше тов. Куйбышев перешел к рассмотрению вопроса о качестве продукции. Он привел ряд примеров, показывающих значительное ухудшение в этом отношении: литейный чугун, кровельное железо, бандажи и т. д. Примеры эти говорят о том, что «на этом важнейшем участке хозяйственной работы должен быть сделан коренной перелом. Работа по решительному улучшению качества продукции должна в первую очередь опираться на вовлечение широчайших масс трудящихся в это дело, используя для этого новые формы организации производства и труда, социалистическое соревнование и ударничество». Следующий вопрос, связанный с качественными показателями работы промышленности, это—вопрос о производительности труда. Тов. Куйбышев привел ряд интересных сравнительных данных, которые показывают, насколько мы отстаем в этом отношении от передовых капиталистических стран. В Северо-Американских Соединенных Штатах, например, выработка на одного рабочего по чугуну в шесть раз больше, чем у нас. Основные причины этой нашей отсталости сводятся к следующему: недостаточный уровень развития техники, слабое руководство и инструктаж со стороны инженерно - технического персонала, огромная текучесть рабочего состава и др. В качестве главнейшей задачи на предстоящий период работы промышленности т. Куйбышев выдвинул рационализацию. «У нас имеются огромные резервы и в смысле дополнительного выпуска продукции, и в смысле снижения себестоимости, и в смысле повышения производительности труда, и в смысле улучшения качества продукции. Важнейшим средством в деле выполнения всех качественных показателей является социалистическая рационали-

зация, идущая в основном по линии наилучшего использования наличного оборудования и внедрения новейших достижений мировой техники. Рационализация должна стать основной задачей дня, важнейшим рычагом снижения себестоимости и улучшения качества». В заключение тов. Куйбышев остановился на проблеме кадров и на активности рабочих масс.

В прениях по этому докладу выступали главным образом наши промышленники и председатели областных исполкомов. Из отдельных выступлений следует обратить внимание на речь тов. Уншлихта, который остановился на проблеме химизации страны и на задачах в области производства моторов; потом на речь тов. Розенгольца, который осветил некоторые проблемы машиностроения и борьбы за качество работы промышленности; наконец, на очень интересную речь тов. Осинского, заострившего внимание с'езда на важнейших вопросах автостроения.

В двадцать пятом заседании с'езд заслушал обширный доклад тов. Яковлева о колхозном движении и подъеме сельского хозяйства. Начал он с анализа двух путей создания крупного хозяйства в земледелии: американского и советского. «Едва ли кто-либо может оспаривать тот факт, — говорит он, — что символом развертывающейся в сельском хозяйстве капиталистических стран технической революции может быть рядовой фермер, раздавленный тяжелым гусеничным трактором». Вот сущность американского пути создания крупного хозяйства в земледелии. А что представляет собой советский путь? Это есть путь об'единения мелких крестьян, путь организации крупных государственных хозяйств. Следовательно, этот путь исключает разорение и поглощение мелких производителей. Создание крупного сельскохозяйственного производства у нас развертывается с быстротой, невиданной в истории человечества и недоступной капитализму. Для того, чтобы стала ясна суть того, что происходит в сельском хозяйстве Советского Союза, «сопоставим по посевной площади зерновых и по размерам товарного хлеба роль различных классовых групп по трем датам: до войны, в 1927 году и в 1930 году. Оказывается: помещик и кулак в довоенное время засевали около 35 млн. га зерновых, кулак в 1927 г. имел посев зерновых примерно 10 млн. га, а в настоящую весну, в первую весну массового колхозного сева, мы в результате об'единения шести млн. крестьянских хозяйств в колхозы имеем посевную площадь зерновых в обобществленном секторе около 35 млн. га. Следовательно, в итоге первой весны массового колхозного сева совхозы и колхозы по посевной площади зерновых заменили дореволюционных кулака и помещика, превысив в несколько раз размеры кулацкого сева, имевшего место три года назад». Особенный интерес представляет вопрос о производительности колхозного труда. Ответ мы находим в следующих даных: посевы крестьян, об'единившихся в колхозы, выросли по сравнению с их прошлогодними посевами на 45 проц., а по отдельным районам прирост доходит до 100 проц. «В Соединенных Штатах Северной Америки миллион тракторов, усваиваемых крупным капиталистическим хозяйством, в течение десятилетия дал прирост посевной площади в четыре миллиона гектаров. Только четыре миллиона гектаров! У нас же, при неизмеримо меньшем количестве стальных коней, в большинстве же при простом сложении старых крестьянских средств производства, колхозники увеличили свою посевную площадь против того, что у них было в единоличном хозяйстве, на двенадцать миллионов гектаров». Выводы и сопоставления американского и советского путей создания крупного крестьянского хозяйства в земледелии напрашиваются сами собою.

Дальше тов. Яковлев перешел к характеристике новых задач в области развития сельского хозяйства Советского Союза. Сюда относится: коренной пересмотр сельскохозяйственной пятилетки, развитие животноводства

на основе совхозов и колхозов, создание кормовой базы, окончательное разрешение проблемы зерна, форсированное развитие хлопководства и льноводства, машинизация сельского хозяйства и друг. Необходимость коренного плана сельскохозяйственного развития вытекает из того, что по целому ряду основных отраслей мы уже перевыполнили или заканчиваем выполнение пятилетки. Что касается актуальности проблемы животноводства, то здесь не приходится особенно распространяться. Я ограничусь только перспективами, которые обеспечиваются в этом отношении намеченными мероприятиями. Недавно организованный трест «Свиновод» должен дать товарной продукции: в 1930—31 г. — 400 тыс. голов, в 1931—1932 г. — не менее 3 млн. голов и в 1932—33 г. — не менее 7 млн. голов. По линии «Скотовода» намечено довести число голов стада: в 1930—1931 г. — до 3.200 тыс. голов, в 1931 — 1932 г. — до 5.500 тыс. голов, в 1932 — 1933 г. — до 10 млн. голов. Вопрос о создании кормовой базы был заострен на съезде потому, что это является решающим условием успешного развития животноводства. «Вся пятилетка сельскохозяйственного развития СССР должна быть пересмотрена таким образом, чтобы было дополнительно обеспечено по меньшей мере 40 млн. гектаров под кормовыми культурами... Если мы эту программу осознаем во всей ее широте, если мы за осуществление этой программы возьмемся с такой же силой и энергией, с какими мы решали и решаем зерновую проблему, если мы полностью обеспечим осуществление этой программы, не останавливаясь ни перед какими трудностями, ни перед какими расходами, — мы эту новую задачу новой пятилетки — расширение площади кормовых культур на 40 млн. га и проведение мероприятий по улучшению лугов и пастбищ на всей их территории,—несомненно, полностью осуществим, тем самым обеспечив полную возможность решить задачу удвоения наших мясных и молочных ресурсов». Как решается зерновая проблема, теперь уже известно достаточно широко. Здесь необходимо только отметить специальные задачи по расширению земельных угодий для оформления пшеничной полосы. Огромные возможности в этом отношении имеются в Среднем Поволжье, Казакстане и Сибири. «Всего по ЦЧО, Заволжью, Средней и Нижней Волге, Казакстану, Юго-Западной Сибири и восточной части УССР к концу пятилетки можно рассчитывать поднять под пшеницу дополнительно 20—25 млн. гектаров, что вместе с пшеницей Украины, на которую пока падает почетная роль главной пшеничной житницы СССР, позволит поднять потребление пшеницы в нашей стране до уровня, достойного нашей страны». Вопрос о развитии хлопководства, льноводства и других технических культур представляет собою наиболее узкое место нашей легкой индустрии. Без разрешения этого вопроса мы не можем двинуть вперед легкую индустрию и увеличить продукцию предметов широкого потребления.

Последнюю часть своего доклада тов. Яковлев посвятил выяснению необходимых организационных мероприятий для укрепления и дальнейшего развития колхозов. Здесь он рассмотрел следующие вопросы: о середняке, о неравенстве среди членов артели, о батрацко-бедняцких группах, о взаимоотношениях колхозников с единоличниками, о добровольности и условиях выхода из колхоза, о различных формах колхозов и о кадрах. «Отныне в важнейших зерновых районах СССР деревня делится на две основные части: на колхозников, являющихся действительной и прочной опорой советской власти, и на неколхозников из бедноты и середняков, пока не желающих войти в колхоз, но которых массовый опыт колхозов, несомненно, убедит в относительно кратчайшие сроки в необходимости вступить на путь коллективизации».

В прениях по докладу тов. Яковлева успели высказаться около трех десятков ораторов. Особо я рекомендовал бы обратить внимание на речь

тов. Буденного, который говорил о коневодстве. Выдвинутые им задачи являются такими, мимо которых никак нельзя пройти. Деловито выступала колхозница Панченко, рассказавшая с'езду о недостатках в сельском хозяйстве. Наркомзем РСФСР т. Муралов остановил внимание с'езда на вопросах специализации сельскохозяйственных районов и на практических мероприятиях по подготовке массового колхозного движения в незерновых областях. Другие ораторы развивали основные положения доклада т. Яковлева и его тезисов.

* * *

В двадцать восьмом заседании с'езд заслушал последний доклад. Это доклад тов. Шверника о задачах профсоюзов в реконструктивный период. В первой части своего доклада он рассказал историю борьбы с правыми оппортунистами в профсоюзах. «В эпоху великого перелома и наступления по всему фронту социализма на капитализм старое руководство профдвижением СССР оказалось неспособным понять задачи пролетарской диктатуры в реконструктивный период, заняло антиленинские позиции по всем коренным вопросам профдвижения». Если посмотреть на работу профсоюзов до смены старого руководства, то здесь было много похожего на работу западно-европейских профсоюзов. А между тем роль и задачи профсоюзов при советской власти — это совсем не то, что роль и задачи профсоюзов при власти капиталистов. Наши профсоюзы обязаны систематически воспитывать у рабочих совершенно иное отношение к работе, чем это должно быть в капиталистических странах. Если там усердие в труде ведет к усилению эксплоатации и закабалению рабочих, то у нас это означает рост материального благосостояния рабочих и укрепление социализма. Поэтому «основной и главной задачей профсоюзов на нынешнем этапе является умение возглавить и развить движение широких рабочих масс за социалистическое строительство, за реконструкцию промышленности и социалистическую переделку сельского хозяйства, за полное выкорчевывание корней капитализма. Профсоюзы должны стать во главе движения за социалистическое соревнование и ударничество, должны на опыте ударников переводить социалистическое строительство на более высокую ступень. Новое социалистическое общество может быть создано и упрочено только усилиями миллионов трудящихся. Профсоюзы как самая широкая пролетарская массовая организация должны мобилизовать десятки миллионов для осуществления задач этого строительства». Вот в чем заключается сущность нового этапа в развитии профсоюзов СССР. Этого-то как раз и не поняло старое руководство ВЦСПС.

В связи с необходимостью решительного поворота профсоюзов лицом к производству, тов. Шверник наметил ряд практических задач в области развития социалистического соревнования и ударничества; охарактеризовал роль производственного совещания, как организующего центра социалистического соревнования и ударничества. В реконструктивный период профсоюзы должны развернуть огромную работу в области подготовки квалифицированных рабочих и технических кадров. «Намеченные пятилеткой темпы развития промышленности требуют исключительного внимания профсоюзов к вопросу подготовки квалифицированных рабочих. Мы должны отметить, —говорит тов. Шверник,—что в этой области недооценка со стороны хозяйственных и профсоюзных органов проблемы подготовки квалифицированных рабочих и сейчас имеет еще место».

За последнее время профсоюзы провели серьезную работу в деревне, приняв непосредственное участие в хлебозаготовках, организации колхозного движения, посевной кампании и т. д. Теперь они располагают большим опытом участия в социалистической реконструкции сельского хозяйства. «Опираясь на достижения проф-

союзов в деревне в деле помощи совхозному и колхозному строительству, необходимо расширить этот опыт. Работа всех профсоюзов должна быть поставлена лицом к социалистической переделке сельского хозяйства, в связи с задачами социалистической реконструкции сельского хозяйства и ликвидации кулачества, как класса, на базе сплошной коллективизации».

Дальше тов. Шверник перешел к рассмотрению вопроса об улучшении материального положения и быта рабочих. Несомненные достижения, имеющиеся в этом отношении, были возможны на почве серьезных успехов в деле социалистического строительства. Вот почему «необходимо всемерно усилить работу профсоюзов по социалистическому воспитанию рабочих масс и широко пропагандировать идею о том, что советские фабрики, заводы, шахты, рудники, железные дороги и прочие пути сообщения являются предприятиями социалистического типа, что они представляют общенародное достояние, что от роста и процветания этих предприятий зависит рост благосостояния рабочих масс, усиление политической мощи рабочего класса, успешное строительство социалистического общества и окончательная победа рабочего класса, являющегося господствующим классом СССР».

В последней части своего доклада тов. Шверник остановился на задачах культурно-политической работы профсоюзов, на руководящих принципах перестройки всей профсоюзной деятельности и на важнейших вопросах международной работы профсоюзов.

В прениях по этому докладу выступило около десяти ораторов. Все они развивали основные положения, выдвинутые докладчиком, и рассказывали о практической работе профсоюзов в новых условиях.

Последним пунктом порядка дня стоял вопрос о выборах руководящих органов партии. Перед самым закрытием с'езда были оглашены результаты выборов и окончательно утверждены все резолюции. Закрывая с'езд, я обратился к делегатам с заключительной речью, в которой подвел общие итоги его работы.

* * *

Даже из настоящего беглого описания XVI с'езда партии видно, насколько велика работа, им проделанная, и какое значение будут иметь для дальнейших судеб нашей страны его постановления. Сила этих постановлений заключается не только в том, что они приняты авторитетнейшим органом партии, но и в том еще, что они были выношены и глубоко продуманы всей двухмиллионной армией большевиков в предс'ездовский период. Больше того: еще задолго до с'езда намеченные проекты его постановлений широко обсуждались в массах рабочего класса и трудящегося крестьянства. Следовательно, постановления XVI с'езда партии представляют собою результат напряженной и вдумчивой работы подавляющего большинства граждан Советского Союза. Можно ли после этого удивляться, что эти постановления встречают теперь, при более детальной проработке, и полное сочувствие и безоговорочную поддержку в массах населения и в партии?

Большевики научились высоко ценить решения своих с'ездов и самоотверженно проводить их в жизнь. Для большевика постановление с'езда его партии — это не только боевой приказ, который необходимо исполнять не за страх, а за совесть. Это еще и обязательная для члена партии установка на ряд политических вопросов, в которых до с'езда могли быть различные толкования. С'езд для большевика—высшая инстанция, которая окончательно на данный период времени решает вопросы, и члены партии в своих практических решениях должны исходить из глубокого их существа.

Каждый с'езд нашей партии выдвигает на передний план какие-нибудь центральные задачи, решению которых должно быть подчинено все второстепенное. XVI с'езд партии принял ряд постановлений по важнейшим вопросам политики и хозяйства. Не

останавливаясь на них детально, мне все же хочется отметить наиболее актуальные из них.

Первая и основная задача, выдвинутая XVI с'ездом, — это дальнейшее развертывание социалистического наступления по всему фронту как в городе, так и в деревне. Та задача, за которую нас особенно ненавидит буржуазия, против которой восстает весь капиталистический мир и благодаря постепенному претворению которой в жизнь весь социал-реформизм открыто перешел на защиту мира эксплоататоров против наступающего коммунизма.

С этой главной задачей неразрывно связана задача дальнейшего укрепления обороноспособности нашей страны и обеспечения мира. Я не сомневаюсь, что не только члены партии и комсомола, но и подавляющее большинство граждан Союза считают важнейшей обязанностью охранять нашу страну. С'езд требует не только этого, это само собой очевидно, а чтобы каждый гражданин в своей практической деятельности не упускал ни одного момента укрепления обороноспособности страны. Что касается борьбы за мир, то ведь в мире нет ни одной политической партии, ни одного правительства, которые бы с таким напором и силой боролись за мир, как коммунистическая партия, и советское правительство. Будем надеяться, что призыв XVI с'езда коммунистическая партия, и совстретит поддержку не только среди рабочих и крестьян зарубежных стран, но и демократической интеллигенции.

Чтобы решительно и последовательно осуществить решения XVI с'езда, необходимо обеспечить полную консолидацию партии и прежде всего ее руководства. Надо отдать должное XVI с'езду партии: в этом вопросе он проявил исключительное единодушие и солидарность. Силой своего подавляющего авторитета, неотразимой аргументацией и ленинским анализом соотношений классовых сил в стране он доказал правильность генеральной линии партии и тем самым повернул в партийное русло многих сомневающихся, колеблющихся, пугающихся огромных трудностей, стоящих перед партией. Партийный с'езд укрепил ряды партии, сцементировал партийное руководство.

С'езд закончил свои работы. У меня нет никаких сомнений в том, что двухмиллионная армия большевиков, опираясь на сочувствие и могучую поддержку рабочих, крестьян и всех честных граждан Союза, минимум на 100 проц. выполнит его директивы.

Люди и факты

1. Макс ЗИНГЕР. Горючий камень. — 2. Всеволод ЛЕБЕДЕВ. Лопари. — 3. Ник. СМИРНОВ. Теплый стан.

1. ГОРЮЧИЙ КАМЕНЬ

Макс Зингер

Существует предание, будто бы Петру Первому во время его похода к Азову и Таганрогу люди принесли «горючий камень» и рассказали о его богатейшем местонахождении.

Повертев в руках огромный кусок каменного угля, Петр сказал: «Сей минерал, ежели не нам, то потомству нашему полезен будет».

ЧЕРНЫЙ МУРАВЕЙНИК

У ствола

— Обратитесь в трест! Я вас не могу пропустить в шахту. Мы сами едва дышим. Номера грозят обвалом. Ствол не в порядке. Дотянуть бы до первого мая, а там закрываем рудник на месяц. Первого июня, после ремонта, пожалуйте, а сейчас не могу, не имею права, — категорически заявил технорук шахты номер первый.

На дворе у здания, где находится ствол для спуска и под'ема в шахту людей, угля и породы, было шумно, как в муравейнике, куда шалун-мальчишка бросил палку.

В шахтерках, парусиновых гимнастерках и штанах, в кожаных шлемах расхаживали углекопы по двору и по шахтному зданию. Одни — в ожидании назначения, другие — в надежде получить расчет и компенсацию за двухнедельный отпуск. Через несколько дней шахта становилась на ремонт, и люди чувствовали себя в Горловке гостями. Десятники едва набирали людей для забоя.

К нам подошел техник рудника Константин Петрович Радин. Что-то монгольское было в его лице. На руднике про него была слава: любит Радин в опасные места ходить. Если где завал или газ показался, Радин обязательно вызывается.— Кто смерти не боится, она того не трогает, — рассказывали шахтеры. В этих словах чувствовалось уважение к своему начальнику.

Большевик Радин сам был из шахтеров. Общественная работа выдвинула его. С малолетства рыскал он по квершлагам и уступам, и не было человека в Горловке, кто бы лучше знал шахту номер первый, чем смелый техник Радин.

— В шахту хотите попасть?—широко улыбаясь, сказал нам Радин. — Что же, это можно! Вы ведь не женщина? Старики говорят, если женщину спустить в шахту, то кого-нибудь обязательно завалит, либо газом стукнет. Вот к этому товарищу подойдите, что у правого окошечка сидит, он и даст вам разрешение. И действительно, нам сразу выдали на руки бумажки.

Мы прошли двором в баню, чтобы раздеться до гола и обрядиться в шахтерки. Через несколько минут мы слились с общим потоком шахтеров.

— У нас в шахте новость! В ходке номер два сегодня забил с необычайной силой гремучий газ — метан. Горно-спасательная станция срочно посылает меня замерять газ в шахте и взять пробы воздуха,— сказал нам во дворе Радин.—Так что вы поступите в мое распоряжение. Я вам всю шахту покажу. Идем лампочки получать!

В ламповом отделении шла зарядка аккумуляторов. Перед тем, как выдать нам лампы, Катя-ламповщица

опробовала их накал, и мы, погасив огни, экономя свет, пошли через двор наверх к стволу для спуска в шахту.

Солнце светило жарко. Капли пота на наших пока еще чистых лицах сверкали, словно росинки. Через несколько минут мы должны были проститься с солнцем и уйти в подземелье. От ствола из раскрытых клетей люди с громом откатывали вагончики, груженые углем. Вагончики шли самокатом к угольным ямам.

Рукоятчик, главный по спуску, дал нам знак, и мы, пригнув головы, влезли в клеть и сели на корточки.

Горизонт двести двадцать

— Сейчас тронемся, — сказал Радин, и я почувствовал на себе его испытующий взгляд.

Недавно, когда на шахте «Мария» оборвался трос и клеть полетела в бездну, лишь двое рабочих остались живы, они, как говорят, спружинили, держась за поручни клети.

На «Марии» была клеть в четыре этажа. Нижние этажи все сплюснуло, а верхние целы остались. Двадцать семь человек погибло из-за обрыва каната.

Я посмотрел на Радина, он держался за поручни, я тоже поднял свою руку.

— Пошли, — сказал Радин. — Сейчас у вас заложит уши, словно ватой.

И правда, кто-то сдавил мне голову, и зашумело, зазвенело в ушах, но только на одно мгновенье. Я инстинктивно открыл рот и снова стал слышать каждый шорох в клети.

— Смотрите вправо, вы будете видеть горизонты,— сказал Радин.

— Горизонт сто сорок! — об'явил один из шахтеров в клети.

— Горизонт сто восемьдесят!

Перед нами промелькнули ярко освещенные туннели, где словно в кадре кинофильмы двигались люди, лошади и вагонетки с углем.

— Горизонт двести двадцать! Вылазь, можно! — и мы вышли на рудничный двор, залитый электрическим светом.

Больше полвека люди вгрызались кайлами в пласты угля, залегавшие здесь этажами. Пласты выбирались из поколения в поколение. Приходили новые люди. Новые разведчики открывали безвестные, богатейшие пласты. Взамен выбранного угля местами бутили пустую породу. Забучивали для того, чтобы не было завалов или оседаний.

Из рудничного двора горизонта двести двадцать мы выбрались в подземную конюшню. Лошади стояли в денниках, словно это было в обобществленной конюшне одного из колхозов Средней Волги.

— И навоз такой же, и бабочки летают, мыши бегают, как и на земле, — сказал Радин.

Мы вышли из конюшни на квершлаг.

Было темно и безжизненно-тихо. Мертвящую тишину вдруг прорезал словно чей-то стон.

— О-а-а-а-а.

Шум нарастал и приближался.

— Партия идет, — обернувшись к нам, сказал Радин.

— Фю-и-и-и-и, — засвистели протяжно где-то впереди нас. Но никого еще не было видно.

— Если вас нагоняет партия сзади, берите влево, если спереди, берите вправо, — пояснял техник.

Впереди замелькали огоньки.

— Поберегись! Вправо бери!—командовал Радин. И мы брали вправо, прижимались к сырой от капежа воды стене квершлага.

С шумом и грохотом проносился поезд из десяти вагонеток, — что называлось партией. Жительница подземелья — лошадь быстро тянула весь поезд.

— Стой! — закричал коногон. — Опять забурилась! Проклятый вагон попал! Пятый раз бурюсь! Никак до ствола не доберешься сегодня! Опять лимонадить будем, в бога мать!

Техник вышел позади партии и стал медленно, но ритмично, словно маятник, размахивать своей лампой. Вслед за этой партией шел другой коногон с десятью вагонетками угля. Это ему техник давал сигнал остановиться.

Я напряженно вглядывался в темноту и вскоре заметил приближавшийся огонек коногона.

— Он не поедет, остановится метрах в десяти, — сказал бурившийся коногон.

И действительно, сигнал техника был принят во-время.

Мы помогли коногону поставить на рельсы соскочивший забурившийся вагончик.

— Пошел! — Коногон протяжно свистнул, и партия тронулась по квершлагу. Вскоре не стало слышно гула вагонеток, подземелье затихло снова.

— Самый отчаянный у нас народ в шахте это — коногоны. А коногона стережет смерть, того и гляди стукнешь лбом о пару со всего хода, ну и дыхать сразу перестанешь.

— Вот пласт Сорока, вот Пята, а вот и Дерезовка! — указывал пласты Радин, посвечивая штейгерской лампочкой.

— В шахте не видать людей, они рубают уголек по забоям и уступам,— сказал Радин. — Двое суток можно ходить по штрекам и квершлагам и всех шахтеров не увидишь. Вот почему и тихо здесь, в нашем подземном городе. Он так велик, что другой забойщик в год его не изучит.

Дыхание смерти

— Стойте! Видите вот эти два обапола? Доски положены крест-накрест. Вход сюда запрещен! Каждого, кто пойдет в этот ходок, ожидает смерть! — И Радин перескочил загородку, будто бы не сказав предостерегающих слов.

На минуту я остановился в нерешительности, но вслед за Радиным также прыгнул в ходок.

— Этот ходок закрещен. И ни один шахтер сюда не войдет. Мы пробивали ходок на пласт Золотарку, из подземной воды вдруг забил газ! Смотрите, это бьет самый страшный газ— метан, гремучий газ! Он рвет все со страшной силой. Его не почуешь носом, и он бесцветен. Раньше, когда я еще мальчишкой был, так, бывало, как зарежет глаз, значит, тут метан. А теперь только по бензиновой лампочке замеряю.

Там, где кончался ходок, внизу, из трещины боковой породы, шипя, словно змея, шел газ. Из подземной воды булькали пузырьки.

— Вы чувствуете что-нибудь?

— Ничего.

— А вот смотрите, мы поднесем сейчас бензиновую лампочку к газу, что станет с ореолом.

Радин укрутил фитиль лампы Вольфа, и только голубая точка света теплилась под стеклом. Ореол, маленький огонек фитиля, вдруг стал подниматься, и вскоре вся лампочка была полна его белым, ярким светом.

— Процентов шесть будет, лошадь свалит а не то что человека, — сказал Радин.

— Сейчас рванет газ, — вдруг подумал я и невольно попятился от замерщика газа.

— Подойдите сюда! Куда вы?—позвал меня Радин, — мы сейчас суфляр замерять будем для горноспасательной станции. Возьмем три пробы.

Я медленно подошел к горному технику.

Свежий воздух с неимоверной силой нагнетался в ходок сквозь особую вентиляционную трубу. Если б не эта струя, человек падал замертво, надышавшись гремучего газа в ходке.

Радин спокойно, словно в просторной и светлой лаборатории, держал стеклянный прибор-бюретку для того, чтобы взять пробу газа.

— Вот я спускаю из этого крана воду, а через этот, открытый сверху кран газ идет в прибор. Мы его берем для исследования.

— Готово!

Мы вышли из ходка на квершлаг.

— Это — выработка снизу вверх по восстанию пласта — капитальные гезенки, — пояснял Радин.

Мы долго хлюпали по грязи и болотцам квершлага. Вдруг Радин присел, освещая перед собою породу и пальцем провел по ней.

— Это бархатная пыль. Впереди от нее словно туман. Весь воздух насыщен ей. Опасное это выделение. Один газ ничего тебе не сделает. Его рванет, но не страшно. А вот вместе с пылью газ становится гигантской

разрушительной силой, сплющивает и гонит вагонетки, убивает людей и лошадей, валит породу. В 1917 году сколько народу погибло из-за этой бархатной пыли. Инженера Чернышена убило, может, слышали—в честь него горноспасательная станция названа. Он пошел спасать людей и задохнулся в шахте.

В первом ходке на пласте Дерезовка в пятнадцати метрах от квершлага, уходившего на Золотарку, работали бурильщики. Пневматические молотки, словно живые, трепетали в их загрубелых и сильных руках. Глубокие шпуры бурлили рабочие, отваливая породу, продираясь к пласту.

— Покажу вам скат. С горизонта двести двадцать на двести шестьдесят по скату валится уголек, где его поджидает партия с коногоном.

— Ты что же это, старик?

— Та ничого!

— Как же так ничего? Ты же спал!

— Та я же не спав, — украинизированным русским языком, каким здесь говорит большинство, оправдывался старик, приставленный к скату затем, чтобы следить, не засорилась бы решотка.

— А еще старый рабочий! А еще кадровый! — донимал его Радин. — Что же молодые-то будут делать, глядя на тебя, они кровати сюда притащат?

— Та я же не спав! — упирался рабочий, — ну как я — настоящий пролетарист и буду спать у номера? Как же это можно? Да что вы, товарищ техник!

— Ай-яй-яй-яй! Ну какой же ты хозяин, тебе только сонному лопату уголька дадут в нюхало из ската, и не проснуться больше.

— Так я же и смотрю все время, того и гляди засыпят. Решотку очищаю. Жигало в скате. А как же?

— Глядите на него! — сказал техник, обращаясь к проходившим шахтерам. — Спит себе человек спокойно у номера!

— Товарищ техник! Кто из нас не грешен, и вы грешны и я грешен, — зло сказал старик.

— У номера — никогда не спал,— гордо отрезал Радин.

Мы вышли из номера. Аккумуляторная лампочка Радина горела слабым накалом и то потухала, то светила мерцающим, тусклым огоньком.

— Ничего, я вас и по темной проведу, — сказал Радин, как бы отвечая на мои мысли.—Прежде чем спуститься на горизонт двести шестьдесят, зайдем в динамитный погреб.

Мы свернули куда-то при затухающем свете лампы.

— Сторож!

— Сторож!

Несколько раз окликнул сторожа Радин.

На двери погреба висел тяжелый медный замок.

— Медный замок, другой вешать опасно. Динамит не любит железа. Железо искру дает. Может рвануть.

Удивительной красоты, вытесанный из породы коридор увел нас прочь от гибельного склада; навстречу нам, размахивая руками, шел какой-то старик, тускло светя шахтерской лампой.

— Ты куда же уходил, старик? — спросил Радин сторожа. — Ты где должен находиться неотлучно?

— У погреба. Да слышу вдруг ваши голоса, я и пошел навстречу.

— Как же ты бросаешь погреб? — не слушая старика, допрашивал Радин. — Разве ты не знаешь, что тут мышь бегает. Разве ты не знаешь, что мыши едят динамит?

— Так они же не едят динамит!

— Мыши едят динамит, и нельзя сторожу уходить от погреба, понял?

— Понял, — сказал старик.

— А что же я с ними буду делать, с мышами?

— А палочкой надо постучать! Палочкой! — сказал Радин.

По стволу мы спустились на горизонт двести шестьдесят.

«Корнет»

— А ну, подтяни чуть, «Корнет». Еще чуть! Стой!

Пустая вагонетка подошла под дучку. Дучковой, выпув доску, словно повернув гигантский кран, пустил в

вагонетку полуметровую струю мелкого угля.

— А ну, подтяни чуть, «Корнет»! Стой! — крикнул коногон.

Это человек разговаривал с лошадью, и лошадь понимала человека. Когда вагонетка наполнялась до краев углем, коногон просил «Корнета» отойти вперед ровно на длину одной вагонетки, что умный конь и делал без кнута и окрика. Дучка открывалась снова, и дучковой лил уголь в пустую вагонетку.

— У нас лошади ученые под землей,—сказал Радин, поглаживая, трепля ладонью «Корнета». Прежде чем спуститься в шахту, они проходят нагора русский язык и четыре действия арифметики. Вы думаете, сейчас у «Корнета» нет дела, вы думаете, что «Корнет» не знает, сколько уже вагонеток загружено. Не такой он конь, чтобы не знать! Вот подведет коногон десятый вагончик под дучку, засыплет угольком и скажет: «готово», — «Корнет» сам потянет к стволу, не дожидаясь свистка.

И впрямь конь дернул партию, когда услышал, что закончена погрузка последнего вагона. «Корнет» отсчитывал в уме загруженные вагоны и знал счет до десяти. — Славный конь «Корнет»!

— Через несколько дней пойдешь на-гора, «Корнет»,—сказал Радин коню. — Шахту ставим в ремонт, и всех коней на-гора будут выдавать.

— Смотрите, — через минуту сказал Радин, — вот просачивается вода. Песчаник, он воду не держит. Это — водоносная трещина на квершлаге.

Показался рудничный двор горизонта двести двадцать. Мы снова у ствола шахты номер один.

Радин потребовал клетку с поверхности особым сигналом рукояти, и вскоре перед нами, лязгнув, остановилась с полного хода тесная кабинка.

— Лезь! Можно!

Мы снова, согнувшись, вошли в клеть.

По уступам

— Я покажу вам, как рубают уголек на уступах. Это что ходить по квершлагу или по штрекам! Посмотрите на себя, вы еще не похожи на шахтеров. Ваше лицо чуть тронуто черной косметикой шахты. Сейчас мы припудрим вас получше.

Техник, видимо, с полной серьезностью решил обучать меня штейгерскому делу, и мы снова хлюпали по грязному квершлагу. Вдруг поднялся такой ветер, что едва не унесло мой шахтерский шлем и очки.

— Это особые вентиляционные машины накачивают сюда свежий воздух, — сказал Радин.

Машины всасывали свежий воздух на поверхности и со страшной силой гнали его на километры вглубь земли по трубам, чтобы освежить легкие забойщикам, коногонам и всем людям, работавшим в шахте номер один. Отработанный воздух уносился прочь из шахты особыми трубами.

Мы подошли к деревянной двери. Дверовой открыл дверь, и воздух с шумом и свистом из одного коридора прорвался в другой. Нужна большая сноровка, чтобы открывать и закрывать эти двери. Они регулировали поступление свежей струи воздуха.

Словно часовой на посту, стоит дверовой и прислушивается к шумам шахты. Вот послышался грохот партии коногона. Нужно во-время открыть дверь, не задержать партию. Если забурилась вагонетка, дверовой помогает коногону ставить на рельсы соскочивший вагон.

Радин остановился перед небольшой лесенкой. Лампочка его едва светила. Моя также. Радин полез наверх.

— Лезьте за мной!— сказал техник.

И я полез в непроглядную тьму, держа одной рукой впереди себя лампочку, а другой хватаясь за стойки. Эти небольшие кругляши не давали возможности породе оседать в том месте, где весь пласт был выбран забойщиками.

Я не знал, куда провалюсь, если оступится нога. Я не видел ничего перед собой и позади себя. На меня Радин сверху сыпал ногами небольшие порции уголька.

— Мы в кутке. Вот забойщик берет уголек. Чем ты рубаешь? — спросил Радин.

— Отбойным молотком.

— А раньше чем рубал?

— Кайлом.

— А чем лучше?

По черному лицу забойщика в ответ скользнула улыбка.

— Сколько ты за свой день должен выбрать уголька?

Забойщик показал рукой.

— А ты кровлю обстукал обушком? Слышишь, она ведь бунит. Закрепи ее, а то сядет на голову, тебя здесь и через неделю не отгребешь, — сказал Радин.

Забойщик, не особенно довольный этими неожиданными расспросами и указаниями, застучал отбойным молотком о пласт.

— Дай-ка я покажу тебе, как надо с ним обращаться, — принял Радин из рук забойщика молоток.

Через несколько минут техник, просверлив несколько отверстий в разных местах пласта, повалил вниз по спуску сразу гору угля.

— Так вы мне скат завалите — потом жигалить целый день придется, — сказал недовольный шахтер.

— Ты не сори, пока не слезем. Я крикну тогда.

И мы поползли по уступам вниз, ссыпая ногами кусочки породы и застрявший местами уголь.

Мы ползли в каком-то угольном самуме, и несколько минут угольная пыль забивала наши ноздри, рот и уши. Отплевываясь, пережевывая угольную пыль, мы спрыгнули на квершлаг и вышли, наконец, к стволу для под'ема на поверхность.

Было нестерпимо жарко здесь под землей, на горизонте двести шестьдесят.

— Отчего здесь так жарко?

— На каждые одиннадцать метров вниз температура поднимается на один градус, — ответил Радин.

У самого конца пути я содрал чем-то кисть правой руки.

— Зайдем в подземный медпункт, это — гордость шахты.

В подземном медпункте толстый, приземистый фельдшер в очках, Семен Николаевич Кукин, несколько минут промывал рану спиртом и перекисью водорода. Очистив порез от угля, он залил его иодом и записал фамилию «больного», род занятий, год рождения.

Мы вышли из этого необычайного медпункта.

По записям фельдшера, за дежурство я был пятым, которому он оказал помощь.

Ночь миновала

Клеть выбросила нас из мрака ночи под ослепительные лучи солнца. Из шумного надшахтного здания, где в тучах угольной пыли носились вагонетки, мы спустились по лестнице. Чернота густыми пятнами лежала на наших шахтерках, страшно ворочались белки, и ярко, словно пламя из черного дыма, горели алые губы, показывая белый частокол зубов. В бане, где каждому полагались ванна и душ, мы видели черные потоки, сходившие с нас, будто мазут из лопнувшей тары. Прозрачная вода в ванне стала густо черной.

Шахтерки сброшены, тела очищены от угольного нароста, мы снова в своих костюмах.

— На вас люди будут пальцами показывать! Ну разве ж так моются?

Мы глянули в кусочек зеркала, висевший на стене. Под нашими глазами был жирный черный грим, характерный для каждого шахтера.

— Глаза вам сразу не отмыть, — сказал Радин. — Вы шею ототрите.

Пришлось перемываться.

Мы шли домой по Горловке, радуясь каждой травке, клейкому, пахучему листку тополя, собачьему лаю, паровозным гудкам. Над землей светило горячее и яркое солнце. В подземных улицах, переулках и тупиках люди грызли уголь отбойными молотками. Они выполняли промышленно-финансовый план, заданный им республикой.

Огоньки

Нарядная гудела морем голосов. Забойщики и коногоны получали наряды в этом огромном зале. У каждо-

го забойщика в руке была лампочка с зарядом на восемь часов. И вся нарядная светилась огоньками, словно готовясь к карнавалу.

Руднику нехватало людей. И если сегодня шахтер брал расчет в Горловке, назавтра он уже мог работать на шахте «Мария», на номере восемь или в Сталине. Везде нужны были рабочие руки. Вопрос о кадрах здесь стоял с необычайной остротой. Десятники ездили вербовать забойщиков в Калужскую и Смоленскую губернии.

— Надоело под землей работать,— сказал стоявший рядом молодой шахтер.

— Ты ее, работу, и не видал еще,— обиделся старый забойщик.—Я вот десять лет под землей работаю, а выйду на поверхность, отмою грязь в бане, так иной раз мне слушать-то приходилось: «Хорошо, говорит, тебе. Небось, на заводе работаешь где-нибудь или в конторе, попробовал бы в шахту слазить, посмотрел бы я на тебя. Это мне — забойщику — говорят. Скажешь кому, что в шахте, словно крот, десять лет долбаешь, и не верит, собака. Спроси вот его: сколько лет ты в шахте работаешь.

— Двадцать один.

— Ну и как?

— Та ничого!—ответил старый шахтер.

— А попробуй он на токарном станке при заводе двадцать лет работать, и блин бы ему давно был. Самое здоровое дело в шахте работать. Раздолбал свою упряжку и время на-гора.

— О-у-у-у,— пробасил гудок на всю Горловку.

И сразу все зашевелилось.

— Двести двадцать! — крикнул кто-то.

Забойщики заторопились к выходу из нарядной. Сейчас начинался спуск людей на горизонт двести двадцать.

Шахтеры поднимались по лестнице шахтного здания к стволу. Ночь разлила черные чернила, и белые огоньки ламп беспрерывно мелькали над лестницей, словно светляки. Каждому давалась определенная задача — раздолбать столько-то, поднять на гора столько-то, свезти столько-то.

«Не трогай провода, убьет!»

«Не заходи в перекрещенные места!»

«Перед работой стуком проверь прочность кровли!»

«В незакрепленном забое не работай!»

— предостерегали плакаты в шахтном здании.

На самом верху лестницы стоял старик и каждого шахтера касался рукой, будто гладил.

— Что это старик делает? Считает что-ли вас? — спросил я одного забойщика.

— Проверяет, не проносишь ли табаку. Если увидит, расчет без разговоров! Даже если случайно захватил с собой, забыл вынуть из кармана, все равно — расчет. В шахте не шутят. Самая газовая шахта номер первый.

— Но все-таки бывает, что и проносят с собой? Небось, и закуривают потихоньку? — спросил я.

— Да если я увидал кого с табаком в шахте, да чтобы человек закурил, долбанул бы топором по кумполу. Ведь он, сволочь, всю смену загубит. Так рванет газом — вовек не отгребут.

Громыхая по стволу, подошла клеть к ожидавшим ее шахтерам.

Она была в несколько этажей. И каждый этаж люди заполняли собой сверх положенного числа.

— Иной раз так набьются, что только-только их закроешь, ну прямо того гляди ствол цеплять будут, — говорил рукоятчик.

Четыре пролета ствола мигом расхватали людей из шахтного здания.

Через несколько минут на горизонты вливались новые смены. И люди с новыми силами принимались грызть уголь.

Шахтное здание опустело.

Остались одни лишь откатчицы угля и породы.

Словно часовой у ствола, сурово нахмурясь, стоял рукоятчик.

Палац культуры

Послезавтра наступало первое мая— перше травня,—и горловский дворец, неизбывный очаг культурной револю-

ции, был весь в пламени плакатов. Алые, красные, малиновые полотнища неустанно твердили о выполнении промфинплана, о соревновании, об ударничестве. Ведь на будущий год выработку нужно было еще более увеличить.

«На той рік ми повинні дати 75 мільонів тон вугілля!» — напоминала каждому шахтеру красная лента, протянутая над входом во дворец.

В изокружке комсомольцы, согнувшись, расписывали лозунги.

— На полный ход готовятся к празднику, — сказал молодой моряк из шахтеров-комсомольцев, приехавший в Горловку прогулять отпуск.

На стенах висели акварели из производственной жизни.

— Это ваши работы?

— Наши. Но только это все плохие. Лучшие работы ушли на выставку в Харьков. Вот у нас Алексей Кравцов, двадцати одного года, подался из шахты, из забойщиков—прямо в художественный институт в Киев, — говорил заведующий кружком, показывая его отличные графические работы.

— Все, кого вы здесь видите, это ребята из шахты номер первый. Кто на поверхности работает, а большая часть — по забоям, — рассказывал мне комсомолец.

Стройные звуки украинского хора доносились откуда-то издалека.

В одной из комнат дворца культуры шла спевка.

Радист Ковалев настраивал мощный радиоприемник.

— Сегодня вечером даю Горловке Будапешт и Вену, — не без гордости заявил радист.

И действительно, вечером в трубку кричали:

— Халло! Халло! Будапешт!

Передача была чище московской и почти без атмосфериков.

Горловские шахтеры и техническая интеллигенция слушали сегодня дыхание больших городов. Москва, Харьков, Ростов кричали в наушники и промкоговорители.

Мне кажется, что я не в Горловке, не в сердце Донбасса, а в одном из северных норвежских городов. Здесь так же чисто, как и за границей, и такой же образцовый порядок. Веселыми рядами улиц протянулись шеренги домов, выложенных из белого камня.

— На будущий год здесь побежит трамвай, — говорит мне горный техник. — Вон горы камня и песку. Это свезли для постройки социалистического городка шахтеров.

Мы уже догоняем Европу.

Сейчас по улицам новой рудничной колонии, гремя песнями и медью оркестра, прошли шеренги углекопов, неся в руках знамена и ярко пылающие факелы. На иссиня-черном бархате вечернего неба, словно по экрану, прыгали огни факельщиков. Пламя факелов символизировало энтузиазм людей. Плакаты говорили о неслыханных темпах, которые должны перестроить, перевернуть всю планету. Сегодня исполнялся первый год социалистическому соревнованию. Ударники Горловки, показывая цифры своих достижений, шумно праздновали эти необычайные именины.

На центральной площади стояли красочные фанерные плакаты: огромный рак, галоша, черепаха, улитка, и... аэроплан. Это были символы социалистического соревнования. И те забойщики и техники, которые сидели на «аэроплане», гордились и чувствовали себя именинниками. Но горе тем, которые сидели верхом на раке, черепахе или улитке. Это значило, что они отстают в соревновании, и каждый высмеивал такого. Все плакаты, знамена, лозунги были заготовлены изокружком дворца культуры. Отработав свое время в шахте, выполнив свои упряжки, молодежь занималась по кружкам Палаца — дворца культуры. Кто рисовал, кто изучал фотографию, чтоб стать фотокором, или расклеивал стенновку, кто ликвидировал свою безграмотность в кружке ликбез. Горловский Трам—Театр рабочей молодежи — вырос при дворце и вобрал в себя лучшие молодые силы рудников.

Убеленные годами, шахтеры вместе с семьями приходили сюда на лекции об охране здоровья, на доклады о международном и внутреннем положении

республики, на торжественные заседания.

Кино показывало здесь те же фильмы, что видела первым экраном Москва.

В одном из зал дворца было полным-полно народу. Над входом висела надпись: Музей культуры та религии.

Под стеклянными колпаками стояли миниатюрные копии богов разных народов. Жирный и самодовольно-смеющийся сидел китайский бог плодородия — хотань Да-ту-цзы-ло-фо. Неподалеку стояло «египетское божество с носом цапли» и ряд других богов и боженят. Маленький плакат предупреждал каждого посетителя: «Експонати руками не чіпати!»

Несколько шахтеров, внимательно рассмотрев богов, шли к витрине, озаглавленной: «Духовная сивуха». Здесь под стеклом на золоте парчи лежали православные иконы, еврейский тфилин, молитвенники и библии.

Через коридор от антирелигиозного музея шумел театр. «Шахтерка Украины» — театральный ансамбль давал гастроли в Горловке.

— Несколько лет назад не было и четверти того, что вы видите сейчас в Горловке. Никогда с такой огромной, бешеной силой не росла Горловка,— говорил мне старый шахтер. Через несколько лет не узнать ее: она разрастется в культурнейший рабочий центр, где после тяжелой работы можно будет получать заслуженный отдых.

Как жили

— Работали мы раньше по двенадцать часов в сутки. Получали сорок-пятьдесят рублей в месяц, — говорил мне старый забойщик Писарчук. — А если кто без специальности, так за пятнадцать рублей шел работать. Сейчас заболеешь, идешь на бюллетень, страхкасса деньги платит. А тогда — ни боже мой. Пили водку и в карты играли. У нас один коногон жену в карты проиграл.

Земляки, в которых жили до революции шахтеры, стоят того, чтобы о них сказать несколько слов.

На метр уходила землянка в глубину земли и настолько же поднималась над поверхностью. Землянку складывали из «самана». В эту смесь входили глина, песок, навоз и земля. Крошечные окна скупо пропускали свет. Жизнь в землянке мало чем отличалась от жизни в шахте. И тут и там было одинаково душно и беспросветно. Удушливый воздух отравлял легкие, способствовал туберкулезу. Куры, свиньи жили вместе со своими хозяевами. Вошь, клоп заедали живьем шахтера.

Из года в год заработная плата шахтера уменьшалась.

— Жмали нашего брата горнопромышленники, — говорил забойщик.

— А потом кое-где и забурилось. То на одном руднике, то на другом забастовочка. Сейчас на нас казаков сотню с нагайками. Народ стал бежать с рудников. Так что же хозяева придумали? Стали звать в Донбасс китайцев и персов. Ему что, китаю, крыс дай, он и сыт, а жить будет хошь в нужнике. Да только подоспел переворот, так и не вышло по-ихнему.

— Бывало, идешь в шахту, дадут тебе «бог помощь» — простой керосиновый светильник, да и с лампочкой «Вольфа» сколько было несчастий.

— Вон рыжий Доробков,—он в выпале был. Он вам расскажет, — сказал шахтер.

К нам подошел хмурый человек лет тридцати трех — пяти. На носу у него был глубокий шрам, след давнего ранения.

— В семнадцатом году это было, двадцать седьмого февраля, — рассказывал Доробков. — С двух часов я должен был сменить насыпщика. Спустили нас в шахту, иду я по квершлагу, еще в номер не вошел, как вдруг грянул выпал. Первый выпал ударил—я еще в сознании был, а их семь выпалов в один день приключилось. Как в голову ударило вторым выпалом, так и память отшибло. Повлияло это на меня сильно, и как я в номер вошел и как меня на поверхность выдали—не помню. Двадцать суток пролежал в больнице: лицо, руки, ноги все в бинтах было. С того и порыжел дюже.

После лечения отправили нас в Кременную воздухом обыкновенным подышать, для очищения легких. Они все газом отравлены были. До сих пор чувствую себя неважно.

— А не сказал, отчего ты жив остался. Ты же в канавку упал, а газ—он поверху идет, ты его в канавке мало надышался, а то бы тебе не воскресать, — сказал Писарчук.

— Теперь у нас лампочки аккумуляторные и горноспасательная станция—первая в мире. Вот я раньше на заводе работал, но ушел в шахту. Девятый год долбаю уголек. Нравится. Микробов под землей нет. Вы видали, какие под землей лошадки раскармливаются. Добрые кони! Также и людям теперь не плохо. Отработал свое время, отмылся в бане горячей водой и делай, что хочешь! Другая жизнь сейчас! — сказал шахтер.

2. ЛОПАРИ

(из книги «Полярное солнце»)

Всеволод Лебедев

К лопарям в Териберку попал я в июле месяце. Ехавшие со мной из Мурманска по морю рыбаки говорили, что вряд ли я лопарей застану, — они должны в это время быть уже в тундре, на дороге к осеннему становищу.

Но я застал лопарей неподвижных, как-будто обленившихся, в летних вежах.

— Только как ты с нами жить будешь? Вот скоро мы поднимаемся и пойдем в осеннее место.

— Как скоро?

— А вот наши со свадьбы придут. Пошел один наш невесту брать.

— На этих днях пойдете?

— Да, должны бы завтра быть. Если завтра придут,—пойдут пастухи искать наше стадо.

Я остался жить у океана в маленьком и единственном домишке лопаря (остальные жили по вежам), дожидаясь того дня, когда возвратятся жених и гости и пойдем мы со стадами в тундру.

— Теперь попадает нам в тундре река большущая, — говорили лопари. И я представлял себе блеск и силы этой реки. — Как ты будешь по реке итти?

— Я хочу с вами итти.

— Узнать значит хочешь, как нас комары едят, как проваливаемся мы с оленями, как мы...

Тон речи был почти песенный. Я попал туда, куда мечтал, к истокам эпоса, к живой, нерасчлененной человеческой речи.

Так я остался жить. В полдень передо мной поставили тарелку с треской. Это значит — переговоры кончены, и я могу здесь жить. Мой дорожный мешок, который я оставил пока робко в сенях, можно внести в избушку.

Лопари живут густо, больше на полу, чем на стульях. На постланных оленьих мехах сидят они — тут собаки, дети. Тут на полу едят вечную летнюю пищу — треску.

Для меня пробовали было отыскать вилку, но я стал есть по-лопарски — руками, из общей тарелки, и все успокоились.

— Как в Москве? — сказал Андрей Михайлович, хозяин.

— В Москве ничего, живут.

— Живут, наверное, не по-нашему,— сказала хозяйка.

— Мы, лопской породы, по-своему живем. Нас немного уж и осталось.

Соленая треска и черствый сухарь— вот что ждет на океане каждого, желающего жить с лопарями.

— Прежде мы стояли у речки, у падуна — ловили семгу. И отцы и деды наши ловили. А теперь сдали семгу с торгов колонисту.

— Вам надо бы с торгов взять.

— А мы, лопари, шибко ни с кем не судились. И у нас такой народ — мы и не спорим.

И заговорили женщины. Жалобно вспоминали, как хорошо было лопарям жить у падуна, ловить семгу.

— Вы бы в рик сходили.

— Там в рике Аксенов.

— Ну и что же Аксенов?

— А ничего нам, лопарям, не сказали. Мы поворотились и ушли. — Рассердиться для лопаря значит поворотиться и уйти. Это — высшая степень борьбы с человеком.

— А олень прежде их жил, — сказала хозяйка, разумея, очевидно, русских, в том числе председателя рика Аксенова.

— Вот уж не знаем, когда мы теперь пойдем на осеннее место. Запоздали мы в сей год. Ушли наши на свадьбу — три человека. Олени теперь ушли далеко. Где теперь найдем оленей? К ижемцам попадут. Заберут их ижемцы.

Олени с морского берега шли вглубь тундры, каждый день все дальше и дальше шли. Лопари могли потерять часть стада, но никто не двигался с места. Ждали людей со свадьбы.

— Может быть, завтра, может быть, послезавтра пойдем, — стало ежедневным разговором. И я, приехавший сюда в расчете побыть здесь, на берегу, два-три дня и начать путь в тундру, привык уже к этим черным, по-библейски простым скалам, к великолепной местности.

За речкой — рыбачий поселок. Там стоят паруса. А вся земля и небо у моря полны птицами — чайками.

Утром я взбирался на скалы, приобретая способность наощупь ногой находить места. Взбирался на скалы и глядел туда, где единственная и неповторимая шла равнина, сверкали цепи гор и местами глядела спокойная горная вода (озера). Людей нет. Отсюда начинается то, куда никто не ходит.

Я привык к тундре, как к дому.

Лопари эти дни мало работали: выйдет, посмотрит сани, расстелет на земле бессмертную, сияющую оленьими костями упряжь или поедет на Териберку — достать у русских рыбаков рыбку.

Я занимался с детьми. Дети мне рисовали оленей и учили лопскому языку.

Спал я в оленьих мехах. В мехах этих есть куски глубокой тишины тундры. Не даром мы увозим их в город и вешаем над письменным столом. Особенная тишина есть у оленя. С наслаждением я залезал в лопарскую малицу и оставался там ночь. Ночи, положим, не было. Был такой же твердый день, а скалы даже как-будто светлели. Выйдешь на берег перед сном и поразишься глубине севера, великолепной войне облаков, там на краях, бешеной игре чаек. Увидишь рыбачий поселок, уже успокоенный, и паруса спущенными.

Мне нравится Ледовитый океан. В нем есть какое-то одиночество — с птицами и человеческой судьбой. Отсюда уходили прежде ко льдам, на совсем мрачные и последние земли, где все же живут люди — самоеды.

Лопари по отношению к самоедам считают себя верхом культуры. Как-то спросили меня, много ли народу на севере живут, как они. И я рассказал, что германский профессор сосчитал лопарей и самоедов и назвал общую цифру.

На лицах хозяев появилось отражение гордости и обиды.

— Самоедов зачем вместе с нами считали? Совсем напрасно считали самоедов.

Хозяин погладил усы, совсем как древний какой-нибудь герцог, которого обвинили в захудалости рода.

— Наша порода, говорят, жила прежде около Новгорода.

Лопари считают себя от той древней, новгородской культуры. А самоеды вне культуры. Они живут на островах поодиночке. Есть такие самоеды, у которых спичек не бывает, и огонь они добывают из ружья. Другой самоедин живет и с двумя женами — без всякого закону. И лицо у самоедов совсем не наше.

Я тогда лишь понял степень брезгливости к самоедам, когда лопарь, долго ругавшийся на собаку, которая необычайно долго, не слушая человека (что

у лопских собак бывает редко), выла за окном, крикнул:

— У, самоедин проклятый!

Лопарские собаки сразу смолкают от окриков, как послушные дети. О собаках лопарь выражается: «ихнее собачье племя». К оленю относятся, как к старшему, но глуповатому, — надо каждый раз ловить арканом, приходится бить из-за лени,—брату. К собаке снисходительно. Как к самоедам,—не знаю точно. Лопари чувствуют давность своих привычек. Им не выйти из строя этой жизни.

— Поедешь ли в Москву? — спросил я одного молодого лопаря.

У того глаза расширились.

— На. Стад есть, — зачем в Москву ехать. Один из наших—лопин — поехал в Москву, — сдох.

— Почему?

— Не знаем, голодал, должно быть.

— Им, лопарям, — сказал присутствовавший при разговоре архангельский мужик, — продать бы свои стада и многим на век хватило без дела в Москве жить.

— Нам от своей природы не отвыкать.

«Природа» сказал лопарь, и я понял под этим — тундру, ягель, оленей и рождающиеся в куваксе поколения.

— Мы вот как зимой мерзнем — рыбу ловим. Болеем все. Нашей земли нет хуже, мы считаем, но от своей природы нам не отойти.

— Был один лопин у нас грамотный, школу кончил, а нам не изменил. Захотел на своей породе жениться — взял лопку. Их за это обоих арестовали, увезли.

— За что?

— А за то, что шибко грамотный захотел на лопке жениться. Его заставляли на русской жениться. Он не хотел. Так их обоих взяли и увезли не знаем куда.

Сказка. Лопари еще привыкли видеть, что русские пришли у них все отнять, даже грамотных лопарей.

— Не знаем, куда нас ссылать будут, — раз сказала хозяйка, когда мы сидели лицом к полярному солнцу, сиявшему над океаном.

— Как вас ссылать?

— А русским не нравится, что мы здесь живем. Приходят сюда с ружьями, пугают собак.

Так тихи лопари.

— Прежде лопари еще тише были — боялись воды попросить.

В такой тишине, да в тундре... Тундра вызывает на тишину...

Пришли из гостей. Пришло пять человек с таким выражением, точно они уходили только на пять минут — помочиться у порога. И действительно, я узнал, что на свадьбу — невесту брать — уходили недалеко, за двенадцать километров всего.

Лопари тихо заговорили.

Среди пришедших сидел жених, молодой парень в меховой шапке. У него была сильно выдававшаяся челюсть и глаза смотрели, как у волка или у дикой собаки. На всем лице его было величие и важность, но не гордость, а важность, которая бывает у животных дикой породы. И какая-то особенная сытость была у него в глазах.

На жилете у него вилась цепочка.

— Ну, как живем? — сказал он мне, подсаживаясь.

— Долго вы в нынешний год, — сказал я, повторяя слова лопарей.

— Да, видишь ты, — сказал другой лопарь, — пошли мы на три дня. Да не было вина. Пришлось бражку из конфет варить.

Варили из конфет, должно быть, очень долго, потом еще дольше кого-то ждали, кто еще не пришел. Так и пробыли мы три недели.

— Когда вы теперь пойдете в тундру?

— Да на-б итти в тундру стадо искать. Не найти нам теперь стада, — сказал, вздохнув, лопарь. — Далеко теперь ушло наше стадо.

Тотчас отрядили двух лопарей с собаками итти в тундру искать оленей. Видно было, что льдина сдвинулась. Сейчас все внимание народа было обращено в сторону тундры. Когда придут пастухи? Найдут ли они стадо? В женщинах я почувствовал болезненную почти нервность, точно над народом повис тяжелый рок.

— Ушло теперь все наше стадо. Останемся мы без оленей.

Эти дни мы все жили, как в туче, — дожидаясь стада, которое должно показаться из-за гор. Я готовился увидеть оленя в природе.

Однажды утром дети мне показали вдаль, туда, к черным скалам и берегу залива.

— Смотри, там бродят наши важенки (коровы). — Я побежал вперед, надеясь увидеть крепких, массивных животных. Но передо мной, как большие собаки, встали с земли поджарые серые звери и пошли вперед. Пошли так, что через минуту я не видел их.

Так лопари растеряли оленей и людей.

Мы, оставшиеся у моря, жили попрежнему. Встретил еще один праздник.

Так жили мы в разговорах, пока не пришли пастухи и для лопарей наступила новая эра — переселение народов. Пастухи пришли рано, когда я еще спал. Просыпаюсь и слышу, — говорят пониженно и серьезно. Горе захватило всех. Лопарь, ходивший искать пропавшее стадо, похудевший, почти неузнаваемый, сидит за столиком, как во сне. Под столом лежит его собака, и видно, что ни рычать, ни дышать даже не может. Мне второй раз стало неловко. Я почувствовал себя лишним.

— Как живешь? — спросил лопарь.

— Как ты с нами пойдешь? — заговорила новым для меня больным и почти раздраженным голосом хозяйка.— В тундре у нас будет река большая, как ты перейдешь? Ты нам мешать будешь. А придешь в тундру, кто тебя оттуда поведет?

— Как-нибудь выйду, — сказал я, сердясь, и вышел к скалам.

Лопарь, искавший стадо, прошел в трое суток километров, по его словам, двести. Следы стада шли еще дальше. Но у него вышли все спички и он не решился итти. И лопарь и собака от усталости не могли ни есть, ни спать и понемногу приходили в себя.

Лопари целый день молчали. По их нахмуренным лицам я понял, что они скоро все пойдут. Стали чинить санки и промазывать в тресковом жиру сбрую.

— Придет то малое стадо, мы с ним и пойдем. Придется запрягать плохих быков. Хорошие все ушли. Теперь до зимы их не увидим — ушли к ижемцам. А то и совсем пропадут.

Один хозяин привел группу оленей, отставшую от стада. Их было пять. В том числе один теленок, которого русские прикормили и держали в сарае. Теленок в отличие от других оленей шел на человека и трогал мордой руки, ища хлеба.

У оленя красивая голова, а особенно красивы глаза, такие порывистые и как-будто голодные на весь мир.

Темная шкура теленка точно облита солнцем. В ней горячее молоко матери, нежность белой тундры. Около теленка стоя, ощущаешь весь простор этой земли.

Ведь олени дикие. И каждый раз надо ловить арканом, и они не едят попробованную пищу.

Еще раньше, чем я увидел оленя, я узнал оленя по старинной игре, в которую играют дети, а прежде играли и взрослые. Мальчик натягивает аркан на руку, а другой бежит от него с оленьим рогом в руке. В их глазах — вся игра оленьих глаз, оленье умение бегать и...

Однажды вечером пришло стадо. Это пришел праздник. Дети вбежали в избушку с почти диким криком.

— Риад... Риад...

И сразу все поднялись, у всех заблестели глаза. И я почувствовал себя одиноким, как бывает, когда приходит очень чужая радость.

Я выбежал первым. Следом за мной шли лопари. Так идут встречать родителей — они торопились и от радости шли с трудом. Где шло стадо, я не видел. Я видел только направление, по которому указывали лопари.

И вскоре вдруг из-за гор пошел шум — какое-то потрескиванье, точно вода падала (с таким шумом всегда идет оленье стадо), и одновременно показалась надежда лопарей...

Олени пришли и сразу остановились. Я сразу не мог разглядеть их. К тому же волновался сильно. Сразу можно было увидеть головы, рога,—точно ста-

до чем-то страдало — перебегали, масса все время двигалась, со странным похрюкиванием бежали быки. В середине с мощными рогами и терпеливее других стояли крепкие олени.

Я скоро понял — их мучил комар, тот, что и меня безысходно мучил. Полчища комаров могут закрыть для тебя и эту землю и океан, — они мешают жить.

По сторонам горели костры. Дети направляли дым на стадо. Хозяева ходили, осматривая своих быков.

Скоро по лицам лопарей я увидел, что не все ладно. Это не все стадо, а только кусок, другие олени могли уйти совсем далеко.

Мысль об ушедших заслоняла радость. Лопари с напряженными, у женщин почти с больными лицами ходили, высматривая телят. Иногда вспыхивала радость и раздавался веселый голос. Я увидел, как лопари могут разговаривать с оленем. Пока мы смотрели стадо,—двое пастухов снаряжались итти с ним.

Стадо полежало. Затем, измученное комарами, поднялось и пошло, рассыпалось, собирая ветки мелких березок на большой черной горе. И вслед, как на крыльях, пошли пастухи. Через сутки им должна быть смена: пошлют новых людей искать стадо и пастухов.

Вещи связаны в санях, накрыты мехами и парусиной. Наверное, скоро пойдет дождь. Земля в тундре ждет нас. Я начинаю это чувствовать. Нервно оглядываюсь на рыбачий поселок Териберку — там по прежнему скалы и чайки.

Мне предстоит нечто большее, чем океан, — тундра.

Олени в упряжах. Последний раз пьют чай, готовятся проститься с вежами до зимы. Из домика выходит больная старуха. Больных и детей лопари возят в санках. Эта старуха много раз при мне была предметом ожесточенных разговоров между лопарями. Лопари доказывали друг другу, что ей пора умереть. Действительно, странно видеть старческую неподвижность в тундре, где все требует человеческого труда.

Старуху будут везти, как ненужный труп, по горам, могучим кочкам, вместе с санями вывалят в болото.

Тундра ждет нас.

С санок улыбаются дети, закутанные в меха. Некоторые из них начали болеть корью и им предстоит перенести болезнь под открытым небом.

Пошли. У нас три упряжи — девять оленей. Они связаны гуськом. На первых санях сидит моя хозяйка — у нее больные ноги. Здоровый лопарь идет рядом с санками.

Сзади, с оленями, идет работник моего хозяина — Алимпий. У него совершенно немое лицо, он глух и у него бельмо на глазу. Говорят, он помешан.

Путь сразу, от веж, от спокойного места у океана показался мне тяжелым. Олени рванули сани и встали. Хозяйка ударила их длинной жердью. Олени забились, заплясали, и один из них упал и, заложив ногу за рог, так скаменел.

Хозяйка бросилась к нему, как бросаются к глупому родственнику. Она уговаривала быка и словами и ударами, и, наконец, позвала собаку.

И вот мы идем торжественной рысью по тундре, длинными рядами упряжей. Хозяева идут рядом с санями и, точно смычком, качают в воздухе погонялками (это длинная жердь с костяным балдашником).

Перед нами с пастухами ушло стадо свободных оленей. Ушли девушки с толпой овец.

Час, два, три мы шли. Восемь километров, двадцать. Ничего не поймешь в тундре. Большая гора перед нами. Лопари собираются в толпу — олени стоят. Очевидно, произойдет какое-то событие.

— Большая перед нами гора, — говорит лопарь, охотно посвящающий меня во все мелочи пути. — Как пройдем с оленями?..

Проходят каждый год и все-таки вопрос остается вопросом: как пройдем? Подходя к ней, лопари точно изумляются ей. Надо подниматься. Я вижу, как у всех — у женщин, у детей — растет сознание того труда, который вынесут олени. Все начинают напрягаться, точно своими движениями

хотят помочь быкам перейти гору. Женщины стоят наверху. Много лопарей сгрудилось в стороне. Они все готовы криком помогать быкам.

Оленя бьют; он нагибается к земле, почти падает и вдруг, выпрямившись, рысью несет воз к самому серьезному месту. Крики. Лопари шумят по-лопарски. Зверями визжат собаки, совсем как на охоте, готовые с'есть оленей.

И вдруг вся толпа разряжается усталым и тихим почти криком — «Е... на мать». Олени подтянулись и вывезли. Одна из упряжей поднимается на гору стороной. Там большим пластом лежит снег. В этом году снег не везде растаял. Олени идут по любимой стихии, — и я, прищурившись, чтобы не замечать черных окрестностей, вижу сияющую лопарскую зиму и темных внимательных оленей.

Олени остановились. В плечи бьет легкий холод. Я не знаю, можно ли мне снять легкий пиджак.

Мы все садимся грудой на землю. Лица лопарей немножко новые. Я увидел людей в их доме. Дом большой. Лопари шутят со мной, показывают громадные дали. Это все часть нашего пути. Весь путь больше, чем все эти пространства.

Да, эти пространства — часть лопарской жизни. Как жемчужина собирается в глубине моря, так зрела в этих колоссальных звериных далях лопарская жизнь и тихой жемчужиной остановилась. Они нежны, как жемчуг этих глубоких далей.

Олени, когда стоят спокойно, не похожи на лошадей или коров. Они с этими странными темными рогами напоминают тихий зверей, и непонятно, почему они ходят в упряжи.

Блестит ночное небо — белое небо, жестокое одиночество и простор.

Опять, как песня, начался поход оленей — тащатся санки.

Земля стала теперь болотом,—всюду зловещие для меня темные пробоины.

Перед от'ездом мне сшили тоборки— очень короткие сапожки из тюленьей кожи. Не надеясь на них, я бреду по кочкам вслед за оленями, которые вдруг быстрой рысью пошли. Это начинает увлекать. Нога сама прыгает на кочку, как бывает — забываешь, что поешь, а поешь и поешь себе, так наступило для меня время, когда я, не задумываясь, прыгал по кочкам километры и иногда останавливался в изумлении,— вдруг везде темной зеленой бездной стоит болото.

Я обходил болото горами, стараясь не потерять оленей. Если олени уйдут, все уйдет, — для меня тундра без концов, без востока и запада, земля, собранная в таком числе, что я один не могу ее перенести.

И я выбирался благополучно. И с каждым днем все больше пороху сберегалось в моей груди. К утру мы подходили к светлому озеру, где над берегами притаились березовые кусты. И вместе с зарей спадала с нас усталость пути. Распрягали оленей. Они бились, когда их развязывали. А когда выпустят на свободу, олень постоит немного, потом встряхнется и быстро, быстро бежит, точно в физкультурном зале, распрямляя мускулы. И скоро отпущенные олени образуют тяжелую массу на горизонте.

Готов чум, и пришел сон — тоже поставил чум. Я точно заколдованный.

Проезжали через дикие речки, где вода бьется меж камней, трясет и шумит страшно. Люди переходили по камням. А олени с санками надолго заживались среди камней и приходилось тащить санки и бить оленей.

Собаки бежали в стороне. У наших саней за короткую веревку была привязана одна из собачек. Она тихо визжала во время пути. В особенности трудно было ее положение, когда сани проскакивали между камней. Короткая веревка тянула ее вслед за санями по всем кочкам, и я удивлялся, как она может дышать и как сани еще не раздавили ее.

— Наказан, — сказала шедшая рядом хозяйка,—весь путь будет так мучиться. Пристает к оленям, если его выпустить. — Сказала это с тем особенным чувством, с каким лопари говорят о собаках.

На одних санках везли в далекое становище кота, взятого у русских. Кот си-

дел на санках и озирался на тундру. Путь его пугал.

Дети, утомленные дорогой, дремали в санках. Везде, куда я ни подходил, оказывалось: у детей жар. У некоторых на лицах уже ясно выступила корь. Но приходилось больше думать об оленях, чем о людях.

Мы шли, и на лице хозяйки я видел отражение все более растущего страха. Это было отражение реки, которая, еще невидимая, сверкала перед нами, та река, о которой мне говорили. К этой реке подходили, как к злому року.

— Говорят, разлилась нынче река.

И я вперед жалел и оленей и людей. Дорога всем давалась с трудом.

Все тише и тише становилось в толпе: близко река.

Точно боялись выговорить это слово.

И вот блеснула вода, послышалось гуденье. Было ясно, что река идет не так просто, что это река, которой дано победить на своем пути многие препятствия, что это не спокойный сверкающий луг воды.

В невысоком березовом леску остановились сани. Начались волнение и лихорадочная подготовка.

Теперь уже были видны камни и течение реки. Небольшая, она казалась громадной по силе течения, по ее дикому виду, разбивавшему спокойное, нелюдимое пространство тундры.

— Ты, как пойдут в воду, садись на сани, — коротко сказала хозяйка.

Поднимали на санках груз, чтобы не подмок, закладывая между грузом и санками стволы березок.

Нужно было овец привязать на санки. Девочки ловили овец, и хозяйка прикручивала их. У всех был страх воды. Только маленькие дети сидели спокойно, как тихие животные. Река шумела.

И вот двинулась наша упряжь так нелепо, как только могут итти санки по камням.

Я забрался наверх, хозяин сидел на первых санях.

Олени, напрягаясь рысью, пошли по большой глубине — сани почти захлестывало водой, почти плыли сани.

Олени на первой запряжке совсем смутились — вода была им по шею, сани опрокинулись. Хозяин, Андрей Михайлович, выругался и полез в воду Крики и стон оставшихся на берегу сопровождали эту сцену.

С трудом подняли санки, пошли дальше, вода крутит под самым носом, олени — слабые животные, кажется, унесет нас по реке, но идем.

Сзади меня захлебывается овца, — она сползла с саней и плывет сзади на веревке. А как дети...

Олени вынесли нас, я оглянулся, — позади дикие камни, дикая река, и холодный мрачный закат над полярным бессмертием. Тундра вдали была вся черная, — казалось, обнажили землю, открыли ее недоступную раньше глазам плоть. Звенели колокольчики на передовых. По нашему следу шли другие, бешено боролись быки с водой. Не боялись итти в реку собаки.

Здесь, когда я стоял у этой темной, облеченной в бессмертие тундры реки, представил я ясно север, то, о чем только читал прежде. Звери, идущие через воду, переносящие на себе людей. Ландшафт был замечателен. Это дикое, спокойное место, сумерки, силуэты непонятных оленьих рогов, крики лопарей, — переселение народов.

В стороне переходило реку стадо. Попав на берег, олени встряхивались, как бешеные, и шли в лес.

Мы отдыхали в лесу, если лесом можно назвать этот редкий кустарник. Перешли реку...

Жуем позеленевшие от ветхости сухари. Я пережил воздух тундры, понял ее немного и чувствовал себя прекрасно.

— Больше нам такого пути не будет, — говорят лопари, — пойдет легче путь — горы кончились, пойдет гладкая тундра.

После перехода реки мы стояли долго. Одной из причин была болезнь детей. Мой друг, трехлетний Андрюша, лежал без сознания в своей куваксе.

Болезней лопари не боялись. Осуждали старуху, что ее приходится тащить за собой.

— Вредная старуха, — говорит Андрей Михайлович, — и еще сердитая.

— Ты ей скажи: «Бабушка, умирать пора» — она заругается.

— А моя мама, — с трогательным вздохом вспоминала хозяйка, — дожила до пятидесяти лет и померла. И лучше ее мастерицы не было.

Похвала матери — пожила, сколько нужно, и больше не захотела жить.

— Вот помрет старуха, — говорили лопари, — она два дня ничего не жрет, говорят, сдыхает. — Говорилось это таким тоном, каким говорят о собаке, бесполезность которой признана.

— В тундре будете хоронить?

— Нет, мы на гладком месте хоронить не будем. В Карозеро повезем, похороним на острове, где наши родители.

Поговорили о том, что трудно будет везти труп с собой,—придется неделю еще итти.

— Да нет, не сдохнет еще старуха,— усомнился Андрей Михайлович, — она очень хитрая.

— В прошлом году у нас по пути самоедин сдох. Вез его Гаврил в Вороний погост.

Олени самоедина остались Гавриле, тому, на чьих руках он умер. Во время пути случилась все-таки одна жертва. Старуха и дети вынесли дорогу. Но умер тот заветный кот, которого везли за девяносто километров в тундру, где котов раздобыть нельзя. Утром я вышел из куваксы и увидел у чужих саней сморщенный до-нельзя черный труп.

— Это кто?

— Это кот, — ответили мне, — утонул вчера.

Был привязан за веревку и, когда сани поплыли, попал в воду.

— Так вы без кота в тундру придете?

Стадо, почувствовав прохладу, ушло, и костры потухли. Мы сидим в куваксе, — нас набралось много с гостями, — сидим тесной семьей и между нами начавший выздоравливать мальчик. Хорошо видеть восход жизни: ребенок поблек, нежив и вот опять восстает и переживает тундру.

И еще.

У оленя подломился рог. Молодой рог покрыт той же пушистой кожей, что и весь олень. И он теплый. Идет олень, надломив рог, каплет кровь. И собаки жадно с земли с'едают эту кровь.

Лопарка ломает рог совсем — оленю он не нужен — и торжественно несет в чум.

— Мы, лопари, и рог едим, — говорит она, рассматривая свое приобретение.

Я хочу видеть, как едят.

Хозяйка сует рог в костер. Здесь все просто, в костер суют мясо, шкурку с'еденной семги, чтобы поджарилась,— тоже любят есть. Жарится на огне рог, то-есть шкурка его с кровью.

Едят, сдирая шкурку. Мне она показалась безвкусной, как резинка. Мне смешно: олень идет себе по тундре, а его кровь, часть его тела, едят. Так с дерева срывают яблоки.

Оказывается, вторая неделя идет нашей жизни в куваксах. Я убежден, что если так жить и жить, то совсем неожиданно вся жизнь останется позади.

— Здесь мы останавливались прошлый год.

Следы очага, камни, уголь, точно отсюда только-что ушли люди.

Время в тундре меряется годами — от кочевья до кочевья.

Мы идем, встречая следы старых очагов. Между ними — пространства, десятки и сотни километров, но вся местность знакома лопарям, как дом.

— Здесь мы ловим щук.

— У того озера жил наш дядюшка.

С этого начинается для меня карта Лапландии. Громадная равнина, на ней безмолвные озера, из которых каждое названо, каждое связано с историей лопарского народа.

— Вот теперь остановимся, будем жить долго, щук ловить.

Щука — жительница здешних озер и речек — людей видит редко, во время летнего кочевья, да иногда зимой лопари за десятки километров приезжают ставить рыболовный снаряд.

Огромное пустынное хозяйство.

Прав собственности нет. Но вот кто-то увидел озеро, назвал его и половил в нем щук. И вот уже традиция постоянной связи с озером. Годами оно стоит пустым и как-будто мертвым, но ведь для лопаря нет расстояний: где бы он ни был, озеро всегда у него под

боком. Оторвавшись на день от праздника, он может промчаться на оленях по громадному снегу тундры, посмотреть поставленную во льду сеть и вернуться обратно.

— Тот раз я ехал из Вороньего Поноста смотреть сеть, выехал утром, приехал, наши за чай вечерний садились (шестьдесят километров).

Так в понятии лопарского зимнего дня включается исполинская тундра, которую ничего не стоит проехать.

— Земля здесь пустая, — как-то сказала одна лопарка.

Стоявший рядом лопарь точно обиделся.

— Какая пустая, когда мы здесь каждый год бываем. Только хлеба не сеем на этой земле.

Его спокойные голубые глаза точно хранили в себе все величие и пространство тундры. Они искали вдали озера как мать и братьев.

Здесь культура не создала еще вещей, — культура — движение и слово тоже движение. Путь по тундре, понуканье оленей и рассказанная сказка — все это одно другое продолжает, является частями одного и того же опыта. В сказку не уходят, лопарь, когда рассказывает, сам превращается в сказку, как и горы и вся тундра — мой путь, мое движение.

Я рассказываю им длинные сложные сказки. Они воспринимают их, как люди, живущие у моря: оно — обычное, попрежнему большое.

Рассказал сказку о несправедливом отце и бедных дочерях, и лопарка сразу поднялась и ушла в другой чум, сказать эту сказку. Так же ходят сказать, что стадо ушло, так показывают гору.

— Что же вы ничего не рассказываете?

— А мы тебе много рассказываем, — сказала лопарка.

Здесь, у лопарей, сказка не отрывается еще от языка, от сказанного в разговоре замечания, здесь сказка есть еще слово со всей его связью с жизнью.

— Молодица подавилась, — говорит сумрачно хозяйка, очищая рыбью голову.

— Кто подавился, когда?

— А вот эта кость — молодица подавилась.

Мне протягивают часть рыбьей головы.

— Как же? — Я не понимаю, будет ли хозяйка говорить о сегодняшнем дне, или это давно забытое событие.

— Молодица была, — хозяйка говорит и глядит на меня прозрачными и светлыми, как поток воды, глазами, — прежде шибко стыдились у нас молодицы — от всего закрывались. Одна молодица подавала гостям рыбу, захотелось есть. Она хватила поскорее кусок рыбы, да стыдилась — и подавилась

Гомер не расскажет с таким чувством Илиаду, с каким был рассказан мне этот случай.

— Знакомая была та молодица? Как ее звали?

— А мы не знаем. Это еще раньше было.

Говорят «раньше», точно говорят об утре. Весь народ, как один человек, живет одним большим днем. И воспоминания о прежних людях,—как о вчерашнем дне.

— Вот кость и зовется «молодица подавилась» (точно написано народом на кости — вот она древность слова и сказки).

— Вот и мы тебе сказку рассказали, — сказала, добро рассмеявшись, хозяйка.

Рассказал я смешную сказку. Было это при гостях. Было много народа, на сказку пришли, как на семейный праздник. Сидели серьезно.

— А вот мы тебе расскажем — то действительно смешно было.

Глаза у хозяйки проницательные и светлые. Она, погружаясь в себя самое, начинает говорить:

— Раз я с ней (кивок на мою соседку — и соседка стала соучастницей сказки, а все остальные лопари стали удивительно внимательно, как на охоте, слушать)...

— Пошла я раз с ней через реку...

По эпическому тону рассказа можно себе представить, что действие было

две тысячи лет тому назад и что участники были отсутствующие здесь библейские пророки Гедеон и Давид.

— Пошли мы через реку...

Лопарка вперед смеется своему рассказу.

— Я говорю — как пойду? Я была в коротких тоборках, а она была в сапогах. А та говорит: «я тебя перенесу». Ну и взяла меня на плечи нести.

Смех. Соседка моя смеется, повизгивая.

— И она, — выражая особенно глубокую мысль, говорит лопарка, и глаза у ней на момент смолкают, — она пронесла меня пять шагов и опрокинула.

Смех, точно что-то обвалилось.

— И сижу я по ж... в воде.

Смеется лопарка удивительным, прекрасным смехом. Откуда в ней запас такого смеха? Я не ожидал. Это тоже — прекрасный жемчуг Лапландии, не встретишь такого смеха в других местах. Кажется, рассыпаются где-то розовые горы.

Смеются мужчины. Глаза их жарко вспоминают удивительно смешную сцену.

— Вот то было настоящее смешное,— говорит лопарка, утирая рот, в роде как наевшись сырого теста, — вот тогда мы по-настоящему смеялись.

В Лапландии говорят: «тогда мы женились», «сейд-колдун тащил остров», «тогда мы смеялись» с одинаковым значением.

Велика Лапландия и ее люди.

Так меня учили тому, что такое сказка. И от этого ученья я весь свежел и рос. То, что мы бледно называем «духовной культурой», сидело передо мной, как тесто в квашне, как опара, готовая войти в желудок. Я был сыт от сказок, как от мяса. Я уходил отдыхать от лопарей, как отдыхают иногда от самого существенного — от хлеба, от воздуха.

И я мечтал о том, что когда-нибудь я весь проникнусь этой жизнью, и горы и лопский смех станет во мне. Но чем станет,—я понять не мог.

Лопарские девушки передо мной молчат. Они — как та молодица в старинное время...

Сказала «тогда мы смеялись», как-будто в заслугу себе.

Смотрит на меня хозяйка проницательными глазами и спрашивает, где мои родители.

И на нее точно холодом повеяло, когда она узнала, что мои родители живут далеко, что я их не каждый год вижу. Я для нее стал, точно темный какой-то человек, человек, лишенный светлой блестящей воды, которая всех поит.

Об этом событии, что я редко вижу родителей, рассказывали другим.

— Так мы не живем.

— Но ведь сами вы живете на озерах, на громадном расстоянии друг от друга, — хотел сказать я.

— Мы все лопари с'езжаемся, больше к празднику зимой, в Ловозеро.

Хотел бы я посмотреть этот с'езд лопарей — маленьких людей, их оленей в праздничной упряжи. О чем они рассказывают друг другу — об озерах, о давнишней щуке и о как смутно видимых горах, расскажут о русских, о рике, о том, что к ним приезжал русский. Да, так именно они будут говорить.

В Териберке мне пришлось писать письмо от хозяина Андрея Михайловича к брату, которого он три года не видал. Писание этого письма было большим событием для хозяина. Как и наши деревенские, оно сплошь состояло из поклонов, при чем были упомянуты все жившие рядом в куваксах, не исключая и трехмесячной Анны Омельяновны.

Поклоны и имена хозяин вспоминал важно, с потом на лбу, усмехался и снова вспоминал. После двух листов поклонов было приступлено к описанию событий, — упомянули, что на осеннее место мы еще не пошли, но скоро готовимся пойти, а когда пойдем, точно не знаем, и что в нынешний год женились два Ивана.

— Что бы еще соврать ему, — надумывал хозяин. Он и соседи следили за ростом письма, точно росло фантастическое дерево, которое скоро всех нас должно покрыть душистыми ветками

— Еще напиши, — вспоминал хозяин, — ходит с нами в сей год один из русских, собирается с нами пойти на осеннее место, а куда он пойдет дальше, — мы не знаем...

— Он то, поди, знает,—кивая на меня, хотел внести дополнение к письму лопарь-сосед.

— Нет, так пиши, — куда он пойдет, мы не знаем...

— Нам-то неизвестно.

И я писал сказку о самом себе слогом лопарских преданий. Хотелось бы оставить себе письмо, но я проделал с ним все чудеса, какие подлежало, наклеил марку и опустил в териберкский почтовый ящик.

Хозяйка рассказала о старцах.

Было это при ее дедушке, и дедушка в этом событии играл решительную роль. Откуда взялись старцы в лопской земле, кто они были по происхождению, — об этом лопари не знали.

Старцы, точно тень какого-то народа, прошли по берегу океана.

— Были старцы в нашей земле и все у лопарей забрали — реки, оленей...

— Кто такие старцы? Финны, норвежцы?

— Нет, мы не знаем. Так звали их — старцы. Говорили, — будто пленные. И забрали все у лопарей.

Мысль мне рисует каких-то народов, в роде Гога и Магога — мифических героев эпоса.

— Ну...

— И поехал наш дедушка с ними судиться в Москву. Из Москвы приезжает — дано ему ружье убить старцев.

Как те увидели, все и пошли в озеро.

Наш дедушка после этого захворал. Пошла по всему телу не знаем какая болезнь. Был при смерти. Говорил нам, чтобы лопари ни с кем никогда не судились.

— Отчего?

— А из-за него сколько народу потопло. Поэтому заболел.

Старцы, значит, почти на памяти лопарей. И верят, что так весь народ и бросился в озеро, увидав ружье в руках лопаря.

И слово «колдовство» в этом рассказе не упоминается. Все для лопарей случилось понятно и просто. И теперь лопарь не судится, чтобы из-за него народ не погибал и чтоб не было от этого болезни.

Реальнее старцев в той же области рассказов о народах, пришедших взять лопарскую землю, — ижемцы.

Ижемцы — печерские зыряне (сами, положим, они себя зырянами не считают), оленеводы, начавшие переселяться в эту землю лет сорок тому назад.

Ижемцы народ более хитрый. Отчасти такое заключение потому, что первыми ижемцами, сюда поселившимися, были два кулака, разными ловкими манерами разжившиеся на счет лопарей.

— Один ижемец накупил у всех лопарей оленей, у него в стаде олени со всеми лопскими клеймами. И велел ижемец своим работникам иметь чужих оленей в степи. Какого оленя ни увидят — ловят. Придут лопари жаловаться, ижемец им говорит: разве я у вас оленей не покупал? У меня ваши клейма есть.

Действительно, доказать собственность на оленя в таком стаде невозможно. Так разбогател ижемец.

— Хитрые ижемцы и потому, что больше, чем лопари, умеют, ловчее шьют пимы и шапки. Они с Печоры привезли с собой новую для лопарей форму одежды. До ижемцев лопари носили свои старинные малицы и шапки, совсем не похожие на теперешние.

Об ижемцах лопари много не разговаривают. Хитрые — и все. И замолчат. Но по лицам их видно, что их беспокоит вопрос о судьбе своего народа.

Ижемцы или другой народ или мифические старцы — все это в воображении лопаря народы, которые пришли менять страну. И лопарь боится за свои санки, за свое оленье стадо. Так, как будто конец всему: стаду, лопарям и лопскому солнцу.

О Москве они спрашивают жадно, но без желания попасть в Москву.

— Наша земля, мы считаем, самая последняя, — говорят лопари, — последняя и по времени и по месту.

Лопарям кажется — навсегда разделены они от других краев. Их земля и дышит и живет по-другому.

Край земли, куда летом идут олени, кажется им началом их земли. И к этому началу все идет. Сложился стойкий миф о земле, не подчиненной никаким русским событиям. И если мы вспомним, что ведь олень—животное, ведет лопарей, отыскивая свои последние земли, что для оленя у лопаря и санки, и упряжь, и все для оленя, и все называется в связи с оленем.

Поймем мы эту углубленность их сознания в то, что они живут на конце и в конце (земли и времени).

Самыми интересными рассказами для них были, — что растет в «России». В лопской земле ничего не растет, и понятия о земле, как о родящей стихии, у лопаря почти нет.

В его космогонии одна геология, и то раскрытая на первой главе.

А в «России» есть, например, арбузы.

— Ели вы огурцы? — спросил я.

— Мы не ели. Самоедин ел, говорит хорошо.

Приходится доверяться показаниям самоедина, как редкого свидетеля.

А огурцы привозят в Мурманск. Лопари летом там почти не бывают и не все из них даже видели огурец. Но даже видеть — видеть и купить, между ними пропасть.

Лопарь может видеть арбуз и догадываться об его прекрасных свойствах. Он, вернувшись домой, расскажет об арбузе и опишет его. И семья при случае будет арбуз вспоминать, как вспоминают новое знакомство.

Но арбуза он не купит — арбуз вещь другой культуры.

Я вспоминаю, как ездил с лопарями в лавку в Териберке. Териберка от лопарей — несколько минут езды на лодке. Но на самом деле она отделена от них расстоянием несравненно большим — веками.

Когда посмотришь на русский поселок, расположенный на плоском острове, сияющий парусами, с прочными домами и даже с намеком на улицу, и потом переведешь взгляд на другую сторону реки, на черные скалы, осеняющие окрестность, и в легком, каком-то гибло́м дыму видишь странные черные лопарские вежи, пушистых собак, сидящих на привязях, и медленно ходящих среди вежей лопарей, — тебе кажется, что на лопарей ты смотришь сквозь стекла стереоскопа, что настоящих лопарей ты не видишь. Кажется — вежи, лопарский поселок, все по реке сюда приплыло из неведомого нам царства.

Лопари, переезжая из своей земли в легкую, окрыленную парусами Териберку, на чужую землю ступают, точно совершив томительное путешествие.

Ступают лопари, когда идут по русской улице, иначе. Кажется, идет карнавал кукол. Маленькие лопари с неподвижными, почти сонными лицами. Когда их так увидишь, за них начинаешь отчего-то бояться. Идет процессия из другого совсем мира.

Дойдя до лавки, лопари садятся отдохнуть. Велико напряжение, ими здесь переживаемое. Иногда немного поговорят по-лопарски и потом опять замолчат.

И у русских получается впечатление, что они не настоящие люди.

Сидят лопари густой цепью по лавке — на мешках, как в гостях. Лавке лопари оказывают доверие, им кажется она для того, чтобы в нее ходить «в гости». Смотрят тугими, почти неживыми от напряжения глазами и молчат. В гостях вообще лопари молчат. У каждого лопаря есть круг русских знакомых, которых он навещает. Так посидит в углу у порога, в то время как русские пьют чай и вообще занимаются своей жизнью. Пришел лопарь в гости — значит просто будет сидеть.

Русские значение и характер этого события не оценивают. Им кажется — лопарь не в гостях, а просто сидит.

— Посидит, поговорит по-своему, а мы ихнего языка не знаем, — говорила хозяйка-рыбачка.

Не надо думать отсюда, что лопари не говорят по-русски. Насидевшись в лавке, точно испив этим сиденьем сладкого напитка, понаблюдав, как с молок при участии приказчика в мешки потребителей лезут мануфактура и

хлеб, лопарь решается сам сделать нечто. Он медленно встает (когда в лавке нет других гостей) и, погладив усы, точно готовясь играть на скрипке, с волнением произносит:

— А ну, Семен Максимович, есть ли в лавке мануфактура?

Он будет острыми, блестящими глазами смотреть на каждую вещь, точно ожидая от нее превращений. Он, как из заколдованного дупла, будет брать из рук приказчика хлеб, консервы и сахар. Они ложатся в громадный мешок и на том берегу станут лопарской прозой.

Необычных для него вещей лопарь не купит. С каждой вещью он точно колдует, — он испытывает ее как врага и как желаемого союзника, — напряжение не сходит с лица его.

Наконец, возвращаются, довольные и точно немного сконфуженные, точно с парадного обеда. Тащат тяжелый карбас: он после отлива оказался далеко на суше. И едет, завершая большое и серьезное путешествие, к вежам.

Мальчик Андрюша освободился от кори. Глаза его, недавно совсем засыпанные, открылись и смотрят живо.

Три дня он ничего не ел, лежал закутанный в меха и не узнавал навещавших его людей.

В этом же чуме лежала больная старуха, лежала за спинами людей, и лопари равнодушно говорили, что она, должно быть, сдохнет.

В этом же чуме были молодожены, свадьбу которых я видел в Териберке.

Здесь были и болезнь, и старчество, и радость свадьбы.

На голове невесты все еще сияет повязанный сверху платком убор из бисера, нечто в роде брачного венца. Несколько недель после свадьбы носят его.

В этом чуме и Омельян, молодой лопарь — женатый, который берется меня провожать из Карозера в Вороний погост. С ним жена и ребенок. Вся семья — больные в чесотке и анемии.

Из здешних лопарей Омельян самый простоватый. Он не умеет считать денег. Жил в работниках и боялся у хозяина попросить хлеба — три дня не ел. Возраст он свой определяет в двадцать два года, но из того, что он призывался в 1922 году, можно понять, что ему лет двадцать восемь.

— Какое, он не настоящий хозяин. Домов и карбасов на осенних и зимних стоянках у него нет. Стадо совсем малое.

— У его отца было большое стадо. Все роздал. Кто его напоит, тому и оленя дарит. Женка плакала, не давала. А он раздарил — детям ничего не осталось.

Его дочь—Анна Омельяновна—трехмесячный ребенок, запакована в деревянную коробку, нечто в роде корыта, которое с ребенком можно ставить к стене, можно и ложить.

Я помню, вошел я в первый раз в чум и, выискивая, где сесть в тесной людской толпе, примостился к краю куваксы и так сидел.

— Ты у меня смотри не налегай, там у меня Анна Омельяновна, — сказал лопарь.

Я как раз до этого писал письмо с поклонами. Лопари, перечислив всех кланявшихся родным, кончали Анной Омельяновной. Но Анны Омельяновны я не знал.

— Где Анна Омельяновна?

И, обернувшись, я увидел, что прислонился к маленькому коробу, который лежал на ряду с другими вещами так же небрежно, как вещи и меха. Из короба глядело маленькое, пунцовое, осыпанное золотухой и какими-то паростами лицо.

Шевелиться ребенку нельзя. Он плотно связан, как вяжут багаж. Так вот оно, новое поколение!

Лопарь с гордостью и радостью показывал Анну Омельяновну, и я понял, что родить и такую девочку в тундре — большая вещь, которой можно похвастаться.

Три родных семьи, в том числе моего хозяина, потомком единственным считают трехлетнего Андрюшу.

Хозяин Андрей Михайлович бездетен. У него приемная дочь — Нина. Мальчик Андрюша ходит из чума в чум гостить, и его везде принимают как бы с некоторой гордостью.

Я никогда не видел, чтобы лопарь ударил ребенка. Если ребенок плачет,

лопари стараются об'яснить причины плача.

Ребенок для них, как старейшина.

Я понял, лопари стоят лицом к истокам реки, к прошлому.

У лопарей люди быстро стареют, и какой-то родовой старостью, они несут на себе дряхлость народа. Ребенок же, как те старинные лопари, которые жили в «дикое время»,—в нем молодость расы, ее прошлое.

Так лопари близки к детям, оленю и собаке. О собаках они говорят: «Сказывают, будто собаки в дикое время еще говорили. А потом замолчали». (И когда посмотришь лопскую собачку, как она живет и во всем подражает человеку,— почувствуешь: да, здесь собака не так давно замолчала.)

Старик для лопаря есть просто одряхлевший человек.

Стариков у лопарей я не видел. Видел старух. Какая разница со старухой Заонежья, у которой на руках и третье и четвертое поколение. Там старость рассматривается, как старшинство, как воля рода.

Лопари привыкли к тому, что у них родители умирали молодыми. О живущих еще старухах они говорят, как об ошибках природы, и, стараясь определить что-нибудь безобразное, сравнивают его с лицом старухи.

Когда мы жили на осенних избушках в Карозере, старуха лежала и кашляла под нарами у порога. Она всегда у порога. Она как устаревший мешок, который скоро развалится, и надо будет его выбросить вон.

А ребенок Андрюша ходил, как отец всем лопарям, по чумам. В каждом чуме на отдельном табурете ему ставили закуску и чай. Он пил, не оглядываясь на людей. Затем вставал, прощался, говорил по-лопарски «гостите».

— Мы его в прошлый год спрашивали, чей ты сын? Он отвечал — Александра. Потом собака принесла щенков. Он посмотрел, стал отвечать: я Манькин сын (собака—Манька). А потом орехов сын опять оказался. Прошлый год накормили мы его орехами. Он все ходил, говорил: мы орехов сын. Ему орехи понравились.

Собака родила девятерых щенков. Одного ей оставили, остальных покидали в озерко. Семь быстро утонули, а один долго держался на воде и дерзко плыл к берегу.

— Будет хорошая собака, — сказали лопари и полузадохшегося щенка вернули к матери.

Мальчик Андрюша долго сидел с собачьей семьей. Затем я вижу, он ходит по куваксам со щенком на руках.

— Корми, корми, — говорил он матери. И мать вынимала грудь, прикладывала к ней щенка, представляя кормление.

Так Андрюша обошел всех женщин, и везде кормили его щенка. Только девушки сердито отстранялись, когда он подходил с той же просьбой к ним.

И казалось мне временами, что вот олень заговорит, собаки вспомнят дикое время и свое старшинство над лопарями. Лопари на той удивительной черте, где человек приоритет над зверем чувствует как недавнее приобретение и, пожалуй, гордится этим. Зовет зверей глупыми.

А для нас, городских людей, звери давно стали абстракцией, туманным пятном.

Пишу я о зверях, о детях, об олене — сразу. Тундра этого требует. Это резьба на кости. Одиночество в северной степи, где элементы лопарского искусства становятся тебе понятны в их великой первоначальной форме.

Лопари поют прекрасные песни, но нужно их на этой песне еще поймать. Лопарь импровизирует, а их импровизация — процесс, подобный тому, как мы снимаем и смотрим свое белье, то, к чему привыкли и что только наше. Пока вы не вошли в атмосферу чума, при вас не станут петь.

Лопарскому языку я только учусь. И не догадывался о смысле песен. Хозяйка сидит — и вдруг запоет. Как будто обрывок мысли выделится у ней в речь, и надо его подчеркнуть.

Так и говоря с русскими, иногда немного протянут фразу — отсюда уже ждешь песни. Протянутая фраза может вызвать ряд других. И вдруг запоет, точно горох посыпался. Запоет именно высказываниями. В отдельных фразах

совершенно чувствуется четкий характер мысли. А от всей песни — точно лопарю стали вдруг нужны крылья и он разворачивает их.

Мы подошли, наконец, к осеннему месту, Карозеру, и я поразился тиши не этой земли, у которой есть хозяева и которая девять месяцев в году стоит без людей.

Мы запалили очаг—в роде камина—в углу избушки. Сразу начались приготовления к рыбной ловле. И я вышел осматривать это дикое место.

Походил возле изб. Они расположены на берегу. Между ними маленькая хлебопекарня, погреб, землянки для овец. Деревня или город в зачатке. Глубокой археологией, началом веков веет от этого способа строить деревни.

В дороге наша группа разошлась,— две семьи ушли на Лекозеро, где они проводят осень. Две семьи пошли на другую сторону Уарозера. (Там они поселились из-за удобства рыбной ловли.) От наших изб видно на другой стороне озера возвышение: это полуизбушка, полуземлянка, где живут эти две семьи. Между ними на озере тоже дом — маленький остров и на нем кресты.

Дом для покойников лопари выбрали посредине озера — места там как раз для нескольких могил; странно видеть, как этот маленький кусочек держится среди бурной воды, как его не захлестывает.

Я ехал с одного поселения в другое — маленький карбас вертелся на волнении, я устал, и пришлось остановиться отдохнуть у покойников. Остров на средине озера весь покрыт морошкой — красной красивой ягодой. Со странным чувством я постоял здесь и поехал дальше.

Праздничную оленью упряжь мне тоже показали. Она вся сияет бисерами. Она — часть мифа об олене. Она — почет оленю. Воображаю, как выглядит этот серый зверь, о котором здесь думают, как о старшем родственнике, в этих цветных блестящих одеждах.

Сейчас все это делается уже лопарской стариной. Хранится она в тундре под свежим почвенным воздухом, в амбарах и ждет исследователей.

Нужно мне уезжать. Я оставил след и в тундре и лопарском сознании. Через год-два я возвращусь сюда поглядеть на свой след, может быть, приду со стадом по старым местам, увижу очаги, у которых сидел, и будет у меня странное чувство возвращенной родины.

Мы выходим утром с парнем Омельяном. С нами собака. Перед нами путь, который никто никогда не мерил. Лопари об этом пути говорят гадательно.

— Можно, наверное, пройти там. Будет теперь две речки. Пройдешь в брод. У второй реки — там путь по камням. Сорвешься с последнего камня, попадешь в яму, такая там дорога.

И вот я, Север—и передо мной мой провожатый.

— Вот гора, оттуда видна гора, откуда Лекозеро видно.

Шли мы долго, без остановок. Могучие горы перед нами. На минуту остановившись, парень показывал озера, и мы опять шли в глубь гор. Страна развертывалась, как страницы книги. Оттого легче было итти.

— На той горе будем чайничать.

И я соглашался чайничать и с тревогой следил: путь не уменьшается. Гирвасное озеро не выходило из глаз, горы не приближались.

— Ну, теперь будем переходить через реку.

Крепкая порожистая река. Ее течение изредка перебивают камни.

— Как переходить?

— Там под водой камни — на них будем ступать. Бери палку в руки. Тоборки сними. На босу ногу обмотай тряпки. Иначе будет нога скользить.

У меня в душе и прекрасная бодрость и маленький страх холодной воды. И как итти по такой сильной воде. Но можно итти только вперед. Путь идет через воду. Прекрасно, когда путь сам заставляет итти.

Я готов. Парень идет впереди меня. В самом деле — под водой видны черные вершины камней. Нужно быстро и уверенно ступать — камень скользкий, и под водой его еле видно, а вода несет быстрая. И, кажется, будешь сейчас весь в воде.

Я перехожу с камня на камень. Иногда остановишься в поисках, куда ступить, но останавливаться долго нельзя — сейчас же ступай дальше, иначе сшибет.

Парень перебрался. Конец пути — до берега три шага. Они — темная яма. Надо прыгнуть. Волнуясь, вспомнив слова лопарей,—«тут тебе не перейти», я делаю слишком большой шаг и понимаю его бесплодность. Боязнь холодной воды прошла, я весь сижу в сразу утомившей все тело слепой воде. Вода всюду ввинтила меня как винтами. Даже дышать перестал.

Надо мной лопарь. Зовет меня — надо скорей итти.

Я на сухом месте, но теперь я сам могу смочить землю. Я требую костра. Лопарь против — нужно к вечеру дойти до Лекозера.

Все-таки разожгли костер. Дымится ягель. И над огнем горят мои рубашки.

— Дойдем мы до той горы, будем чайничать,—сладко говорит парень. — Дойдем мы сегодня до той горы, как думаешь?

И я согласен дойти докуда угодно. Как собаки с цепи, срываемся мы и идем легким путем по низменной тундре — сухим белым мхам. Серый холодный день. Березки. Ночуют здесь огромные камни. Кажется, здесь камню дано расти, как грибу, что у него есть своя душа. Он подобен оленю в тундре. Видишь целые стада камней.

Меняется земля — начались легонькие лески, и я вспоминаю Россию. А в одном месте вдруг что-то большое зашло мне в сердце. И я сразу не мог понять: легкой тенью что-то стояло среди ягеля. Что это такое? Я уже отвык— это просто красный цветок — весть о том, что здесь тундра уже иная. Надо побыть на Севере, чтобы понять, что такое цветок на краю тундры. Он, как мысль волшебника, необычаен.

Но я устал. Я чувствую злость к этому лопарю, который в полусумраке идет передо мной как тень, как демон, не поддаваясь тому, что меня утомляет, притягивает к земле. Мне хочется разубедиться в его легкости и бестелесности. Я с трудом сдерживаю себя от желания ударить его палкой сзади.

Но он идет, и я покорно шествую.

И вот в глубине березовых рощ блеснула река...

3. ТЕПЛЫЙ СТАН

(Отрывки)

Ник. Смирнов

Избушка над озером

Мы ехали проселком, среди деревенских запахов, среди озаренных васильками ржей, за которыми с предвечерней мягкостью синели мирные летние дали...

Облака жемчужно прозрачнели, сияли, как лебяжья грудь в водяном серебре, ветер стихал, — далеко был слышен звук оттачиваемой косы, напоминающий редкий сорочий стрекот, — и широко-широко, с какой-то казацкой вольностью, раскидывались по сторонам обкашиваемые луга. На лугах солнечно-янтарными зеркалами лежали утиные болота. Мимо проходили мордовские села, длинные, с крепкими, ладными избами, около которых толпились босые ребятишки в вышитых рубашках. По улицам встречались нелюдимые, нахмуренные мордовки, то с уродливыми «рогами» на головах, то в легких, красивых сарафанах, то в простых холстинковых «платьях» и широких сапогах с морщинистыми гармонными переборами.

В одном селе — последнем перед лугами — нам попались две девочки, два подростка, которые были наряжены с такой сложной многоцветностью — на них было что-то оранжевое, песчаное, и вместе, огнистое, пурпуровое — и которые шли, взявшись за рукп, с такой грациозно-танцующей неспешностью, что мы следили за ними до тех пор, пока они не смешались с пестрой, о чем-то

громко говорившей женской толпой.

— Как горлинки, — улыбнулся, следя за ними, шутник и балагур Дулевский.

Впереди, по лугам, блеснула река, — оттуда сладко и бодро тянуло тинистой рыбной свежестью.

— Вот и Вад, — сказал наш «капитан», Алексей Силантьич. — Пора выходить. Приехали.

Он первым спрыгнул с телеги, и я с любопытством взглянул на него: крепкий, по-охотничьи молодцеватый и ловкий, крепко перетянутый патронташем, в высоких, узких сапогах, с ружьем на плече, Силантьич, в свои пять десят лет казался совсем молодым, — молодость сердца чувствовалась и отражалась во всем: и в глазах, и в оливковом загаре кочевнически-степного — ногайского — лица и в литой физической силе, проступавшей в каждом его движении.

— Теперь пошли,—проговорил он,— и неторопливо, неуставающей походкой зашагал по влажной тропинке, волнисто сбегающей к реке, заросшей камышком, тальником и ивой.

Вокруг нас страстно закружил гравюрно-живописный ирландец Райт.

Не успели мы подойти к реке, как из камышей с неподражаемым изяществом выбросился легкий, щеголеватый чирок.

— Видишь, — обернулся Силантьич, смотря на меня сразу затуманившимися глазами.

— Клянусь шарфом пречистой королевы, из-за которого дрался на севильском турнире мой предок дон-Игнацио дель-Дулевода в 1777году, что вы такой охоты не видывали,—скороговоркой зачастил Дулевский.

Силантьич перебил его:

— Брось шутить: мы — на охоте.

— Молчу, — согласился тот.

В это время над нами плеснул острый, как бритва, свист утиных крыльев,— налетела целая стайка, — мы мгновенно сорвали ружья, и наши четыре тяжких удара с певучим грохотом разнеслись по сенокосным вечерним лугам. Стайка разбилась, но, сейчас же сомкнувшись, снизилась, испуганно и быстро заскользила над самой рекой, сетчато отражаясь в ее глубине.

Мы растерянно посмотрели друг на друга.

— Ничего, рука еще не окрепла, — сказал я.

Силантьич промолчал, покачал головой, торопливо сменил патроны и, уходя к реке, к ивняку, таинственно прошептал:

— Становитесь на места: солнце — на закате.

Солнце опускалось, туманно пунцовея в смуглых тучках за луговыми просторами. Тонко розовели в его свете снежные чайки, кружившие над болотом. На сельском прогоне, где пылило стадо, нарядно алел чей-то мордовский сарафан, узорный и пестрый, как крылья брачного селезня. Музыкально и чисто долетало издалека влажное, согласно играющее чоканье кос.

Я стоял в камышевой долине, смотрел на шафрановую сталь речного затона, на сизо тускнеющее солнце, на вольные равнины лугов, среди которых огромно поднимались, напоминая о голове сказочного витязя из «Руслана и Людмилы», сенные стога, и, как всегда на охоте, чувствовал несравненную, предельную обостренность слуха и зрения, заставляющую с мучительным нетерпением ждать и желать только одного — выстрела.

Утки летели стороной... летели неустанно... одна за другой... стая за стаей... и только позднее, когда на небе заголубела первая звезда, на меня близко налетел, порывисто метнулся в сторону задорный и бойкий трескунок. После первого выстрела он забрал вверх, а после второго—дрогнул и, кружась, хлопнулся в траву, безмерно обрадовав меня своей теплотой, поникшей головкой и лиловой синевой на острых, выгнутых крыльях.

— Начало есть! — крикнул я, подходя к Силантьичу, который с басовитым довольством ответил:

— И у меня тоже!

На его ремне болталась, низко свисая перепончатыми лапами, обмякшая и тяжкая крякуша.

Дулевский, которому не пришлось стрелять, был, однако, рад не менее нас.

— С полем,—говорил он, весело оглядываясь, ища и припоминая — он был здесь не впервые — дорогу к нашей охотничьей избушке.

Мы быстро и бодро шли в хлороформенно-пахучей, теплой, комарино-жужжащей болотной темноте, шли какими-то тряскими тропинками, по берегу реки, уходящей к неясно темнеющему лесу, на опушке которого, над спокойным и широким озером стоял бревенчатый домик, а рядом—одинокая мордовская пасека.

Когда мы подходили к пасеке, Силантьич выстрелил, звеняще располыхав темноту огнем и грохотом, по-охотничьи крякнул: «О-гой... Кузьма...» — и с пасеки на нас быстро стало надвигаться что-то живое, черно-белое.

— Алексей Силантьич,—радостно заговорил кто-то, вплотную приблизясь к нам.

— Здорово, друг. Давай, отворяй хату.

— Да самоварчик не плохо бы закипятить, как ты думаешь, Кузьма Петрович? — восторженно засуетился вокруг Дулевский.

И, как только отомкнули дверь, как только на нас пахнуло черничной свежестью бора, — на стенах избушки еще не высохла ароматная, слезно-чистая смола, — Дулевский не выдержал: с шутливой легкостью сплясал что-то в роде «казачка», приговаривая:

— Нет, надо совсем переселяться сюда... надо бросать город к... чортовой матери.

Засветилась лампа, закипел самовар, в раскрытое окно потянуло озерным холодком, — на озере, слышно было, звучно переплескивалась рыба, — в избушке было по-охотничьи приветливо и мирно, а за окном — тихо, глухо и чуть тревожно от утиных криков, от чьих-то дальних голосов, от лошадиного ржанья в темных и теплых лугах...

— Перелеты хорошие?—спросили мы Косова.

— Да, летают... есть... — неторопливо и глухо ответил он, с треском раскуривая короткую черемуховую трубку...

Высокий, худощавый, слегка сутулый, лохмато-черный и остроносый, Косов напоминал о чем-то воосточно-романтическом — майн-ридовском, или библейском: он был похож и на древнего пастуха из палестинских долин (была в нем некая задумчивость, углубленность) и в то же время на ловкого и хищного индейца, до старости сохранившего подвижность, легкость и зоркую быстроту.

Он когда-то не раз в одиночку ходил на медведя и, неотступно, днями, месяцами травил по пороше дико-сторожких рогатых лосей.

— Мы со Степаном,—рассказывал он, — ни одного лося не упускали: пошли— значит кончено.

— А кто это Степан? — спросил я Силантьича.

Он только махнул рукой.

— Э-эх... это вот — охотник!

— А он скоро придет сюда с покоса, — сказал Косов.

И действительно, скоро в дверь мягко и осторожно вошел здоровый и сильный, круглолицый, чуть рябой, голубоглазый и русый мужик-славянин, в мокрых, растоптанных лаптях. На одном его плече висела отсыревшая, опутанная травой, коса, на другом — ружье. На груди болтались три кряковых утки.

— Со всем, значит, оружием, Степан Максимыч, — посмеялся Дулевский.

— А как же, — степенно ответил он, — у мяня всягда так: кошу, а ружье за плячами... Вижу, лятит утка, бросаю косу — и за ружье: раз!

— У ней и сердце биться перестанет, упадет и лапки кверху... Правильно, Максимыч? — опять засмеялся, зашутил Дулевский.

— А это уж как задастся,— с хитрой улыбкой, слегка смежая глаза, ответил Степан.

— Ну, он м о ж е т редко: стрелок, — сказал Силантьич.

Он знал Степана с детства, — они вместе играли в «козны», а потом ходили по селу с рекрутскими гармошками, с задорно-грустными солдатскими песнями, — и теперь, встречаясь на охоте, вспоминали изредка «старину».

— Ну, Максимыч, вези утром в «Кобельник», там, помнится, мы целую лодку набивали утками.

И, оборачиваясь ко мне, сияя глазами, Силантьич добавлял с гордостью:

— Случалось, по сорок штук в утро, и одних матерых.

— Теперь, конечно, столько не, настреляем, а все-таки пустые не приедем, — все с тем же спокойствием, с той же неторопливостью говорил Степан.

Он разделся, бережно снял косу, бережно повесил ружье, бережно уложил в угол — вместо поодушки — намокший, отяжелевший ватный пиджак и с удовольствием сел за чай, отпивая из стакана вкусными, громкими глотками. Потом, немного поговорив, он лег спать в своих мокрых лаптях и онучах и заснул мгновенно и тихо, как здоровый и усталый большой лесной зверь.

Самовар остывал, холодок, втекавший в окно, стал острее, прозрачнее, душистее, — в нем было что-то фруктовое, апельсинное, — а где-то в болоте бесприютно и басовито, печально и гулко вскрикивала выпь: была поздняя-поздняя летняя ночь.

Озеро Имарка

Алексей Силантьич и Степан уехали еще за-темно, — я слышал в полусне их осторожный говор, слышал, как под окном звякнули лодочные уключины, и сейчас же заснул опять.

Меня позднее разбудил Косов.

— Вставай, утка полетел [1]),—говорил он, стоя над кроватью и по-вчерашнему, дымя своей короткой потрескивающей трубкой.

Я быстро оделся, умылся из озера похолодевшей, крутой, звонкой, яблочно-вкусной водой и внутренне ахнул: огромное гамсуновское озеро чуть дымилось, сверкая лазурью, розовостью, жемчугом и топазом. За озером, за лугами чисто алела заря, а по лугам снова чеканили, с металлической настойчивостью отбивали свое «вжиг-вжиг» дружные мужицкие косы.

Кузьма Петрович, не вынимая изо рта трубки, ловко оттолкнул узкую долбленую лодку и привычно замахал веслом: мы быстро наискось понеслись через озеро, над которым, высоко тянули утки.

Высадив меня на другом берегу, указав место перелета: «Вон там, около стожка у гати» — он понесся обратно, заскользил вдоль берега, часто задерживаясь около протоков, поднимая тяжелые, дрожащие «нерета», в которых билась, лучилась и сверкала рыба.

Я пошел к стогу, с восхищением вслушиваясь в немолкнущий чокот кос, с восхищением оглядываясь кругом: за селом поднималось солнце, слабый ветер приносил сладкую горечь росистой березы, а над неоглядною далью болот кружили крупные и зоркие ястреба.

И, еще раз оглянувшись кругом, я схватился за ружье: навстречу неслась, золотя крылья о поднимающееся солнце, небольшая утиная стайка. Близко подпустив ее, я выстрелил, но, смущенный чьим-то неожиданно прозвучавшим сзади юным и звонким голосом: «Не убьете...»—дал два таких позорных промаха, которые не забываются никогда. Выбрасывая патроны, я с досадой обернулся назад: рядом со мной стояла, прищурив изумрудно-сарматские речные глаза, молодая девушка, босая, легкая, в просторном мордовском платье, стянутом расшитым кушаком, с звенящим «сюлгамом» [1]) на смуглой, открытой шее.

Она засмеялась, зарумянилась, сказала с виноватым ребячеством:

— Извольте не гневаться.

Потом, помолчав, спросила:

— Вы из Москвы, писатель?

— Вернее, писец, — ответил я, вспомнив Пильняка.

— А я из Умёта — сказала она, оправляя сюлгам.

И, опять помолчав, показала на избушку.

— В этом домике остановились?

— Да... Заходите к нам...

— А кто это у «вас»?

Я назвал своих спутников...

— Может быть, слышали?

— Как же, знаю, читала. Приятно встретиться...

Она пошла в сторону, с звериной ловкостью запрыгала по кочкам, весело прокричала:

[1]) В мордовском языке женского рода нет.

[1]) Мордовское ожерелье.

— Удачной охоты!

— Значит, зайдете к нам?

— Будем поглядеть... — как говорят у нас. А пока привет.

Я, придя домой, передал ее лесной утренний привет Дулевскому.

Он, только что проснувшись, сидел на крыльце, смотрел на солнце, на озеро... «жалел», что проспал охоту, но, услышав о моей встрече, оживился, захлопотал с самоваром, с серьезной важностью раздувая его сапогом.

— Люблю чай... могу пить всегда, даже на ходу — как птица какаду... — приговаривал он.

По озеру неводами пробегала ветренная рябь, играла, переплескиваясь, серебряным клинком подбрасывалась рыба, и быстро скользил, ровно и тихо поскрипывал мордовский челнок.

Челнок скоро ударился в берег, из него выпрыгнул молодой парень, похожий на Кузьму Косова, такой же остроносый и быстрый.

— Матюша, чайку, — прикричал Дулевский.

Матвей Косов, возвратившийся с лугов, с косьбы, подсел к нам и сейчас же заговорил об охоте.

— Вечером поедемте на Дубанки, — уток та-ам...

— Шапкой не прикроешь... верно, Матюша? — перебил Дулевский.

— Сила, — подтвердил Матвей.

Вдали, на реке, раскатились два выстрела.

— Лексей Силантьич плывет,—улыбнулся Матвей.

Я пошел к реке и через полчаса увидел неспешно скользившую «русскую» лодку, на корме которой стоял, с морским мастерством опираясь на весло, «капитан», довольный, посмеивающийся, почти нагой, — в длинной полотняной рубахе.

— С полем?

Возбужденно-спокойный, опаленный солнцем и, как всегда, неторопливый, Силантьич рассказывал:

— На наваДок[1]) попали... Расстрелял почти все патроны... сидел как в ресторанчике: шалашка среди берез и в середине огромный пень, как стол. Если бы была, скажем, закуска, — совсем Дом Герцена.

— Сил-лантьич, мил-ла-ай! — кричал, подбегая к нам, Дулевский.

Впереди него ошалело несся Райт, совсем захмелевший от солнечного простора, от утренней свежести, от вида уток, болтающихся в моей руке. Он обвисал на нас, с дрожью обнюхивал уток, нервно раздувая влажно-агатовые ноздри и шумно стегая великолепным перистым хвостом.

Около избушки, над озером, бледно полыхал, сиренево дымился костер. У костра сидели две молодые мордовки, сестры Матвея.

— Куля, Проса, здравствуйте, — сказал Алексей Силантьич, присаживаясь к костру.

Старшая, Куля, женственная и бледная, в розовом сарафане и сборчатых сапогах, чуть смущалась, опуская большие темные глаза, а ее сестра Проса, худенькая, смоляно-смуглая, вертлявая, чем-то напоминающая куницу, держала себя с привычной и легкой простотой. Она, закрываясь рукой от бившего в лицо пламени, раздуваемого ветром, внимательно читала какую-то книгу в кожаном «школьном» переплете. Книга оказалась... учебником геометрии.

— Ну как, Проса, учишься? — спросил Силантьич.

— Понемножку, готовлюсь.

Проса, одна из немногих окрестных мордовок, только-что кончила школу II ступени и теперь готовилась в вуз.

От первобытной пасеки, похожей на вигвам, до вузовского экзаменационного стола, крытого пурпурным суконном, — длинная, крутая и счастливая дорога!

На пасеке, в избе — я с любопытством зашел туда—было скудно, грязно и душно, как и в каждой бедной крестьянской избе, но в саду — чудесно: липы, опутанные янтарным цветом, пахли каким-то бальзамически-куря-

[1]) От слова «наваживаться». Утки, скопляясь в стаи, «наваживаются», кочуют на каком-нибудь определенном озере или болоте, возвращаясь туда по утрам после ночной кормежки в хлебных лугах.

щимся теплом, а среди лип кружились, немолчно жужжали — звук, подобный заглушенному переливу гитары — черно-оранжевые, плюшевые пчелы.

— Повежливей ходи, — предупредил старик Косов, — пчела теперь злой.

Он достал густого солнечного меду, и попробовав его с пальца, зажмурился от удовольствия. От меда, как и от всего этого утра, пахло чем-то непередаваемо-душистым, истинно-летним, блаженно-земным, погружающим в бездумную дремоту, в убаюканную, счастливую тишину.

С юга дул, бежал ветерок, тихо клонящий пышные травы, над травами мелькали, вздрагивали, нежно трепетали и замирали бабочки, нарядные, как мордовские вышивки, на озере, чуть покачивая сахарных чаек, играла волна, а вокруг, по лугам, томительно струился прозрачный, стеклянный зной.

Алексей Силантьич спал на траве, на малайской камышевой цыновке, а Дулевский, сидя у костра, болтал с хохочущей Кулей, то показывая ей какие-то ярмарочные фокусы с удлинением одной руки, то рассыпчато и звучно «кудахтал», мастерски подражая курице. Потом он пришел в избушку, улегся на кровать, серьезно сказал: «Потрепался и — будя!...» — и сразу заснул.

Под окнами, над озером, все полыхал, колокольчато позванивая сухой хвоей, жаркий костер, над которым влажно темнел котелок, пахнущий ушастым утиным пером. Проса, отложив книгу, задумалась, смотря на певучее озеро, а Куля тихо, легко и чисто запела что-то старинное, мордовское... что-то печально-ласковое и вместе безмерно-радующее, — как эти заозерные, знойно-туманные дали, радостная красота которых смешана с таким ветхозаветным очарованием грусти. Проса, не отводя глаз от озера, тоже стала напевать своим глуховатых цыганским голосом, и я, лежа на скамейке, начал задремывать, засыпать, чувствуя на лице водяную свежесть, смягченную смолистым дымком костра.

Мордовский сарафан

Проснувшись, я увидел сидящего у окна Силантьича, а за окном — так же плещущее озеро, насквозь, как бы до глубин, осеребренное высоко стоявшим солнцем. Прямо перед окном зеленела, перисто курчавилась старая, щербатая ива, несказанно красивая среди бирюзовой синевы неба, — столь же красивая, как лиловая сирень в мраморной вазе или алая роза на черном бархате.

Около ивы стоял, дымя своей трубкой, Кузьма Косов.

Посмотрев на озеро, он улыбнулся:

— Умётский барышня плывет... как рыба плавает: умный...

— Как наяда, — поправил Дулевский, поглаживая свои коротко подстриженные усы.

Девушка, встреченная мной утром, несколько раз оплыла вокруг озера: она плыла с легкой, ненамеренно-спортивной быстротой, неслышно разбивая руками солнечные лучи, звонко и зыбко озаряясь и овиваясь их золотым хрусталем.

— Здравствуйте... — весело и — по воде особенно музыкально — с какими-то играющими переливами прокричала она нам.

Потом она вошла в избушку, свежая от воды, от солнца, от своих семнадцати лет и, стоя на пороге, с шутливой старомодностью поклонившись нам, сказала:

— Вот незваная гостья.

— Милости прошу к нашему шалашу, — весело ответил Дулевский.

Она присела, посмотрела на Алексея Силантьича.

— Вас сразу можно узнать: вы — почти как на фотографии.

Силантьич улыбался, Дулевский как бы растерянно оглядывал девушку, а она без всякого смущения перед «литераторами» мило и звонко болтала, переходя с одного на другое, — и вдруг выбежала за дверь, забралась на отроги ивы и, оглянув лазурно-золотое озеро, сказала с удивительной нежностью:

— Хорошо все-таки у нас на Имарке.

Она так же быстро исчезла в кустах... через несколько минут, попрежнему серебря и опаляя свои распущенные смоляные волосы, уже плыла вдалеке, покрикивая нам:

— До свиданья.

— Уплыл, — сказал Косов, насыпая трубку молочной зернью махорки.

Но вечером, когда мы возвратились с охоты, она сидела у костра, так восхищающего теперь своим трескучим полыханием, и, увидя нас, сказала как бы виновато:

— Опять забрела, — на огонек...

На ней был мордовский плат, по-монашески опущенный на лоб, и все тот же сарафан, с звонким сюлгамом, похожим на праздничные половецкие монисто.

Дулевский, остановясь у костра, спросил девушку:

— Как вас все-таки зовут?

— Зовут зовуткой... и не все ли это равно: ну, например, Надя, — рассмеялась она.

Рассмеялись и сидевшие рядом с ней Куля и Проса.

Они, как и утром, тихо напевали — уже другое, веселое, частушечно-ладное, плясовое.

И Надя, слушая их, вдруг подхватила, стала смеяться, прикрывать глаза, стала по-цыгански поводить плечами, задорно и лукаво приговаривая:

— Ух... ух...

Надя засиделась до поздней ночи, а ночью куда-то ушла, — в туман, в темноту, в лес.

— Неужели вы не боитесь? — удивился Дулевский, прощаясь с ней.

Она удивилась еще более.

— А чего же бояться? Я зимой и то часто в полночь уезжаю на лыжах... Знаете, очень хорошо: луна, в лесу иней — огромный такой, мохнатый, кругом — шорохи, треск — не волк ли? — немножко жутко даже станет, а потом только весело.

— Вот вы какая, — с новым удивлением сказал Дулевский.

— Такой уродилась... люблю лес, поле, озеро, — я ведь в лесу, как дома: летом часто уйдешь с вечера, заберешься в самую глушь, приляжешь к какой-нибудь сосенке, по-родственному прижавшись к ее стволу, да так и заснешь с птицами... с птицами же и проснешься, пропахнув смолой, хвоей, ночью... Я ведь какая-то лесная... Умные люди, пожалуй, глупышкой назовут за это.

Но вдруг сделавшись серьезной, Надя, опять как бы извиняясь, заговорила другим, убеждающим тоном:

— Вы не думайте, однако, что я — совсем «голубая», — вся в поволоке. я, например, могу в один присест заполнить половину стенгазеты... да и счетоводство у меня, как говорит ревизия, находится в «образцовом порядке».

— А вы счетовод?

— Счетовод.

Надя работала в сельской лесной артели... изо дня в день, из месяца в месяц, сидела в просторной сельской избе над синими конторскими книгами, с костяным треском отщелкивала на счетах, затаенно мечтая только об одном, — с'ездить когда-нибудь в Крым, на Волгу, в Москву.

— Отчего же вы не с'ездите? — спрашивали мы.

И Надя, блестя глазами, оживляясь и восторгаясь от одной мысли о том, что есть счастливые люди, которые могут видеть меняющиеся за окнами вагона леса, поля, равнины, отвечала с детской покорностью:

— Ярмак аш... [1])

Она приходила к нам каждый день, как-то дружески свыкаясь с нами, убирала, пока мы были на охоте, нашу избушку камышевой зеленью, лапчатой бирюзой хвои, венками обвялопахучих цветов, а потом, сидя на своем любимом ивовом отроге, с женским изяществом оправляя развеваемые ветром волосы и позвякивающий сюлгам, долго рассказывала о себе, о своей жизни...

— Все-таки вам, вероятно, скучно здесь? — спросил как-то Дулевский.

— Скучно? Нет, я не сказала бы, что особенно скучно. Ведь мне так немного надо... у меня есть маленькая комнатка, в комнатке сухие ромашки...

---

[1]) Денег нет.

папоротники, хвоя, камыши, лилии, книги, а вокруг — вы видите — озеро, лес, мордовские луга.

Оглянувшись вокруг, Надя, перекусывая травинку, продолжала:

— Только вот хочется посмотреть на белый свет... Так бы и ушла с котомкой — куда глаза глядят. Хочется — страшно хочется — учиться.

Она замолчала, опустила голову и, как-будто стыдясь, заговорила тише, перебирая нити сюлгама...

— Еще, знаете, страшно надоедают так называемые ухажеры. Одно это слово может свести с ума своей пошлостью!

— А вы еще не собираетесь замуж?

— Замуж? — искренне изумилась Надя и, расхохотавшись, добавила:

— Да как я только подумаю о примусе, — ведь это венец замужества! — так и готова убежать за тридевять земель. Нет, пока даже и не думаю.

— А этих самых, ну, скажем, поклонников-то, много у вас? — поинтересовался Дулевский.

— Завались, — как часто шутите вы. Сделав притворно-серьезное лицо, она стала перебирать по пальцам:

— Секретарь сельсовета, тихий такой, пасмурный, говорит — как вода капает... этот, правда, скромен, — любит издали, разочарованными взглядами: он ведь читал «Приложение к Родине»... Затем — Ромео из почтово-телеграфной конторы... бледное лицо, мочальные кудри... пишет письма на голубой бумаге с разрисованными голубками и сердцами, пронизанными пушистыми стрелами... Затем — и это самое страшное! — уже с непритворной серьезностью сказала Надя... — председатель нашей артели... сказочный великан с военной выправкой... он изводит меня по-настоящему, по десять раз в день спрашивая: «Скоро все-таки вы дадите ответ — согласны или нет быть спутником жизни?..»

Внимательно слушавший Дулевский задумался.

— Оказывается, вам живется не так-то уж весело...

— Не совсем, — согласилась с улыбкой Надя и поправилась:

— Вы не всегда обращайте внимание на мою улыбку: она иногда только приклеивается к моему лицу. Я, часто, только кукла с глазами...

Охотничьи зори

Мы ездили на утиные перелеты каждый вечер, — вечера, неизменно, были погожими и ясными, с чистым солнцем над лугами, с крепким запахом сена, с девичьими песнями на селе, — мы, покачиваясь в лодке, тихо и долго, дорожа каждой минутой, плыли среди густых и высоких камышей, в которых постоянно стоял какой-то смутный охотничий шорох.

Под лодкой тихо, играючи, журчала вода, в воде, совсем прозрачной и светлой, стояла-дремала, обманчиво увеличиваясь, рыба, — что-то темное, пятнистое, колюче-усатое,—а над водой носились ласточки, и скользили, жужжали и позванивали лазурные и перламутровые стрекозы.

Река, изнеможенная зноем, свежела, зеркально туманилась, по берегам, на лугах, навивали стога, опять напоминающие исполинские головы в солнечно-озлащенных шлемах, а вдали, за лесами, уже белел, прозрачно и тонко отливал оранжевым серебром сонный и теплый месяц.

Над рекой, над всей береговой далью стоял неясный, то розовеющий, то лиловый полусвет: наступал вечер, начинался непрерывный, лихорадочно-беспокойный утиный полет.

Мы выходили на берег, — на берегу нас постоянно встречал заботливо примолкший Степан Максимыч, — и молча, быстро шли по водянистым тропинкам, скрываясь в камышах, в ольшанике, оглядывая, как сквозь сеть, пепельный багрец заката, небесную синеву и звонкую луговую ширь, где весело переговаривались косцы.

Вечер все больше свежел и гас, — теперь по низам уже сплошь дымился жаркий-сырой туман, — и вот в стороне высоко проскользнули две крякуши... чуть снизившись ровно, одна за другой, понеслись над болотом... и вдруг одна, передняя, остановилась и — так казалось издали — еще раньше выстрела споткнулась, шатко

опираясь на перебитое крыло. Потом — сразу — она опрокинулась, закружилась и звучно, с плеском разбитого стекла, шлепнулась в воду.

— Райт, искать! — отрывисто донесся оттуда голос Алексея Силантьича.

Вслед за криком послышались шуршащие прыжки Райта,—было слышно, как он обминал камыши, — послышались торопливые и тяжелые шаги и новый, уже довольный и радостный голос:

— Тубо, отдай!

— Готово, Силантьич? — негромко спросил близко стоявший Дулевский.

Ответа я не слышал: со стороны Силантьича опять разнеслись два металлически-переливных удара, — и надо мной, низко, с каким-то ломающимся посвистом, беспокойно рассыпалось несколько ошалелых чирков. Торопливый выстрел заставил их метнуться вверх, сгрудиться,— и я, на мгновенье увидев их пушистые спинки, их круглые головки, похожие на вопросительный знак, выстрелил еще раз: один чирок круто, на-отлет, скатился вниз, а второй волнисто, толчками, снизился в камыши.

— Райт! — громко позвал я.

Через несколько минут явился Райт, возбужденный, шоколадно-липкий от грязи и ила, в кружевной наколке кувшинок, с чуть приподнятыми настороженными ушами.

— Там, — показал я по направлению упавшей утки.

Собака прокружила камышами, шумно обстегивая их хвостом, вернулась, подумала и, быстро переплыв озерко, потянулась, заносилась и, наконец, остановилась, беря нечто трепещущее, порывистое, замолкающее.

Вечер постепенно темнел, переходил в ночь. Цыганский месяц, поднимавшийся над лесом, сиял, как всегда в августе, грустно и одиноко. Но сырая, пахучая мгла, затопившая болотные равнины, была еще по-летнему тепла, — и все больше, все тревожнее лихорадил непрестанно дрожавший над этой мглой свист широко раскинутых утиных крыльев, и все чаще, все ярче вспыхивали кругом лучисто-золотые зарницы выстрелов.

Лёт, наконец, стал ослабевать.

— Ой-гой, — негромко прокричал Степан Максимыч.

— Пошли, — также негромко, с охотничьей таинственностью, откликнулся Силантьич.

Я выбирался к берегу, — шел тихо, настороженно поглядывая вверх, в звездную синь, а выйдя к реке, увидев то бесконечно знакомое, охотничье-родное, что всегда кажется неповторимым и новым: темную корму лодки, обвисшее весло и пики камышей, слабо краснеющих на закате, — с восторгом ощутил и свою, почти юношескую, физическую бодрость, и несравненную скитальческую радость, соединенную опять-таки с молодой и легкой грустью.

Грусть — позднего лета, позднего мглистого вечера — была не только в месячном свете, но и в тех недвижно-широких кострах на лесной опушке, где отдыхали косцы и откуда долетали то переливы гармоники, — гармоника выговаривала осторожно, раздумчиво, старинно,—то по-ночному заглушенные зовы стреноженных коней.

Слушая гармонику, смотря на ночные, страшно далекие, несказанно-древние ночные огни, я присел на борт лодки и крикнул:

— Гоп-го-оп!

— Здесь! — близко отозвался Силантьич, и я услышал бодрый, теплый говор и смех, увидел, присмотревшись, три неясно-призрачные фигуры, брусничную вспышку спички и неожиданно брызнувшую в небо огненную струю: кто-то из идущих выстрелил, прокричав мне:

— Береги!

Быстро глянув вверх, различив стемневшее подвижное пятно, я ударил и счастливо вздрогнул: утка, убитая наповал, с треском рухнула прямо в лодку...

Степан Максимыч взялся за весла, и чуть подталкиваемая лодка быстро заскользила по течению, вокруг слабо заиграла волна, а навстречу стали наплывать, надвигаться какие-то слонообразные тени: камыши, протоки, озера—все казалось теперь незнакомым, огромным, таинственным.

Мы плыли в тумане, во мгле, в бесконечности...

Собака, опираясь передними лапами на пошатывающийся борт, изредка поскуливала, высоко взбрасывая голову. Голова ее сплошь была обсыпана звездами.

Звезды, как и все вокруг, напоминали о недалекой осени: в них была зрелая яркость, подобная яблочной позолоте, блеск их, дробившийся в реке, был прозрачен, чист и как бы звонок.

Я, смотря вверх, быстро нашел голубую Вегу, звезду девичьей юности, потом острую, ледяно-пылающую Капеллу и, наконец, любимые Плеяды, еще низко вздрагивающие над лесом и чем-то похожие на мордовское ожерелье.

И высоко-высоко, прямо над рекой, ртутно переливал, широким, осеребренным парусом расстилался мифический паломнический Млечный Путь...

Лодка, обрывая и спутывая нити отраженных звезд, куда-то свернула, — в лицо резко пахнуло иодом гнили, — потом тихо, почти касаясь дна, пошла узким, угольно-темным травяным коридором и, наконец, оказалась среди неоглядного водяного простора, сплошь огнистого от дрожи звездных — русалочьих — ресниц.

— А мы все-таки куда-то не туда заехали, — с шутливым испугом сказал Дулевский.

— Да, похоже, — в тон ему добавил, улыбаясь словами, Силантьич.

А откуда-то из тьмы — из воды или из камышей? — кто-то невидимый громко кашлянул и спросил:

— Ну, как, с удачей?

Хорошо, что еще могут возвращаться иногда наивные детские страхи!

Я, держа за ошейник забрехавшую собаку, стал пристально вглядываться — и увидел человеческую тень по берегу, а за ней, в разноцветной путанице звезд, нашу кочевую избушку.

Егерь

После охоты мы нередко засиживались до рассвета... на рассвете бродили по ближним бекасиным болотам, по их зыбкому кофейному линолеуму и, возвращаясь домой как бы в блаженном забвении, мгновенно засыпали крепким, прохладным, юношеским (может быть звериным?) сном. А там — опять позднее утро, теплый (и вместе свежий) ветер, приносящий в избушку запах лип, цветов, трав и воды, опять трепет бабочек в мотающейся зелени ивы, плеск озера, опять голос Кули на пчельнике и все то же неизменно-чистое, голубое небо в редких, белоснежных облаках.

Силантьич, проснувшись, шел к озеру, быстро раздевался и, весь облитый солнцем, быстро заплывал на середину, вскрикивая оттуда:

— Дулевский, догоняй!

— Самовар уйдет... — отвечал тот из сеней и, смотря в дверь, жмурясь от солнца, говорил вполголоса:

— В Умёт, что ли, спорхать... уж очень село хорошее...

— Подожди, к вечеру сам приплывет, — смеялся Косов, потряхивая связкой свежей, чешуйчато-сверкающей рыбы.

— Да я не об этом, Кузьма Петрович, я говорю — село уж больно красивое, — отмахивался, поигрывая глазами, Дулевский.

По утрам я долго лежал над озером, на солнце, слушая плеск волн, ватно распенивающихся у берега... лежал и читал Киплинга и Лонгфелло, т.-е. то, что так или иначе напоминало об этих беспредельно раскинутых лесах, об этих прелестных днях, завораживающих своей синью и теплотой...

Однажды, уже накануне от'езда, лежа над озером, глядя, как прямо надо мной округляются, беличьим мехом лоснятся облака, я услышал позывистый оклик Силантьича:

— Гой!

Я оглянулся: он, белея широкой расстегнутой рубахой, быстро шел ко мне, с заглушенным волнением говоря на ходу:

— Едем на навадок.

— Когда?

— Через часик, через два.

— А куда и с кем?

— Там пришел, дожидается один мордвин, Тимофей, говорят, исключи-

тельный охотник... — Пойдем, побеседуем, — занятный, кажется, мужик.

Мы пошли: около избушки вразвалку сидел, о чем-то переговариваясь с Кулей и Дулевским, молодой рыжеусый мужик в перетоптанных лаптях и холщевой рубахе, с морщинистым веселым лицом, крупно залепленным ржавой бронзой веснушек.

Рядом с ним лежала старая солдатская сумка и длинноствольное неуклюжее ружье.

— Почтеньице, — коротко сказал он, протянув мне руку, и зорко оглянул меня прищуренным, искристым глазом.

— Значит, охотничаешь?

Тимофей порылся в карманах, похлопал по сумке и опять оглянул меня.

— Наверно, и табачок имеется?

Мы закурили, я взял тяжко лежавшее в траве ружье и, изумленно осматривая его, спросил Тимофея:

— Неужели стреляет?

— А то́ нет?—удивился он. — Другой раз жиганёшь русачка по пороше, — так часто почти пополам проточит. Крепкий фузея!

Фузея, ветхая шомпольная двухстволка-утятница, десятого (или, пожалуй, восьмого) калибра, паралично тряслась в моих руках: она была сцеплена и скреплена проволокой и сплошь покрыта ржавыми зернами заплат, почти как лицо Тимофея.

Тимофей, следя за мной, посмеялся:

— Не поверишь вот, а я еще прошлой осенью свалил медведя. 14 пудов 7 фунтов с гаком. А ты — можно ли стрелять!

— На берлоге?

— Нет, — оживился Тимофей, — натек на след... след, смотрю, свежий, как печатный пряник из печки... по следу слыхать,—зверь близко: стал перезаряжать фузею — и беда... что хочешь делай, а шонпол из левика назад не лезет... хоть плачь, хоть родителей вспоминай добрым словом—шонпол пристал, как язык к железу на морозе.

Тимофей заморгал глазами, сделал плачущее лицо, выругался, длинно сплюнув в сторону, и задыхаясь продолжал:

— Беда, говорю себе, Тимофей Семеныч, — табак в кисете, а спичек нет... — и хочется, и колется. Однако, чорт с ним, думаю, пойду посмотрю, шастеть снегом, ясно, не буду, — проберусь по воздуху — я горазд на это, — и вот иду, оглядываю, примечаю. Вконец стал, вижу под кустом трепется что-то, в роде живого листочка. А, думаю, здесь он: это ушко дрожит,—слухает, зверь,—и сам не знаю как — раз! — пониже этого самого листика. Поднялся зверь, заревел, башкой затряс — из башки кровь сыпет, как земляника из плетушки,— и прямо на меня!

Тимофей вскочил, схватил фузею и, прицелясь в ближнюю рогатую березку, зашептал с исступлением:

— Я, значит, чуть отхожу, — момент думаю, сурьезный, — выжидаю, напускаю зверя, а как зверь повернул боком, я ему—забыл и про шонпол,—раз еще под лопатку! Он завалился, да так и не дохнул. Наповал, значит. Подходить, конечно, гожу, опять заряжаю свою фузею—и опять беда: шонпола нет... весь, почти до маковки, вошел в зверя.

Тимофей захохотал и снова обернулся ко мне:

— Вишь, помаленьку еще постреливает... Да вот сам увидишь, — авось, по реке поедем, матёрка выхлестнёт где-нибудь по дороге...

— А навадок верный? — спросили мы.

— У меня ничего нет неверного: сказал, значит, обнадежил. Без сумлений. Забирай ружья, табачок, закусочки там, и аря...[1]). Я в охотничьем деле — кремень.

— Значит, постреляем завтра?

— Говорю: как фокусник на ярманке, будут высаживать этих самых чирят то из ворота, то—нехороша речь— из порток. Только уж, граждане-товарищи, не мазать: я этого не люблю. Дело что б было чистое.

---

[1]) Поехали (или вернее, пошли).

Тимофей опять расхохотался, стал гримасничать, — заговорил о себе:

— Я так думаю, вам не миновать на будущее время взять меня в егеря: я—человек любвеобильный, общительный, вольный. Закадышный охотник, словом. Гуляй, душа, — и кафтан нараспашку.

Он хлопнул себя по коленям и молодцевато приосанился.

— Нет, я не горюн. Люблю хороших людей, — канпанейский, стало быть, мужичок! — люблю обильный порционный харч: селедочку с зеленым луком, соленый рыжик, колбасу копченую... уважаю, при случае, и это самое — прополоснуть за галстуком, как говорят в городе... не отказываюсь и от бабского дела: завсегда готов оказать ихней сестре любезность.

Он притопнул лаптями, но вдруг стал серьезен, отрывисто сказал «саты!» [1]) — и ушел в березовую тень.

Бросив под голову сумку, он растянулся в траве.

— Я пока вздремну, а вам советую собирать доспехи, — стрельба будет хороший.

Мы стали собираться, снаряжать патроны.

Через два часа к нам вошел заспанный, лениво-румяный Тимофей.

— Инвалид гражданской войны Тимофей Завражнов готов к отплытию! — весело сказал он, шутливо приложив к козырьку руку.

— А ты был на фронте? — спросил Дулевский.

— Все было. У меня пониже спины и досель п у л я к а п и т а л а сидит.

Дулевский, приноравляясь к тону Тимофея, сказал:

— Не беспокоит?

— Нет, не беспокоит. С и ж у, но о капитализме думаю.

Старая пасека

Вечер, таинственный сумрак, призрачная дубовая просека.

Просека постепенно сменялась лощиной, запах грибов и вина — сахарной остротой росы, жилой теплотой дыма: впереди, среди лип, затемнела сонная и тихая пасека.

Тимофей потянул тяжелую дверь, — она была не заперта — и спросил, вглядываясь в жаркую и душную тьму:

— Есть кто-нибудь живой?

— Охотники, что ли? — ответил кто-то хриплым, заспанным голосом.

— Дед Игнат,—обрадовался Алексей Силантьич, снимая ружье.

Тимофей вздул коптилку, бледно озарив низкую продымленную, сенно-пахучую берлогу, в углу которой на широких нарах лежал, подняв кудлатую, серебряно-проржавевшую голову, древний бородатый старик.

Он, сощурясь, присмотрелся, как бы что-то вспоминая, приподнялся и, почесываясь, сказал:

— Чаевничать станете?

Потом он встал, поздоровался, усмехнулся.

— Вот и опять пришлось свидеться.

— Узнал?

— Узнал, Силантьич, узнал, дружок.

Старик разбудил спящих на полу двух п р а в н у к о в.

— Они все обделают, — сказал он нам.

Ребятишки быстро вскочили, засуетились. Ладные, белокурые, румяные, в вышитых, высоко опоясанных рубашках, в опрятных онучах и крохотных лаптях, они напоминали кукол из какого-нибудь музея старого русского быта.

— Стало быть, костер запаливать? — звонко спросил один из них, и сейчас же выбежал на улицу, затрещал дровами, крикнув оттуда другому:

— Мишутка, тащи ведро.

Старик, невысокий, плотный, сутулый, чем-то напоминающий дядю Ерошку, сел рядом с Силантьичем и, долго посмотрев на него, сказал:

— Видишь, Силантьич, все еще живу, — люди говорят, восемь десятков стукнуло.

Он помолчал, опять как бы вспоминая что-то:

— Теперь ровно и не сочтешь, сколь время прошло, как я тебя охотничьему-то рукомеслу обучал... тебе тогда

[1]) Довольно, хватит.

было годов, поди, не больше пятнадцати.

— Давненько, давненько, дядя Игнат...

Тимофей подмигнул Алексею Силантьичу, — Силантьич, нацедив из фляги маленький покатый стаканчик, подал его старику.

— На-ка, дедушка, выпей.

Старик медленно выпил и, оглаживая бороду, сказал:

— Дай бог не в последний...

— Видно пожить собираешься, не хочешь еще умирать? — усмехнулся Тимофей.

— Да как тебе сказать, — рассудительно и просто заговорил дед. — Всяко бывает: другой раз лежишь на печи и думаешь: «Без пути ты зажился, без стыда, ведь каждое дерево, каждая травка конец свой знает... а в иное время выйдешь вон в лес, солнушко увидишь, ягоду какую сорвешь, малину там али чернику, и порадуешься: сладко».

— Ну, а как насчет того-то, этого-то самого? — захохотал Тимофей.—Давно кончил аль нет? Большой был ведь ходок по бабской-то части.

Старик, поймав тон Тимофея, заулыбался.

— Куда там, — годов пять и думать забыл...

Я, услышав треск и звон костра, вышел на двор, сел к огню, переливно-кипящим столбом убегающему вверх, в звездный ночной мрак, разговорился с ребятишками, так восхищавшими своей бойкой подвижностью, опрятностью и задором...

Они ловко, с размаху, подбрасывали в огонь сухие дрова, внимательно следили за длинным цилиндрическим ведром, в котором вскипала вода, бойко и весело расспрашивали меня об охоте, о Москве.

— А Москва — большая?

Я рассказал им об автобусах и трамваях: они слушали, недвижно блистая удивленными глазами, восторженно и изумленно оглядывая друг друга.

И, закрываясь от огня, с треском ракеты разметавшего лапчатую подушку сухой хвои, опять спрашивали:

— А сколько стонт билет до Москвы?

— Около восьми рублей.

— Около восьми рублей!—еще больше изумились они и громко, почти испуганно вскрикнули:

— Какие деньги!

В ведре гулко зашипело и забурлило, — ребятишки, мгновенно подхватив ведро на длинную обточенную палку, еле втащили его в избу, откуда доносился громкий хохот Тимофея.

Тимофей рассказывал какую-то любовную историю, старик, полулежа на нарах, жадно и вкусно курил.

— Чашки есть? — спросил Силантьич.

— Чашки? Нет. Стакашек имеется.

Один из ребятишек достал стакашек, срезанный штоф, серый и скользкий от грязи. Тимофей, зачерпнув из ведра берестяный ковшик, перелил его в стакан. От чая пахло салом, щами, кислой капустой, но пить хотелось, и «стакан» быстро переходил из рук в руки...

Я опять вышел, сел на крыльце.

Было тихо и глухо-глухо: поздняя ночь дышала ключевой свежестью, сияла несметными звездами, прозрачно дымилась тонким дымом облаков. Среди облаков, низко над лесом, стояла, невидимо плыла смуглая ущербная луна.

Ко мне подошла собака, положила голову на мои колени, согревая их своей такой родственной теплотой, долго и ласково посмотрела на меня полунощными философическими глазами. В глубине ее глаз отражались звезды.

Звезды уже теряли свой блеск: на востоке стало чуть заметно белеть, хотя в лесу еще темнел все тот же прохладный, росистый мрак.

Я разбудил охотников.

— Пожалуй, верно, пора, — сказал Тимофей, быстро вскакивая с жаркого и душного сена.

Мы быстро собрались, пошли все той же таинственной тропинкой.

В лесу было тепло и сонно, на реке — прохладно и сыро. Лодка с неслыш-

ной быстротой заскользила у берега и скоро остановилась.

— Выходи, — прошептал Тимофей.

Он пошел вперед, повернулся.

— Осторожней: путь — путаный...

Мы, опираясь на палки, переправлялись через топь, зыбко и шатко ступали по вздрагивающим кочкам, тихо, с дикарской изворотливостью, ползли по стволам сваленных деревьев, а потом пошли по воде и, перейдя узкую болотину, неожиданно оказались на середине чуть голубеющего в рассветном тумане озера.

— Теперь как дома, — сказал Тимофей.

— Помнишь, я говорил: как в ресторанчике, — хочешь сиди, хочешь спи, — негромко добавил Силантьич.

Я, вслед за Тимофеем, поднялся, как бы по лесенке, по отлогому крепкому суку и оказался в глубокой и широкой расщелине сваленного, когда-то огромного, дуба, опутанного ветвями. В соседней, такой же могучей, расщелине поместился, спиной ко мне, Силантьич. Тимофей сел рядом со мной, положив около себя свою фузею с клыкасто приподнятыми курками.

Кругом заметно светлело: озеро, меняя тона, то хвойно зеленело, то нежно и бледно лиловело, а над лесом, на востоке, в недвижно-вырезных вершинах дубков, малиново румянилась заря. Луна, лимонно бледнея, меркла, прозрачнела, становилась легкой, фарфоровой. Пламенно, почти жутко, желтел, лихорадочно и нервно содрогался на юге великолепный Альдебаран.

Где-то вдали, в болотах, глухо прокатился выстрел.

— Скоро утка пойдет, — прошептал внимательно слушавший Тимофей.

И, оседая назад, кроясь в путанице ветвей, он чуть коснулся меня задрожавшей рукой.

— Летит.

Я сторожко оглянулся: чирок, свистнув крыльями, с шумом опустился на воду, разбив ее зеркальную тишину, красиво поднял хохлатую пунцовую головку и, оглядываясь по сторонам, беззвучно закачался, зыбко отражаясь в глубине.

Я выстрелил, окутав озеро спиртово-пахучим дымом.

— Пришил. Не дрогнул, — обрадовался Тимофей, совсем заглушая голос.

Вторая утка с разлета с резким кряканьем села на озеро, оставляя за собой розово-дробящийся свет. Вслед за выстрелом она взметнулась и, часто звездясь крыльями, искристо оплескиваясь водой, поплыла к берегу.

— Обзарился. Заранил, — хрипел Тимофей, хватаясь за ружье.

Быстро вскинув его, он тяжко и оглушительно грохнул, гулко вскипятив разноцветный фонтан брызг. Утка перевернулась, зернисто серея атласным брюшком.

— Не ушел, — сказал Тимофей, подергивая губами.

Сзади, почти один за другим, стукнули раскатистые выстрелы.

Оглянувшись, я увидел клочья дыма и двух недвижно раскинутых уток.

Силантьич торопливо заряжал ружье. Едва успел он щелкнуть курками, как задорный селезень, сухо потрескивая, закружился над камышом, осторожно снизился у берега, приподнялся, раскинув крылья, на которых вспыхивали лазурь и изумруд радуги, потом коснулся разомкнутым клювом оранжевой воды и неторопливо, охорашиваясь и сияя, стал подвигаться навстречу охотнику.

Охотник, чуть склонившись вперед, прицелился. Вместе с выстрелом селезень дрогнул, поник, уронив и вытянув головку.

— Веселая охота, — проговорил возбужденно улыбающийся Силантьич.

Утки осаживались почти безостановочно. Почти бесперебойно перекатывались над озером наши выстрелы.

Выстрелы смолкли лишь поздним утром, когда высоко поднявшееся солнце стало жарко припекать леса, а откуда-то издалека донесся идиллический пастуший рожок.

Тимофей осмотрелся, сказал: «Басня таш» [1]) и, не раздеваясь, побрел по озеру, — оно было неглубоко, — подбирая

[1]) Разговор кончен.

убитых уток и весело пересчитывая их.

— Двадцать семь! — громко сказал он, наконец, приближаясь к нам.—Знатный навадок.

Озеро опять было спокойное, одноцветно-голубое, — только вдоль берега двигалась, золотой треугольной звездой сверкала головка проплывавшего ужа, — а все вокруг: дубки, их тени, заросшие тропы и птичий пересвист, напоминающий флейту и гусли, — все с благодатной радостью говорило о том, что в мире свет, тепло, тишина и аромат зрелого счастливого лета.

Тихо, мирно, как-то по-гоголевски старинно было и на глухом лесном пчельнике, где вдоль гудящих, домовито-пахучих ульев ходил-расхаживал древний старик в длинной серой рубахе и нанковых штанах. Старик бодрился, смеялся и, щурясь от солнца, в отвес озарявшего липы, благоухающие медом, вероятно, опять думал, глубоко вдыхая летнее тепло: «Сладко»...

Отдохнув, мы поплыли к дому, — быстро понеслись мимо жарких берегов, среди синевы и зелени, расстилавшейся кругом с звенящей невозмутимостью, подобной какому-то очарованному сну...

Май 1930 г.

За рубежом

КРАСНАЯ АРМИЯ КИТАЯ

(Корреспонденция из Шанхая)

Вл. Лосьев

Осенью текущего года исполнится трехлетие существования Красной армии, руководимой ставшими легендарными коммунистами Чу Де и Мао Тзедуном,— лучше известной под именем «четвертой Красной армии». Много боев дала и приняла за эти годы доблестная армия. Ее боевые знамена хорошо известны крестьянству всего юга, ибо за годы борьбы армия побывала в Хунани и Цзянси, в Фудзяне и Гуандуне. На всем пространстве южных провинций, в крестьянских домах и батрацких избах, только и разговору, что об этой армии. Многомиллионное крестьянство. с любовью и радостью рассказывает о битвах, в которых участвовало наряду с красноармейцами, вспоминает первые трудные шаги существования армии, ждет ее приближения к своим деревням, так как армия несет с собою освобождение, проводит конфискацию и раздел земли, устанавливает рабоче-крестьянскую советскую власть, вводит и насаждает по деревням Китая новую жизнь. Но другие — помещики, ростовщики, гоминдановцы, джентри, купечество, чиновничество, миссионеры, империалисты, компрадоры, — с горечью констатируют тот печальный для них факт, что правительства отдельных провинций не могут подавить Красную армию, что генералы заняты междоусобной дракой и не обращают внимания на «такую опасность». С опасением вглядываются они в будущее, видя в нем одно сплошное красное; прислушиваются к крестьянским разговорам, к деревенским слухам и базарным толкам, и заранее широкой лавиной, ничем не останавливаемым потоком бегут перед приходом армии, заполняя своими беженскими телами и чемоданами все дороги к большим городам, все квартиры и гостиницы в портах, охраняемых китайскими и иностранными пушками.

А Красная армия продолжает свой победоносный, хотя весьма и весьма не легкий путь.

1

Четвертая армия образовалась в последние дни существования ханькоуского правительства, осенью 1927 года. В новую армию влились остатки революционных полков генералов-коммунистов Ие Тинга и Хо Лунга, один полк войск некогда революционного генерала Чан Фа-гуя, ныне об'единившегося с палачами китайской революции, с гуансийцами, несколько вооруженных крестьянских отрядов, которые существовали под руководством Мао Тзедуна, и крестьянские армии пяти уездов востока Хунани.

Все эти войска видали ожесточенные битвы и вели революционные бои. Некоторые из них совершили знаменитый поход на Сватоу. Некоторые были в свое время на стороне левых гоминдановцев, пытавшихся организовать в Нанчанге «третье правительство», в противовес явно реакционному и контрреволюционному правительству

в Нанкине и шедшему на об'единение с Нанкиным правительству Ханькоу. Солдаты вновь образовавшейся армии участвовали в хунаньском восстании, в северном походе, в походе на Нанкин и на Пекин.

Потерпев поражения, будучи разбиты под Сватоу, разочаровавшись в революционных фразерах, какими были на самом деле левые гоминдановцы, все эти войска разными путями пришли в Цзянси. И здесь, после многих совещаний, диспутов, бесед, порвали с гоминданом во всех его видах и организовали самостоятельную коммунистическую армию. Была проделана гигантская работа по унификации и об'единению всех этих разношерстных элементов, получивших разное военное и политическое образование. Ряды были реорганизованы, разные части были заново перегруппированы и спаяны. Чу Де был назначен главкомом армии, а Мао Тзе-дун был прикомандирован киткомпартией к армии для партийной работы.

В это время армия имела десять тысяч человек, но в ее распоряжении было всего две тысячи винтовок. Началась серьезная работа по тренировке армии, которая удалилась в горы, заняв ряд гористых местностей (Цалин, Линг-сиен, Гуйтун, Суйчуан, Юнгсин, Луенхуа, Нингку). Здесь армия отдыхала, залечивала полученные в боях раны и подготавливалась к дальнейшей борьбе. В ближайшие задачи армии входило занятие города Нингконга для основания в нем своей основной базы. Затем предполагалось распустить некоторую часть солдат по деревням для руководства партизанскими выступлениями и массовой борьбой и движением крестьян.

Конечно, пребывание армии в этом месте не было сплошным праздником и отдыхом. Правительство Цзянси неоднократно предпринимало против армии наступления. Три раза происходили серьезные военные стычки и битвы, но каждый раз цзянсийские войска с большими потерями отступали. Особенно жестокой была битва в Лунгюне, где, несмотря на значительный численный перевес, цзянсийская армия потерпела решительное поражение. Неудачи заставили правительство Цзянси сговориться с провинциальными властями Хунани и разработать план совместной кампании против «красных войск». Но и эта совместная кампания не увенчалась успехом. Правительственные войска всюду встречали со стороны местного населения, а особенно крестьянства, ожесточенно враждебное отношение. Войска не могли оставаться в крестьянских домах, а порою и в деревнях, ибо крестьяне нападали и избивали солдат и офицеров. Среди войск началось недовольство и брожение. Об'единенному командованию пришлось отозвать их. Уход провинциальных войск совпал с занятием Красной армией Нингконга.

На всей территории армии велась широкая партийная работа среди крестьян. Создавались крестьянские и рабочие союзы. Развивали работу женские, пионерские и комсомольские организации. В уездах Нингконг, Юнгсен и Луенхуа вся земля была перераспределена между крестьянами. В каждой деревушке функционировал местный совет, подчинявшийся районному советскому правительству, расположенному при штабе армии. Армейцы вооружали крестьян, организовывали их в отряды Красной гвардии, обучали их военному искусству. При штабе был открыт красноармейский госпиталь и школа для младшего комсостава.

Все время происходили стычки и столкновения с правительственными войсками, что заставляло красноармейцев иногда отступать в соседние уезды и даже в соседний Хунань. Командование правительственных войск весьма часто бывало совершенно озадачиваемо, когда по тем или иным причинам Красная армия не могла или не хотела принять боя, красные солдаты рассасывались по деревням как своим (многие из солдат происходили из этих краев), так и чужим, прятали свои винтовки и «превращались в обыденных крестьян». Правительственные войска рыщут по всему району в поисках красных, — но армии нигде нет. Довольные, что загнали Красную армию в соседний уезд, войска, «торже-

ствуя победу», удаляются, а Красная армия появляется из деревенских убежищ и вновь смыкает ряды.

Но не всегда успех сопровождал выступления армии. Были времена, когда правительственные войска вытесняли их из гор и укрепленных баз, когда захватывали тот или иной пункт, крепко, казалось бы, находившийся в руках Красной армии, когда крестьянские союзы разрушались и вся налаженная работа терпела крах, когда Красной армии приходилось отступать и отступать, с трудом удерживая за собою ничтожно маленькие территории, за которые, однако, они цепко держались и воевали с беззаветной храбростью и геройством. Подобные минуты бывали и даже довольно часто. Но они лишь ожесточали и плотнее спаивали и об'единяли и роднили красноармейцев, партию с армией и с отдельными ее работниками и бойцами. Для характеристики одного из подобных моментов следует привести следующий весьма показательный случай. В момент тяжелого поражения отчаяние охватило одного командира, Иен Чун-чуана. Он вызвал бывшие под его командованием четыре роты пехоты, одну роту пулеметчиков, одну роту артиллерии и решил передать их победителям-властям или же перейти на сторону какого-нибудь генерала. Два дня безостановочно гнал он своих людей, дабы как можно дальше и как можно скорее отойти от красной базы. Но солдаты вскоре заметили его измену и восстали все до одного. Командир еле-еле спасся, а солдаты, несмотря на усталость, повернули обратно и через два дня все до одного возвратились в Красную армию, не потеряв ни одного человека и ни одного патрона. Эта попытка измены выявила глубокую преданность солдат делу революции, их высокую сознательность и лойяльность партии, а не отдельным командирам.

Каждое сражение, каждая победа и каждое поражение изучались с целью выявить слабые и больные места армии. Это изучение опыта приносило громадную пользу, так как армия постоянно изменяла и улучшала свою тактику, обращала большее внимание на местные вооруженные силы, местные условия и движущие силы, улучшала постановку военной тренировки и по-иному направляла работу массовых организаций. Поэтому всякое поражение носило лишь временный характер. Армия скоро оправлялась от ударов, вновь сплачивала свои ряды, заново восстанавливала свою работу, захватывала обратно свои базы и горы, вновь развивала крестьянские союзы и партийную работу. Власти и буржуазия никак не могли понять и не понимают по сей день этого феноменального явления: разбитая армия, еле дышащая, через некоторое время вновь становится сильной и боеспособной.

Зимою 1928—1929 года Красная армия находилась на границе Хунани и Цзянси и переживала весьма тяжелое время и громаднейшие затруднения. Продовольствия было в обрез, а часто его совершенно нехватало: в продолжение многих недель армия питалась исключительно плохим рисом и тыквой. Обмундирование износилось и заменить его не было чем. Два месяца солдаты не получали денег на мелкие расходы и побочные нужды. Об'единенные власти трех провинций — Хунань, Цзянси и Фудзян — усердно подготавливались к нанесению «смертельного удара Красной армии» и блокировали весь район красных. Несмотря на это, армия сохранила свой боевой дух на должной высоте, что опять и опять показывает, какая глубокая разница имеется между Красной армией и любой армией любого китайского правительства или генерала.

Именно в эту тяжелую зиму правительственные войска начали серьезное наступление у Дайю. В этом поселке не было крестьянского союза и поэтому никто не предупредил Красную армию о начавшемся наступлении, как это обычно бывает в тех местах, где имеются крестьянские союзы. Захваченная врасплох и этим поставленная в неблагоприятные условия борьбы, Красная армия решила отступать в сторону Гуандунской границы, через пограничный горный район Хунань—Цзянси — Фудзян — Гуандуан. Во мно-

гих местах этого района не было крестьянских союзов, крестьяне все еще не оправились от жестоких ударов белого террора предыдущих лет, боялись высказывать свое сочувствие и солидарность. Отступление было весьма тяжелым. Солдатам приходилось проделывать по девяносто ли в день, часто маршировали и по ночам, так как опасались разбивать палатки в незнакомых и враждебных местах. В горах всюду снег, холода, отсутствие пищи, изношенное обмундирование, погоня противника, всегда свежего и боеспособного, так как правительственные войска на определенных участках менялись. Больше месяца продолжалось это голодное отступление. Четыре битвы были приняты и проиграны. Все устали и болели. Однако, за все это тяжелое время не было ни одного случая неповиновения, нарушения боевой дисциплины. Никто не высказывал даже нареканий или неодобрений. Ни один солдат не дезертировал. В день китайского нового года произошло серьезное сражение у Дапути, где на отступающее войско напала целая дивизия генерала *Лю Зи-пи*. Борьба была необычайно жестокой. Вскоре у красных иссякли запасы амуниции, и красноармейцы пустили в ход лозы, палки, камни, пустые винтовки и голые кулаки. Начавшись в три часа дня, битва прекратилась лишь в полдень следующего дня, и Красная армия одержала блестящую победу: вся дивизия была разбита и разгромлена.

Таким образом, Красная армия к марту 1929 года дошла до Фудзяна. В это время начались междоусобные распри и войны между Чан Кай-ши и гуансийцами, а потом с Чан Фа-гуем, а ныне с Фын Юй-сяном и Иен Си-шанем. Начались лихорадочные приготовления к междоусобной войне. Это сразу разрядило атмосферу для Красной армии и значительно облегчило ее положение. Была разгромлена бригада генерала Го Фын-мина, и сам генерал убит в битве. В середине марта был взят город Динчжоу (Чанцдин) в Фудзяне. Здесь Красная армия отдохнула, перестроила свои ряды, пополнила обмундирование, достала новые запасы одежды и обуви, приняла большое количество новых рекрутов из крестьян. По деревням была развернута широкая массовая работа, началась партизанская борьба, стали создаваться крестьянские союзы.

Вскоре весь запад Фудзяна и юг Цзянси пылали в огне крестьянской войны. Крестьянские бунты и восстания происходили повсеместно. Красная армия установила и поддерживала тесную связь с партизанскими отрядами и крестьянскими союзами, руководителями которых были в большинстве случаев красноармейцы. За весну и лето крестьянская война охватила целый ряд уездов Фудзяна и Цзянси: Нингту, Гуанчангти, Юду, Шуйкин, Шангхан, Лиенченг, Юнгдин, Лунгенчоу, Вупин и много других. В боях Красная армия нанесла серьезные поражения генералу Чен Го-чуй, почти вся армия которого была разбита. Много винтовок и амуниции попало в руки Красной армии. С тех пор Красная армия твердо обосновалась на западе Фудзяна. Она основала здесь советское правительство, провела аграрную революцию, организовала местную красную гвардию из крестьянской молодежи и настолько обучила ее, что основные кадры Красной армии оказались в состоянии уйти из Фудзяна частично в Цзянси, частично в Гуандун на помощь крестьянским и партизанским отрядам, борющимся там.

2

Что же представляет собой в организационном отношении четвертая Красная армия?

Каждый отряд имеет десять человек. Три отряда составляют один эскадрон. В роту входят три эскадрона. Батальон имеет три или четыре роты, а полк состоит из двух или трех батальонов, кроме роты пулеметчиков, артиллерии и отряда специального назначения. В армии имеется много невооруженных людей, что об'ясняется не только отсутствием винтовок для всех, но необходимостью иметь запасных солдат на случай болезни бойцов, для переноса амуниции и продовольствия, для пропагандистской работы

как среди армии, так и среди крестьянства. Особая организация, под бдительным наблюдением партийных органов, ведет всю работу по снабжению и финансированию армии, живущей по твердому бюджету, поскольку его вообще можно проводить в обстановке постоянных битв, наступлений и отступлений. Солдатские комитеты, помимо прочего, ежемесячно проверяют финансовые отчеты армии. Всякие нечестные поступки лиц, близко стоящих к снабжению и финансам, жестоко наказываются.

Во всех стоянках, бараках, столовках, посещаемых армейцами и комсоставом, висят особые плакаты с надписью: «В Красной армии — плата, одежда, питание офицеров, солдат и кули одинакова. В генеральских армиях —генералы, полковники, офицеры едят, пьют, одеваются лучше солдат». Этот принцип твердо проводится в жизнь. Когда нет продовольствия,—голодают все. При холоде — холодно всем. Между прочим, это равенство между рядовым и командным составом особенно привлекает крестьян к Красной армии. Среди крестьян распространилась и привилась кличка, которой они окрестили Чу Де: «главный кули».

Каждый полк имеет санитарный отряд, подчиненный Главному санитарному отделу штаба. Для лечения раненых и усталых армейцев в некоторых местах Фудзяна и Цзянси организованы «дома отдыха и лечения», где красноармейцы залечивают свои раны и, попутно, ведут всякую работу на крестьянских полях и в крестьянских союзах. Естественно, что эти «дома отдыха» существуют на территории советской власти, где, следовательно, открыто функционируют партийные комитеты и крестьянские союзы. Отмечается, однако, нехватка медицинских принадлежностей и врачебного персонала. После боев Красная армия приглашает на службу местных китайских лекарей для облегчения положения раненых и для оказания первой помощи.

Главком армии и представитель партии непосредственно руководят всей повседневной работой и жизнью армии. Их ближайшим помощником является начальник штаба. Имеются особые работники по финансовой и снабженческой части, по ведению общественной и политической работы среди армейцев. При каждой армейской части имеется политотдел, при котором функционируют отделы пропаганды, агитации и т. д. Политотдел ведет всю политическую работу в армии и руководит солдатскими комитетами, ведет массовую работу вне армии, в крестьянских и рабочих кругах завоеванных и соседних местностей. В тех местах, где органы советской власти еще не установлены, политотдел заменяет эти органы. И политотдел и военный отдел армии имеют равные права, и оба они подчинены высшему партийному комитету в тех местах, где органы советской власти еще не установлены, или высшими органами соввласти там, где она существует. В каждой роте, в каждому полку, в каждом батальоне имеются представители партии и партийные ячейки.

Солдатские комитеты, в которые входит также и комсостав, имеются во всех армейских единицах. Эти комитеты выбираются ротами, полками и батальонами, и выбранные в свою очередь выбирают и посылают делегатов в совет солдатских комитетов 4-й армии. Совет комитетов работает сообща с политотделом армии. Он участвует в управлении войсками, в поддержании дисциплины, проверке и наблюдении за финансовой и снабженческой деятельностью, ведет массовое движение, политическую и культурно-образовательную работу среди армейцев. Солдатские комитеты имеют право вносить свои предложения на рассмотрение военсовета. Временами комитет высказывает сомнение в правильности тех или иных постановлений или приказов. Но ни солдатские комитеты, ни совет комитетов не могут непосредственно вмешиваться в приказы военсовета или препятствовать их проведению.

Каждый день армия ведет усиленное военное обучение. Главное внимание обращается не на внешний лоск и не на приемы, нужные лишь на время

торжественных парадов, но на основные принципы военного искусства. В этом деле весьма энергично и широко проводится система соревнований и самокритика. Этим путем выявляются больные места и слабые стороны отдельных солдат и воинских единиц, и их немедленно пытаются загладить и ликвидировать. Ведется регулярная сторожевая и постовая служба, при чем солдатам тщательно об'ясняется значение и необходимость этих мер вообще и в частности охраны именно данного пункта. Среди командного состава также проводится соревнование: у кого лучшие бойцы, кто лучше обучает, у кого сознательней солдаты и т. д.

Такое же большое внимание уделяется и политическому образованию. Читаются лекции и доклады по вопросам рабочего и крестьянского движения, по истории революций, по коммунизму. Ведутся оживленные собеседования о каждодневных явлениях и событиях. Даются регулярные уроки политической экономии и по всяким социальным вопросам. По утрам и вечерам, при проверке личного состава, проверяющий офицер произносит небольшую речь, или, вернее, раз'ясняет какой-нибудь очередной лозунг или развивает жгучую и волнующую в данный момент тему. Вся эта работа тесно связана с каждодневной жизнью и нуждами красноармейцев, темы берутся из окружающей борьбы, затрогиваются хорошо знакомые мотивы, и поэтому красноармейцы, живо вовлекаемые в общую беседу, легче воспринимают и осваивают преподаваемые предметы. Большое внимание уделяется ликвидации неграмотности. Ныне многие красноармейцы, не знавшие раньше иероглифов, читают написанные самым простым и понятным языком листовки и прокламации, благодаря чему поднялся их авторитет, а вместе с этим и авторитет армии, в глазах крестьянства. Красноармейцев обучают участию в массовых митингах, произнесению агитационных и политических речей, рассчитанных, конечно, на крестьянскую аудиторию, перед которой выступают красноармейцы.

Таким образом, Красная армия готовит в своих рядах не только бойцов, в нужный момент выступающих против врагов с оружием в руках, но и руководителей партизанских и крестьянских вооруженных отрядов, передовых деятелей крестьянских союзов и организаций, руководителей и вдохновителей деревни в ее попытках строить новую жизнь.

Одной из особенностей китайской Красной армии является именно то, что, помимо особых кадров специальных пропагандистов, каждый солдат в отдельности готовится к ведению и ведет пропаганду среди крестьян, жизнь, нужды, запросы, психологию которых отлично знает и понимает, потому что сам происходит из крестьянства. Это запечатлевает в крестьянском сознании разницу между туфеями и национальными солдатами, с одной стороны, и солдатами Красной армии—с другой. Каждая воинская единица выделяет несколько специальных солдат, которые освобождаются от регулярной службы, и они, прозванные «солдатами пропаганды», ведут большую пропагандистскую работу. Они посещают чайные, являющиеся по деревням и на дорогах своеобразными народными домами или клубами, рестораны, ночлежные дома. Всюду они ведут беседы с посетителями, отвечают на все вопросы, развешивают листовки, раздают прокламации. На их обязанности входит созыв митингов по занятию армией деревень. Они пишут на стенах и заборах коммунистические лозунги и призывы большими, понятными даже малограмотным кули иероглифами. Среди крестьян сложилась поговорка: «Когда приходят красноармейцы, все улицы становятся красными, словно перед новым годом».

Армия ведет большую организационную работу. В тех местах, где еще до прихода армии существовали рабочие и крестьянские союзы, армейцы вливаются в эти союзы, исправляют тактические и идеологические ошибки и промахи руководства, вносят коррективы в их работу, берут руководство в свои руки и направляют работу союзов по революционному пути. Там же, где союзов и массовых организаций не бы-

ло, армия их организовывает и укрепляет, привлекая к ним в первую чередь бедняков и батраков, бывших солдат разных революционных или крестьянских армий, бывших членов крестьянских или рабочих организаций, которые бежали от террора и притаились по деревням.

Как сказано, жизнь красноармейцев была весьма тяжелой до прихода в Фудзян. Даже зимою они имели лишь одну рубашку. И только лишь в Фудзяне отдел снабжения оказался в состоянии предоставить рядовым по две смены белья, по два костюма, соломенные туфли, чулки и кепки. Лишь здесь, в Фудзяне, армия оказалась в состоянии регулярно расходовать по 15 сентов в день на продовольствие каждого солдата. Этого, конечно, очень мало. Но очень часто крестьянские союзы или отдельные крестьяне делают продовольственные подношения армии, которая также пополняет свои запасы конфискацией продовольственных складов помещиков, джентри и правительственных армий. Система жалования в Красной армии уничтожена, но солдатам выдается некоторая сумма на мелкие расходы: стирку и чинку белья, стрижку и бритье и т. д. Но эти выдачи не являются регулярными и зависят от финансового состояния армейской кассы, и поэтому часто красноармейцы не получают денег в течение многих месяцев под ряд. Вопрос о деньгах не является актуальным для солдат. Их отсутствие не создает инцидентов среди красноармейцев, не вызывает бунтов, не увеличивает дезертирства, которое вообще мало известно в Красной армии.

При солдатских комитетах имеется отдел развлечений. Весьма часто при всяких революционных годовщинах и праздниках отдел устраивает «вечера смычек». Собираются рабочие, кустари, подмастерья, крестьяне, красноармейцы. Устраиваются импровизированные выступления местных сил и талантов. Даются театральные представления на революционные темы или из жизни рабочих и крестьян. Происходят массовые танцы. Выступают артисты и артистки местных городских или деревенских театров.

Дисциплина поддерживается на должной высоте. Целый ряд особо серьезных проступков наказывается казнью, как только проступок установлен. К этим проступкам относятся: связь с врагами, измена революции, перебег к врагам, дезертирство, выдача военных тайн, насилия над женщинами, поджоги, убийства, вымогательство денег. Азартные игры наказываются конфискацией всех денег провинившегося и лишением его на определенное время выдаваемых средств на мелкие расходы. Наказывается опиумокурение. Посещение публичных домов также наказывается: это преступление приравнивается к произвольному отсутствию из казармы во время ночной переклички.

3

Все вышесказанное относится к 4-й армии Чу Де и Мао Тзе-дуна. Но это же почти в равной мере относится и ко всем другим красным армиям, оперирующим на территории южных провинций Китая. Почти все армии имеют такую же историю и ведут ту же борьбу. Здесь изменения зависят лишь от местных условий, и они столь несущественны, что не меняют общей картины. Это же самое можно сказать и об организации, строении, дисциплине, работе других армий. Разница лишь в деталях и мелочах.

По последним сведениям, на территории южных провинций оперирует четырнадцать армий:

1-я Красная армия—численностью в 5.300 человек. Она имеет трехлетнюю историю и оперирует на границе Хубей—Анхвей—Хэнань. В некоторых занятых ею территориях она провела аграрную революцию и организовала местные советы. Военным руководителем армии является Шю Чи-чен, бывший кадет знаменитой военной академии Вампу в Кантоне.

2-я Красная армия. Ее деятельность протекает в западной части Хунанской провинции и в западной Хубее. Насчитывая 5.880 бойцов, она развивает свою активность на верхнем

и нижнем Янцзы-цзяне и тесно связана в своей работой с 6-й Красной армией. Во главе ее находится Хо-Лун, который, потерпев поражение в борьбе за Сватоу, вывел армию в Хунань.

3-я Красная армия. Во главе ее стоит бывший слушатель военной академии Вампу Цэ Сен-ши. Армия состоит из 5.390 человек. Она оперирует в западном Цзянси, на востоке Хунани и на севере Гуандуна и в особенности в долине реки Гань, которая одно время была вся под властью основанного армией советского правительства.

4-я Красная армия насчитывает около девяти тысяч бойцов. За время своей деятельности она организовала от двух до трех миллионов крестьян, создала ряд крестьянских союзов, разбила несколько реакционных армий, отстояла свое существование, несмотря на тяжелые удары многих провинций, в ряде местностей создала советские правительства и провела аграрную революцию. Эта армия считается наиболее образцовой и наиболее сильной. В своих военных операциях она тесно связана с 3-й и 5-й Красными армиями и разрабатывает план общего руководства этими тремя об'единенными армиями.

5-я Красная армия. Руководитель армии Пан Те-вей в результате гоминдановского белого террора и подавления массового движения перешел на сторону коммунистов как раз в тот момент, когда «благоразумные элементы», желая спасти свою шкуру, наскоро перекрашивались в гоминдановские краски и отрекались от компартии. Армия насчитывает 6.860 человек и развивает свою деятельность в восточной Хунани, западном Цзянси и южном Хубее, все время стремясь приблизиться к Ухани и средней полосе долины Янцзы-цзяна.

6-я Красная армия, под руководством Гуан Чи-юна, развивается и разрастается в результате боев с правительственными войсками. Она разоружила много генеральских полков, получив этим путем огромное количество амуниции. В некоторых местах она осуществила перераспределение земли и организовала на местах новую революционную власть. Оперирует она в западной части Хубея, стремясь к захвату Хан-яна и Ханчуана. В армии насчитывается 5.900 бойцов.

7-я Красная армия. Эта армия вышла из рядов гуансийской армии (во главе ее старый военоначальник Чан Июн-и, окончивший военную школу Баудин) и развилась в результате солдатского бунта. В Гуансийской провинции она занимала одно время больше двадцати уездов, в том числе и Лунгжоу, где было организовано советское правительство и осуществлена аграрная революция. Как известно, французский империализм, об'единившись с гоминдановскими милитаристами, предпринял общее наступление против Лунгчжоуского совета, свергнув его в потоках крестьянской и красноармейской крови. Хотя советское правительство было низвергнуто и армия отступила, победители не чувствуют уверенности в завтрашнем дне и знают, что армия возвратится. По последним сведениям, седьмая армия уже возвратилась на старую территорию; армия насчитывает 7.900 человек.

8-я Красная армия также создана в результате солдатского бунта. Связанная с партизанскими и крестьянскими отрядами района Цзюзян, она развивает свою деятельность в юго-восточной части провинции Хубей и в особенности в уездах Ианнин, Пучи, Янсин, Дае, Синцзы, Цзюцзян, Тэань и так далее. В армии насчитывается около пяти тысяч человек и руководит ею Хуан Кун-лю.

9-я и 10-я армии находятся в процессе формирования на севере и в западной части Хубейской провинции, и никаких сведений о них в настоящее время не имеется.

11-я Красная армия в пять тыс. человек состоит из прежней армии Хо Луна, к которым присоединились вооруженные крестьянские отряды Восточной Реки в Гуандуне. Деятельность армии распространяется в долине Восточной Реки, в уездах Хайфын и Луфын, где в продолжение долгого времени существовала советская власть, а также в уездах Мейсян, Вайлан, Цзикин и Фончен.

12-я Красная армия Тан Цзивуя насчитывает около 9.000 чел. Она составлена из вооруженных крестьянских отрядов западного Фудзяна, где во многих местах существуют местные советы и проведена аграрная революция. Деятельность армии протекает в десяти уездах западного Фудзяна. Ныне она продвигается на соединение с 11-й армией и на завоевание Восточной Реки, что создает громаднейшую сплошную компактную территорию под советским управлением в восточной части Фудзяна, на северо-западе Гуандуна, возможно, вплоть до моря у Сватоу.

13-я и 14-я армии находятся в процессе оформления в южной Хунани и в провинции Цзянсу (уезды Нантон, Юкау, Ташин). Никаких сведений, кроме того, что в 14-й армии имеется 1.800 человек, не имеется.

Кроме этих армий, во всех южных провинциях, а также во многих северных и центральных имеются независимые от Красной армии крестьянские и партизанские отряды. И ныне всюду наблюдается нарастание красноармейского движения (т.е. желание создать отряды Красной армии и так или иначе связаться с регулярными частями старой Красной армии) во всех провинциях Китая. В ряде уездов бывшей провинции Чжили, ныне переименованной в Хэбэй, идет процесс образования Красной армии (уезды Иютян, Ченфа, Чичжоу, Поян). В Манчжурии также замечается этот процесс в уздах Цанцзян, Фуцзин, Хайлала, Ичи и др. Это же наблюдается и в Хэнани (уезды Тонхэ, Таньсан), и в Сычуани (уезды Вайюнь, Ченкоу, Чицэн), не говоря уже о южных провинциях, где существующие отряды Красной армии постоянно пополняются и создают новые отряды, полки и армии.

Шанхай, май 1930 г.

Литература и искусство

1. ВЯЧ. ПОЛОНСКИЙ. Проблемы марксистского литературоведения. Статья вторая. — 2. Н. ПРЯНИШНИКОВ. Двупланный Пушкин. — 3. Фатима РИЗА-ЗАДЭ. Политический театр Пискатора. — 4. Г. КАМЕНСКИЙ. Владислав Оркан — 5. Н. УРАЛЬСКИЙ. О «крылатом слове».

1. ПРОБЛЕМЫ МАРКСИСТСКОГО ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ

Статья вторая [1])

ПРОБЛЕМА СПЕЦИФИЧНОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Вяч. Полонский

Образность — самая главная отличительная черта искусства.
Г. Плеханов.

IV. Формалисты и теория «образности»

I

В книге своей «О теории прозы», недавно переизданной, Виктор Шкловский иронически говорит об искусстве, как «мышлении образами». Эту фразу, по его словам, можно услышать от гимназиста; она же является исходной точкой для ученого филолога, начинающего создавать в области теории литературы какое-нибудь построение. В качестве открывателя Америк Шкловский отвергает «общепризнанную» формулу. Вся книга его, только что названная, заострена именно против «образности».

Если мысль: «без образа нет искусства, в частности поэзии» вросла в сознание многих, тем хуже для многих, рассуждает Виктор Шкловский. Не образ, а прием — вот что, по его убеждению, характеризует искусство. Искусство—не мышление, во-первых, не образно — во-вторых. Его специфика в «приеме». «Искусство есть прием». «Образ»,—по теории Шкловского, характерной для формализма вообще,— стоит лишь в ряду других способов, какими искусство стремится к созданию наибольшего впечатления. «Образ» не «специфичен» для искусства. Образ поэтический — лишь один из способов создания наибольшего впечатления. Как способ, он равен по задаче другим приемам поэтического языка, равен параллелизму, простому и отрицательному, равен сравнению, повторению, симметрии, гиперболе, равен вообще тому, что принято называть фигурой, равен всем этим способам увеличения ощущения вещи [1]).

Шкловский пишет: «Художественность, относимость к поэзии данной вещи, есть результат способа нашего восприятия, вещами художественными же в тесном смысле мы будем называть вещи, которые были созданы особыми приемами, цель которых состояла в том, чтобы эти вещи по возможности наверняка воспринимались как художественные».

Отсюда можно заключить, что «художественности», как об'ективного качества вещи, не существует. Качество

[1]) См. «Новый Мир», кн. 4 с. г.

это — результат нашего восприятия. Оно суб'ективно. «Художественность» привносится нами, придается вещи. Она не существует сама по себе: она есть не что иное, как переживание суб'екта. Вещь,—пишет Шкловский,— во-первых, может быть создана, как прозаическая и воспринята, как поэтическая и, во-вторых, создана, как поэтическая и воспринята, как прозаическая.

Но одно из двух: либо «художественность» есть качество, придаваемое вещи нашим восприятием, существующее лишь в нашем сознании, тогда надо бросить мысль о научной эстетике, тогда область искусства — область «автономных», т.-е. суб'ективных ценностей, где индивидуальный «вкус» — законодатель. Но тогда отпадает необходимость в замене «образа», как специфики, «приемом»: «художественность» не присуща вещи, а возникает в воспринимающем сознании. Другими словами: наличность «приемов» не обеспечивает вещи художественного бытия. Зачем же было, выражаясь грубовато, огород городить? К чему работать «особыми приемами», цель которых состоит в том, чтобы вещи по возможности наверняка воспринимались, как художественные, — когда гарантий в таком именно художественном восприятии все равно нет? Если же такие гарантии есть, если можно работать «наверняка», т.-е. так, что вещь, сработанная определенными «приемами», — хочет или не хочет того «суб'ективное сознание»,—воспринимается все-таки, как «художественная», это и будет означать, что вещь в результате соответственной обработки приобрела об'ективные свойства, способные преодолевать суб'ективизм восприятий. Но в таком случае прахом летит утверждение, будто «художественность... есть результат способа нашего восприятия». Тогда выходит, что «прозаическое» восприятие «поэтической вещи и наоборот — есть не «правило», а исключение, т.-е. ложное, ошибочное восприятие. Такое восприятие действительно возможно. Но оно ничего не доказывает, в силу случайности своего существования.

II

Отметим мимоходом, что в этом вопросе Виктор Шкловский находит сторонника в лице Г. Горбачева. И. Беспалов в поисках специфичности об'екта, изучаемого литературоведением, предложил однажды исходить от «об'ективных литературных фактов», а не от «воспринимающего и производящего суб'екта». Г. Горбачев по этому поводу категорически заявил: «Литература не существует иначе, как в восприятии определенной общественной среды и в творческом процессе ее создателей. Вне этого есть в о в н е ш н е м м и р е груды исчерченного материала, годного разве что для топки печей или оклейки стен» [2]).

Вот заявление, неожиданность которого, именно со стороны Г. Горбачева, конкурирует с его необоснованностью. Г. Горбачев попросту отрицает об'ективное существование литературных произведений, как вещей с идеологической функцией. Искусство есть наше представление,—говорит он. В. Жирмунский, разделяющий многие положения Виктора Шкловского, и тот в вопросе о существовании «эстетического об'екта», т.-е. предмета, именуемого «произведением искусства», даже В. Жирмунский заявляет, что исследователь при построении поэтики должен исходить из материала, вполне бесспорного, и независимо от вопроса о сущности художественного переживания изучать структуру эстетического об'екта, в данном случае — произведение художественного слова [3]).

Если Г. Горбачев захочет быть последовательным, он должен признать, что, поскольку человек перестает «воспринимать» вещь, или, шире, внешний мир, — постольку последний перестает существовать. Но разве «мир» не существует независимо от человеческого восприятия? Об этом, как-будто, среди марксистов споров нет. А ведь «литература», искусство слова, как и другие виды искусств, имеет свои «вещи», об'ективно существующие, особо оформленные. Г. Горбачеву угодно назвать книгу «грудой исчерченного знаками материала». Но ведь эти «груды

исчерченного знаками материала» являют собою именно образцы особого закрепления общественных процессов, имеющие «меру» и «вес»? Книга — такое же материальное явление человеческой культуры, как паровоз, железный мост, как фабричный корпус, только более значительное, обладающее специфической функцией. Эти и подобные им вещи особо драгоценны именно в силу заложенных в них об'ективных свойств. Будто бы драмы Шекспира не существуют вне восприятия Г. Горбачева? Но ведь сколько поколений Горбачевых ушло, сколько еще пройдет, а «вещи», сделанные человеком, которого мы называем Шекспиром, живы, живут и, вероятно, проживут еще порядочное время. Г. Горбачев путает здесь два понятия: 1) об'ект литературной науки, произведения искусства, предметы, сделанные человеком и, как вещи, об'ективно существующие во внешнем мире подобно другим «вещам», созданным человеческой борьбою за существование, и 2) те мыслительные, психологические процессы, которые эти «об'екты» возбуждают в человеческом сознании. Самый факт, что произведения искусства могут быть «возбудителями» психологических процессов, доказывает лишь их «об'ективное» существование.

Здесь для ясности следует подчеркнуть, что мы ищем специфику литературы, а значит и самый об'ект литературоведения, не в мыслительных и чувственных процессах, происходящих в человеческом мозгу. Область чувств и мыслей, вызываемых литературой,— это особая область, очень интересная и значительная, но не она является об'ектом литературоведения. Ее может, а иногда даже обязан привлекать литературовед, но только для того, чтобы подкрепить выводы, полученные при изучении своего непосредственного об'екта. Неправильной, методологически ошибочной мы должны считать всякую попытку определения «специфики» нашего предмета, базирующуюся на данных психологии. Литературовед изучает не переживания и не восприятия, вызываемые литературой, но самый предмет, вызывающий эти переживания. Именно в особенностях, в об'ективных качествах произведения заложены особенности, вызывающие те или иные переживания.

«Первое свое ближайшее основание литература имеет... если не впадать в метафизику якобы «научного» и ужасно «об'ективного» апсихологизма, в творческой деятельности своих создателей Разве уж не имеет права на существование психология творчества?» — пишет Г. Горбачев в указанной выше статье. Психология творчества имеет, разумеется, все права на существование. Не имеет лишь права на существование подмена изучения литературного об'екта, предмета научного литературоведения, «психологией творчества». Это—разные вещи [4]).

III

Вопрос заключается не в том, существуют ли особые формы «художественного» и «нехудожественного» восприятия. Это—область психологии, и вторгаться в нее сейчас мы не будем. В научном литературоведении вопрос стоит так: имеются ли в произведениях искусства об'ективные свойства, обеспечивающие именно художественное, а не иное восприятие? [5]) С одной стороны, Шкловский утверждает, что не существуют, ибо художественность — особенность нашего восприятия. С другой стороны, по его собственным словам, такие свойства существуют, ибо можно работать «наверняка». Иными словами: в основе теории Шкловского лежит непреодоленная путаница.

Первая его ошибка заключена в противопоставлении приема образу. Их нельзя противополагать, как нельзя противополагать способ делания вещи — самой вещи. Наличность «приема» в сделанной «вещи» не обеспечивает ей художественного бытия. Такое бытие обеспечено вещи только тогда, когда «приемы» привели к созданию «образа».

Возьмем в качестве примера «вещь», сделанную целым набором поэтических «приемов»: «Каторжную» Василия Каменского:

Захурдачивая в жордубту
По зубарам сыпь дурбиишшом.
Расхлабысть твою да в морду ту
Размордачай в бурд рябинушшом.
А ишшо взграбай когтишшами
По зарылбу взымбь колдобиной
Штобыш впрямь зуйма грабишшами
Балабурдой был — худобиной.
Шшо да шшо да не нашшоками
А впроползь брюшиной шша —
Жри хувырдовыми шшоками
Раздобырдивай лешша.

Можно было бы воспользоваться каким-нибудь отрывком из В. Хлебникова, например, из «Разина»:

Женам мечом манеж!
Женам ман нож!
Медь идем! Медь идем!
Топора ропот.
У крови воркуй... и т. д.

набор слов, который можно читать справа налево и слева направо.

Перед нами—образцовые так называемые «заумные» произведения искусства, сработанные по теории В. Шкловского. Перед нами, так сказать,—чистые, освобожденные от всего лишнего «приемы». В «Каторжной» есть все, что характеризует произведение искусства с формалистской точки зрения: ритм и рифма, инструментовка, ассонансы и аллитерации. Можно сказать, что она — сплошная «метафора» или «гипербола», или еще что-нибудь. Нельзя лишь назвать эту вещь произведением искусства: она «не работает». Это в лучшем случае опыт, эксперимент. Ее нельзя перевести не только на иностранный, даже на русский язык, потому что эти сложные сочетания звуков лишены главного условия, оправдывающего их существование: в них нет «образа». Подобные сочетания могут вызывать некоторое «впечатление», но поскольку они будут «безобразными» — они останутся мертвыми, т.-е. не функционирующими [6]).

Перед нами «прием», не приводящий к созданию «искусства». Именно такого рода вещи в изобилии поставляло творчество футуристов раннего периода. В книжках, например, А. Крученых, почти сплошь «заумных», изощренных, замысловатых, изобилующих множеством «приемов», как правило, не было лишь «образов». Потому-то, все почти его творчество оказалось набором фраз, шершавых или звонких, но постоянно пустых.

Об одном из аналогичных произведений «искусства» говорит Б. Томашевский в «Теории литературы».

«В 1923 г. в Париже появилась книга Ильи Зданевича, целиком состоящая из прихотливого набора разных шрифтов. Во всей книге можно прочесть лишь несколько слов, почти бессвязных, но в типографском отношении книга очень красива» [7]).

В книге этой, несомненно, имеются «приемы». Она даже «красива», — уверяет Б. Томашевский. Но «безобразна». Она поэтому мертва. Она не искусство, хотя и является «приемом». Лишь наличие «образа» делает вещь предметом искусства [8]).

Вторая ошибка Шкловского — в приравнении образа к метафоре, гиперболе, сравнению и т. п. И сравнение, и гипербола, и метафора, — лишь образные средства, элементы образности. Шкловский, подобно другим формалистам, суживает понятие «образа» до «изобразительного средства». Но такое «уменьшительное» толкование произвольно. Искусство имеет дело не только с изолированным, элементарным, первичным, так сказать, «образом», но образом сложным, комплексом образов. Всякое художественное произведение, лирическое стихотворение или многотомная эпопея представляют собой систему образов, начиная от элементарного «образа-слова» и кончая сложными «образами» персонажей, общественных классов, исторических событий, эпох и т. д. Уменьшая «образ» до «наглядного представления», формалисты игнорируют «образные системы». Они не замечают сложных образов — как если бы их не существовало.

IV

Проанализируйте с точки зрения «специфики», например, «Войну и Мир» Толстого. Это могучая система от про

стейшего «образа-слова» до образов «войны» и «мира». В романе этом, как во всяком художественном произведении, материалом служит слово вообще. Но, вовлекаемое в образные сочетания, оно, даже не будучи «образом», в узком смысле, начинает служить образности. Включенное в контекст или подвергнутое обработке, даже безобразное слово в образной системе «играет», как «слово-образ». Переходя от «образного слова» к более богатым конструкциям, роман представляет собой усложненную организацию. Нет возможности, да и необходимости перечислить все те живые, сложные картины и изображения, какими насыщен роман. Представляя собой индивидуальные системы, эти образы сочетаются в составные группы. Так из отдельных образов полководцев, офицеров, адьютантов, начальников возникает общий живой образ командного состава русской армии того времени и образ командного состава армии французской. Из отдельных образов русских солдат мы получаем образное представление тогдашнего русского армейца. Типы аристократов, при всем своем индивидуальном разнообразии, каким как никто умел наделять своих людей Толстой, — об'единяются в сложный «образ» высшего слоя русского тогдашнего общества и т. д. Разве мы не видим толпу, убивающую Верещагина? Она живет: «образ» ее перед нашими глазами. Разве с помощью сложнейшего и индивидуализированного воспроизведения боя под Бородиным. роман не дает образа «бородинского сражения»? Разве нет «образа» совета в Филях, об'единившего в живой картине частные образы его участников, вплоть до девочки Малаши? Также точно мы помним «образ» охоты на волка, и «образ» атаки, в которой участвует Николай Ростов, и «образ» бала, на котором расцветает Наташа Ростова. Роман есть система сложнейших, сложных, простых и простейших образов, «образов-слов». Искусство и заключается в умении строить сложные и сложнейшие системы, системы систем, восходя к таким грандиозным конструкциям, как «образы» классов, общественных движений, войн и революций. Приемы изобразительные, выразительные и композиционные суть лишь способы, с помощью которых эти «образы» создаются. Именно «образы» и являются целью и задачей художника. Только наличие образов придает большую или меньшую глубину и высоту произведению искусства. Именно в «образах» концентрируются художественно-технические и философско-психологические богатства произведений искусства. Игнорировать «образы» — значит игнорировать фактуру, многообразие и специфику искусства. Изгоните «образы» из романа —исчезнет и сам роман. Роман, новелла, повесть—всякое произведение искусства слова есть система образов: людей, пейзажей, событий, переживаний, людских соединений, столкновений и т. п. В их сложности и глубине — сила искусства.

Познакомьтесь, например, с интересным и очень тщательным так называемым формальным анализом прозаических строк Тургенева или стихотворений Пушкина: «Брожу ли я вдоль улиц шумных» и «Для берегов отчизны дальной», который дает В. Жирмунский в своей статье «Задачи поэтики». Он обнаруживает целую систему тонких и тончайших средств и приемов, с помощью которых Пушкин «обрабатывал» слово, превращая его в стих. В этом богатейшем арсенале приемов и способов, перечислять которые здесь нет надобности, и таится, как-будто, тайна могучей прелести пушкинского стиха. Но если отвлечься от аналитического обнаружения и классификации этих приемов и дать себе отчет, к какой же синтетической, конечной цели стремился поэт, подвергая слово такой сложнейшей и тончайшей обработке, — мы придем к выводу, от которого упорно отвращает лицо свое В. Жирмунский: все это многообразие приемов и способов направлено было именно к тому, чтобы достичь предельной «образности», т.-е. выразительной, впечатляющей силы, наглядности, глубины и вместе простоты, которые характерны для искусства Пушкина. Потому-то особый выбор слов и своеобразное чередование слогов, и качественная организация

звуков, особый выбор и расположение гласных и согласных, и особый мелодический строй, сближающий поэзию с музыкой, и грамматическое строение поэтической фразы, и особый подбор изобразительных элементов, и пользование устарелыми словами и новообразованиями и т. д., и т. п. — одним словом все, что обнаруживает скрупулезный анализ формалиста в поэтическом произведении, оказывается лишь путями и средствами, с помощью которых поэт достигает «образного» эффекта. «Образ» в поэтическом произведении и есть та «цель», то «эстетически организованное целое», то «художественное задание», тот «Рим», к которому ведут все формальные и неформальные пути. Каким бы псевдонимом ученый-формалист ни пользовался, — по существу он всегда говорит об «образе», об «образности».

V

У формалистов есть, конечно, отдельные верные замечания. Но они не умеют сделать из них верных выводов. Шкловский, например, прав, говоря, что цель искусства — дать ощущение вещи, как видение, а не как узнавание. Но вещь становится видимой, ощущаемой лишь тогда, когда «приемы», выводя ее из автоматизма восприятия, придают вещи именно о б р а з н о е, впечатляющее, живое обличье. В сущности «видимость», «ощущаемость»—суть с и н о н и м ы о б р а з н о с т и, атрибуты живого, конкретного видения. Прием «остранения», выделенный Шкловским из богатого арсенала Толстого, — лишь один из многих, с помощью которых вещи, переставшие восприниматься, оживают и начинают «играть» особым качеством. именно тем, которое мы и называем «образностью». Где есть «художественные приемы» — там рождается «образность». Шкловский замечает: «Я лично считаю, что остранение есть почти везде, где есть «образ». Во-первых, почти везде, — значит не везде. Во-вторых, лучше сказать: где есть сложный образ — есть и прием. Но суть именно в «образе». «Образ» и есть то новое «качество», которое отличает произведение искусства от сырого материала. Качество это об'ективно: его можно изучать, измерять, анализировать. Когда «образность» налицо, мы приходим к заключению: перед нами вещь с об'ективными свойствами, предмет с особой, именно эстетической функцией. Шкловский, давая определение поэтической речи, как речи заторможенной, кривой, отвлекается от существенного: именно того, что и «кривизна» поэтической речи и «трудность» поэтического языка осмысливаются только в свете функции, имя которой «образность». Приемы — лишь пути, ведущие к «образу». Они не всегда могут привести к нему. Потому-то мы наблюдаем наличность в искусстве «приемов» при отсутствии «образности». Мы говорим в таких случаях: перед нами «не искусство».

VI

Иначе, другими словами, высказывается против «образности» В. Жирмунский. Он также отвергает «образ», как специфику искусства. «Материалом поэзии, — говорит он, — являются не образы и не эмоции, а с л о в о. Поэзия есть словесное искусство, поэзия есть история словесности. Старый школьный термин «словесность» в этом смысле вполне выражает нашу мысль [9]).

Но разве сторонники «образа» — даже если взять самого А. А. Потебню — противопоставляют образ слову? Понятие «слова» шире понятия «образа». Искусство имеет дело не со словом вообще, но со «словом-образом», специфическим словом. Сам В. Жирмунский в названной работе отличает слово «поэтическое» от слова «прозаического». Если говорить о «слове» вообще, как материале поэзии, — искусство теряет свои границы. Оно утрачивает специфичность.

В своих исследованиях В. Жирмунский тщательно анализирует эвфонию, метрику, инструментовку, своеобразие синтаксиса, особенности композиции, изобразительные средства. Взятые вместе, они стремятся так организовать произведение, чтобы оно выполняло особую, одному ему присущую функ-

цию. Какую же именно? В чем заключена эта функция, отличающая именно произведение искусства?

Вот на этот вопрос не отвечают формалисты. Здесь-то и обнаруживается реакционная подоплека формализма. Они полагают, что могут дать определение искусства, минуя его функцию. И потому, что они так думают, они дают определение: «Искусство это прием». Или: «Искусство это слово». или считают главной особенностью искусства «установку на выражение». Но ведь такие определения ничего не определяют или определяют очень мало. Специфика искусства не в том, что оно работается «приемами», не в том, что оно имеет материалом «слово»: Специфика в том, что и «приемы», и «слово» становятся «искусством», когда с помощью приемов из словесного материала создаются «образы», «образные системы», когда налицо «мышление образами», служащее общению людей, отражающее известные общественные отношения.

В. Жирмунский пугает нас указанием, что теория «образности» была создана немецкой идеалистической эстетикой. Гегель также был идеалистом. Это не помешало Марксу идеалистическую диалектику Гегеля, поставив с головы на ноги, сделать материалистической. То же самое делает марксизм, полагая «образность» в основу своей теории искусства: он придает ей материалистический характер. «Образ» в узком смысле — не создание фантазии: он живет в языке, является одним из средств мышления. «Образ» — постоянный элемент живой человеческой речи. В искусстве он получает лишь доминирующее и организованное, сложное выражение. В этом именно обстоятельстве и заключается «популярность», «всеобщность» искусства: оно приводит в систему, упорядочивает, организует художественные элементы, существующие в языке, понятные ребенку, дикарю и мудрецу. Мышление «образами» такой же естественно исторический факт, как и само слово. «Образ», закрепленный в слове, — художественный элемент человеческого сознания. Произведение искусства — система этих словесных элементов. Сущность искусства, как деятельности —в их сочетании и организации.

V. Образность и лирика

I

Даже в лирике, где нередко нет «образных средств», где преобладают ритмико-мелодические элементы, — мы имеем «образ», возникающий из всего произведения в целом. Д. Н. Овсянико-Куликовский пытался обособить лирику, как вид эмоционального, безобразного творчества[10]). Следуя узкому, ограниченному пониманию «образа», не находя его часто в лирическом произведении, Д. Н. О.-Куликовский, чтобы быть последовательным, отделил лирику от образного искусства. Но будто бы лирика безобразна? Будто выразительные, интонационные, ритмические, музыкальные особенности, отличающие лирическую поэзию, не являются в совокупности той же «образностью», какую мы встречаем в нелирическом искусстве? Вообще говоря, провести черту, отделяющую лирическое творчество от нелирического,—трудно; и уж совсем невозможно доказать отсутствие «образов» в лирической поэзии. Овсянико-Куликовский пытался это сделать — на наш взгляд без большой удачи. Мы приведем для примера известное стихотворение, которое он считал образцово-лирическим, т.-е. безобразным.

Я вас любил... Любовь моя, быть может,
В моей груди угасла не совсем...
Но пусть она вас больше не тревожит,
Я не хочу печалить вас ничем.
Я вас любил, безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим,
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам бог любимой быть другим!

«Где же здесь образы? — восклицает Д. Н. Овсянико-Куликовский.—Их совсем нет. Не только в смысле образов познавательных, но и вообще — в смысле отдельных, конкретных представлений[11]). Правда, здесь нет «отдельных», «конкретных представлений». Но разве все стихотворение целиком, в

своем совокупном действии, как «система», как сложное целое, не является образом? Не дает образного представления?

Странное дело: существующий в этом произведении «образ» «не дошел», не проник до сознания нашего исследователя поэзии и прозы. Разве при чтении этого стихотворения сквозь лирическое волненье не возникает образа «чувства», во-первых, и образа человека, умеющего так чувствовать—во-вторых. Или это — не «образы»?

Это стихотворение ничего не дает для «познания»,—говорит Овсянико-Куликовский. Но и это неверно. Лирическая поэзия дает для познания не меньше, чем поэзия нелирическая, чем всякое другое искусство. Но дает другими средствами, идет иными путями к тому же самому Риму — образу. Овсянико-Куликовский склонен был, например, знаменитое стихотворение Лермонтова:

Белеет парус одинокий
В тумане моря голубом...

насыщенное образностью с первой же строки, — склонен был считать стихотворением «безобразным», ничего, кроме лирического волненья, не дающим. И здесь он ошибался. Нельзя указать ни одного лирического произведения, которое, с помощью ритмико-мелодических, выразительных и других именно лирических средств, «возмущая ключи» эмоций в человеческом сознании, — ничего не давало бы этому сознанию в смысле познавательном.

II

Вообще говоря, отделение художественной прозы от «поэзии» совершенно условно. И художественная «проза» пользуется выразительными, ритмико-мелодическими средствами. Достаточно напомнить прозу Андрея Белого. Можно также указать стихотворные произведения, чрезвычайно близкие прозе, хотя бы «Пушторг» Сельвинского. И лирика, и художественная проза разными средствами идут к сознанию через образ. Если отнять от словесного искусства образ, — останутся тропы и фигуры, приемы, метрика, инструментовка, сюжетосложение и т. п., т.-е. останутся технические средства, характерные для искусства, как особого ремесла, но уничтожится то специфическое, что возникает с помощью этих приемов, об'единяет их работу, и что придает искусству единственное значение. Формалисты пытаются выбросить «образность» за борт, заменив ее словами: эстетическая организация словесного материала. Но что такое «эстетическая организация»? Чем она отличается от неэстетической? Это особые «приемы» организации,—говорят они. Но, отвечая так, формалисты приглашают нас кружиться вместе с ними в порочном круге тавтологических определений: «Искусство отличается эстетической организацией словесного материала. А эстетическая организация материала — это такая организация, которая особыми приемами организует материал эстетически».

Эстетическая организация материала — такая организация, — говорим мы, — которая с помощью различных средств и приемов приводит к созданию образов.

Только приняв «образность», как специфику искусства, получат смысл определения «эстетическая организация», «эстетическая система», «система приемов, связанная единством художественного задания» и т. п. Без «образности» все эти слова — лишь набор фраз, обнаруживающий в некоторых теоретиках упорную привычку ходить по периферии круга, тогда как надо твердо стать в его центре.

VI. Критика «образности» школой Переверзева

I

В обширной работе своей «К методике историко-литературного исследования», напечатанной в сборнике «Литературоведение», касаясь ответов, какие различные школы давали на вопрос о специфике искусства, Г. Поспелов пишет:

«Один из самых распространенных, это — указание на ее образность. В отличие от других словесных произ-

ведений, творческая мысль принимает здесь конкретные, наглядные очертания; поэзия — «образное» или «эмоционально-образное мышление», в этом ее сущность». Насколько верно это утверждение? — задает вопрос Г. Поспелов и отвечает:

«Оно совершенно справедливо, так сказать, с научно-онтологической точки зрения, т.-е. с точки зрения отграничения литературоведения, указания границ его компетенции. Своей конкретностью, изобразительностью поэтические словесные конструкции действительно отличаются от других». Но этого, по мнению нашего автора, недостаточно. Почему? Потому, что, во-первых, конкретность, изобразительность, — не единственный отличительный их признак, и тем самым он не может быть поставлен во главу угла. Образность лишь одна из сторон поэтического стиля,—утверждает Г. Поспелов. Во-вторых,—говорит он, — изобразительная конкретность поэзии не есть постоянная величина. От некоторого максимума в одних произведениях она падает до минимума в других, хотя всецело никогда не отсутствует...

«...Но с научно-гносеологической точки зрения, т.-е. с точки зрения причинного об'яснения явлений поэтического стиля, — продолжает он, — указание на образность поэзии уже совершенно недостаточно. Если литературовед должен причинно об'яснить стиль, то он должен это сделать относительно всех сторон стиля. Изобразительность произведений во всем своем конкретном разнообразии должна сама подлежать об'яснению, и поэтому одновременно об'яснять что-либо с ее помощью, опираться на нее, как на аргумент, — уже невозможно...» [12])

К приведенному выше Г. Поспелов добавляет: «К более широкому пониманию образа мы придем дальше».

Ниже мы познакомимся с этим «более широким», т.-е. переверзевским пониманием образа. Здесь же остановимся на критике, какую мы только что изложили.

Первое возражение Г. Поспелова: «образность» — не единственный отличительный признак поэтических словесных произведений. Другими словами — не в образности специфика. Это — лишь одна из сторон поэтического стиля.

Откуда это видно? Мы, например, считаем «образность» именно совокупностью всех отличительных признаков поэтического произведения. Почему в понимании Г. Поспелова «образность» превращается в одну из сторон стиля, теряя значение его существенного признака? Происходит это потому, что Г. Поспелов вслед за формалистами суживает понятие образности до поиятия «изобразительного средства». Выдвигая, как специфику искусства, «образ» в понимании В. Переверзева, т.-е. образ-структуру, имеющую планы: социально-психологический, тематический, композиционный, изобразительный и выразительный, Г. Поспелов отождествляет «образность» с одним лишь изобразительным планом, т.-е. изобразительными средствами. Но ведь такое обоснование именно и нуждается в обосновании. Г. Поспелов совершает, кроме того, методологическую ошибку, противопоставляя социально-психологический и тематический планы планам выразительному, композиционному и изобразительному. Эти два первые «плана» не существуют вне трех последних, они находятся в них, включены в них, их нет вне изобразительных, выразительных и композиционных средств. А неразрывная совокупность трех последних планов и составляет то, что мы называем образностью. Когда изобразительные средства превращены в произведение искусства, т.-е. находятся в организованном состоянии,—они «сращены» со средствами композиционными и выразительными, как сращиваются в сложном соединении отдельные химические элементы. Попробуйте создать произведение искусства с помощью одних лишь композиционных средств! Или одних выразительных. Это будет такая же невыполнимая задача, как, скажем, химическим путем получить воду, включая в опыт либо один кислород, либо один водород. Изолируя изобразительные средства от других средств, ведущих к созданию образа,

Г. Поспелов сам в одном месте своего труда приходит к необходимости этот «изобразительный» план сделать «представителем» всех «формальных» планов. Почему это произошло? Да просто потому, что понятие совокупности всех «формальных» планов должно существовать; если такого понятия нет, его надо выдумать. В теории Г. Поспелова такого понятия не существует. Но вместо того, чтобы притти к выводу: «образность» и есть совокупность всех «формальных» планов, он выдает мандат на представительство их интересов плану «изобразительному».

II

Ставя знак равенства между изобразительностью и образностью, Г. Поспелов повторяет ошибку формалистов. Потому-то он считает «образность» лишь одной из сторон поэтического стиля, а не носителем самого стиля. Для Г. Поспелова средства выразительные и композиционные существуют вне образности, не включаются в образность, не являются атрибутами образности. Но, говоря о системе образов, Г. Поспелов должен будет признать, что нет системы без структуры, а где есть сложная структура, там есть и композиционные средства. Если же без композиционных средств нет сложного образа, или системы образов, — почему композиционные средства выключаются из понятия «образность»? В представлении Г. Поспелова раздельно существуют, механически друг от друга отделенные «словообраз», «образ», как изобразительное средство, и «образ» — как структура, как характер, как персонаж. Такое же механически изолированное существование ведут выразительные и изобразительные средства по отношению друг к другу.

Для него все эти «стороны», каждая в отдельности, служат особым, самостоятельным признаком стиля. Но ведь с точки зрения диалектического материализма, рассматривающего произведение искусства как единство, такая изоляция органических, хотя и противоречивых частей целого — неправомерна так же точно, как неправомерна изоляция «тематики» от «социально-психологического» плана, а этих обоих планов от планов, которые Г. Поспелов называет «формальными» и которые неразрывно, химически соединены и с тематикой и с социально-психологическим наполнением произведения.

Г. Поспелов ошибается также, полагая, будто «непостоянство» конкретной изобразительности что-нибудь говорит против «образности», как специфики искусства. Наоборот. Если бы образность была «постоянной величиной»,— не было бы движения, т.-е. развития внутри самого искусства. Нарастание количественных изменений этой «непостоянной величины», переходящее в качество, именно и создает «великие» произведения искусства и произведения малые, незначительные. Но, будучи даже малым, произведение искусства принадлежит тем не менее к «семейству» явлений, называемых искусством. Это потому, что в нем имеется наличность «образности», хотя бы и в небольших количествах; указанное обстоятельство и не позволяет выключить его из круга специфических явлений. Но возьмите произведение, в котором «количество» образности уменьшается. Такое произведение либо остается на границе, отделяющей искусство от бесискусственной вещи, либо, при сильном уменьшении количества специфических признаков, в один момент скачком, прыжком превращается в «неискусство», в обыкновенный предмет, лишенный «образности», т.-е. той самой «специфичности», какая позволяла нам при классификации относить его к произведениям искусства. Уменьшение количества «образности» перешло в «качество» предмета. Он перестал быть произведением искусства. Возражение Г. Поспелова, заключающееся в том, что «образность» не есть постоянная величина, бьет мимо цели.

В чем же видит Г. Поспелов подлинную специфику искусства слова? Мы знаем его ответ. Познакомимся ближе с специфическим «образом», как его обосновывает В. Ф. Переверзев.

VII. Образная система В. Переверзева

I

Свое понимание специфики В. Переверзев особенно четко обосновал в статье «Проблема марксистского литературоведения», какую мы неоднократно цитировали. Он, в самом деле, поставил в смешное положение одного из своих критиков, Л. Тимофеева, который, возражая ему, не учел «универсального» понимания «образа», как «воспроизведенного поведения», включающего в себя все остальные компоненты произведения. «Как восхитителен этот образ,— иронически восклицает В. Переверзев, — вокруг которого располагаются композиции, словарь, стиль в узком смысле этого слова!» С точки зрения В. Переверзева это очень смешно, потому что он, Переверзев, понимает «образ», как единственный, универсальный компонент. Остальные компоненты «входят в художественную структуру через образ», являются как бы функциями образа. «Образ», как «социальный характер», оказывается основным структурным элементом художественного произведения, которое складывается из сцепления живых образов.

Отсюда В. Переверзев выводит свое понимание «органичности художественных произведений». На этом основании он свою теорию называет иногда «органической». «Будучи проекцией социального характера, образ представляет собой сложную органическую структуру, потому что несомненным организмом является проецированный в нем характер» [13]).

Образ, социальный характер, воплощенный в произведении,—организующее начало, функциональный центр. Все другие части произведения, остальные компоненты его—«натюрморт, пейзаж, эмоция, суждение, речь» — образуют органическое единство в образе. Какую бы часть произведения ни взять, какой бы кусок художественной ткани ни анализировать, — все это, включая изобразительные, композиционные и выразительные средства, окажется проекцией социального характера, психологии, воплощенной в образе. Но «пейзаж», «натюрморт» — также образы. Вся ткань произведения — образна насквозь. А поскольку эти «образы», «сцепляющиеся» в произведении в органическое целое, получают возможность существовать, только проходя через «образ организующий», — тот, который по Переверзеву и является «спецификой» искусства, — перед нами некая «иерархия» образов. В работе Г. Поспелова, выше нами цитированной, намечена их классификация. Здесь мы ее касаться не будем. Для нашей цели в настоящий момент достаточно анализа образа, играющего роль структурного центра. Какова его природа? Откуда и как он вообще появляется на свет?

До сего времени мы знаем лишь, что образ этот — социальный характер, поведение, психология [14]). Но чтобы стать «образом», т.-е. функциональным, организующим центром системы образов, — «социальное поведение», «характер», «психология» должны сами совершить какое-то превращение, пройти сквозь некий оформляющий процесс, овеществиться, закрепиться в слове, приобрести художественное бытие. Об этом процессе превращения «социального характера» в художественный образ, организующий «систему образов», у В. Переверзева нет ничего. Мы принимаем, как постулат, превращение «социальной психологии», «поведения» в организующий центр. А. Гурштейн, один из критиков В. Переверзева, заметил, что понятие образа в интерпретации Переверзева приобретает очертания природной данности. Замечание правильное. Прав А. Гурштейн и тогда, когда указывает, что художественное сознание не есть данность, а есть потенция, которая осуществляется в процессе творчества, в процессе движущегося и осознающего себя общественного бытия. [15]) «Образ», как данность, и является исходным пунктом «органической теории». Он декларируется, принимается как не требующий мотивировки. А между тем такой постулат нуждается в пояснениях. Путь между «социальным характером» и «художественным образом» — путь

длинный и сложный. Он оставлен в стороне «органической теорией». В самом деле, разве нельзя сделать следующее возражение: пока нет произведения, пока оно не написано, — нет и «образа», нет и «системы образов». «Образ» появляется лишь после того, как он закреплен. По органической же теории выходит так, что хотя образа еще нет, тем не менее этот самый еще не существующий образ оказывается «организующим», «основным структурным элементом художественного произведения». «Образ» еще не сложился, он в процессе становления — не доношен, не выявлен, не выяснен. Тем не менее этот еще не родившийся «образ» «организует» структуру произведения, т.-е. самого себя и все «компоненты», всю его «ткань», т.-е. все другие образы периферического характера.

Такой примерно представляется картина, как ее нам рисует В. Переверзев. Другое дело, если бы за «организующим образом», за «социальной психологией», за «характером», который выформляется в произведении, стоял живой, конкретный обладатель «социального характера». Тогда функциональный центр переместился бы в этого физического носителя социальной психологии. Но в том-то и дело, такого носителя в системе В. Переверзева нет: он устраняет автора и авторскую психологию. «Житие» автора, а значит и сам автор, по Переверзеву, не имеет «ничего общего» с тем социальным бытием, которое самоорганизуется в произведении. Если мы определим автора как суб'екта, творящего произведение, то окажется, что этот «суб'ект» не имеет ничего общего во-первых, с «об'ектом», который, сливаясь с суб'ектом, дает произведение искусства, и, во-вторых, с своим собственным произведением.

Но при таких обстоятельствах теряет смысл самая формула: «искусство — мышление образами». Кто же в конце концов мыслит образами? Безличное «о н о»? «Социальное поведение», «характер», «психология»? Мы полагали, что художник, социальный человек, участник классовой борьбы, мысля образами, т.-е. специфически-художественно (как, впрочем, могут мыслить и не-художники, только менее интенсивно, не активно, не творчески), закрепляет в слове свое мышление, создавая системы образов, насыщенных чувствами и мыслями. В «органической» же теории такое «мышление» теряет почву, так как исчезает мыслящий и чувствующий суб'ект, оформляющий, закрепляющий свое мышление и свое чувствование. Его место занимает некто в сером, именуемый Г. Поспеловым, с полного одобрения В. Переверзева, «социально-психологическим комплексом». Место живого, страдающего, чувствующего, мыслящего, борющегося человека, в искусстве своем пытающегося ставить и разрешать проблемы, волнующие его общество, его класс, занимает абстракция, схема, манекен, совершающий ряд механических, автоматически обусловленных, предопределенных действий, — результатом которых и появляется на свет художественное произведение, образная система, с организующим автогенным образом в центре, — и с целой сетью второстепенных и третьестепенных образов — гетерогенных, бессуб'ектных, об'ектированных и т. д. — проникающих в произведение именно через центральный, автогенный, организующий образ, в котором суб'ектирован социально-психологический комплекс.

II

Рождение художественного «образа» по органической теории напоминает миф о бессеменном зачатии: автора нет, психология автора — ни к чему, замыслы автора — ничто, его «житие» не имеет ничего общего с «социальным» бытием; реющее вне сознания автора «социальное бытие» как-то, помимо автора, создает «образ», который, не будучи закреплен в художественных формах, еще не существует, но, не существуя, он тем не менее, предугадывая, так сказать, свое будущее существование, входит в произведение как основной структурный компонент, организуя его в целом и все части.

В. Переверзев отграничивает понятие авторского «бытия» от «бытия» социального. Авторское «бытие» — это «жи-

тие». Социальное же «бытие» есть отношения, существующие в обществе с определенной экономической структурой. В художественном образе отражено не «житие», а именно «социальное бытие». Здесь В. Переверзев совершенно прав, так же точно, как прав он, когда отделяет действительность, о которой говорится в произведении, от действительности, которая говорит в произведении. Но, будучи правым в этой аналитической операции, он делает из нее неправильные выводы. Отделив «житие» писателя от «общественного бытия», В. Переверзев упускает из виду, что авторское «житие» есть не что иное как частный, индивидуальный случай говорящего в произведении общего «социального бытия». Наш теоретик странным образом забывает, что авторское «житие» есть не что иное как конкретизированный в индивидуальном сознании социальный опыт. Отрывая произведение от автора, автора от его собственного жития, В. Переверзев превращает искусство в абстракцию, лишенную реальных связей с тем самым социальным бытием, которое действительно говорит в произведениях искусства. Другое дело, если мы в этом житии автора будем искать начала, организующие произведения искусства. «Биографисты» злоупотребляют «житием». О злоупотреблениях сторонников биографического метода мы будем говорить в своем месте. Но одного факта этих злоупотреблений не достаточно, чтобы просто выбросить из обихода и самое «житие» писателя? В. Переверзев так именно и поступает. Отвергая перегибы биографического метода, он вместе с ними отвергает начисто биографию автора, а вместе с нею и самого автора. Конкретный оформитель произведения оказывается иногда умной, подчас гениальной «ненужностью». Желая смахнуть шелуху, В. Переверзев вместе с ней выбрасывает и зерно [16]).

Если понимать художественное произведение, как единство, в котором сливаются суб'ект (художник, общественный человек с определенным социальным характером) и об'ект (внешний мир, общество с определенными производственными отношениями), можно было бы в качестве аналогии говорить об «отцовском» и «материнском» началах. В системе В. Переверзева — какая-то безотцовщина. «Суб'ект» в ней откреплен от живого, творящего человека. Существование его почти мистическое. И мы не доберемся до корней «органической теории», если не остановимся подробней именно на отношениях, какие существуют между «житием» и «бытием», суб'ектом и об'ектом.

III

Единство суб'екта и об'екта, диалектически оформляющееся в художественном произведении, — плодотворнейший из тезисов марксистского литературоведения. Именно разработка этого тезиса в «органической теории» была особенно привлекательной для учеников В. Переверзева. И. М. Беспалов, по крайней мере, в статье своей «Проблема литературной науки», в том же сборнике «Литературоведение», особо подчеркивал, что этот исходный пункт марксистской методологии является руководящим принципом в работах В. Ф. Переверзева.

Для марксистского литературоведения тезис этот имеет огромное, можно сказать, всеопределяющее значение. Он устанавливает органическую связь между человеческим «мышлением образами», как суб'ективной деятельностью, и материальным, социальным «бытием», определяющим это мышление. В человеческом «мышлении», научном или художественном, находит свое теоретическое или образное выражение единство суб'екта и об'екта, человека и природы, человека и общества. В мышлении отражаются «человек», социальный индивид, т.-е. продукт определенных материальных условий, воздействующих на «бытие», его породившее, и это самое «бытие», породившее человека и воздействующее на его сознание. Человек не только суб'ект, но и «об'ект» в то же время. Будучи «продуктом» среды, определенного «бытия», он в то же время воздействует на это бытие. Воздействуя на бытие, он изменяет его, а вместе с ним изменяет и самого себя.

В сознании человека осуществляется единство мышления и бытия, но в этом единстве не умирают противоречия, существующие в самом бытии и в отношениях суб'екта к об'екту. Единство, о котором говорит диалектический материализм, не есть тождество. Отражая себя в «мышлении» логическом или образном, — в науке или в искусстве, — «суб'ект» оформляет конкретное, характерное для его времени «единство», его «мышление» представляет собой «суб'ект-об'ект» — то неповторимое своеобразное явление, которое оказывается точкой пересечения и преодоления противоречий определенных времени и места. В своеобразии «суб'екта-об'екта», коренящегося в своеобразии производственных отношений, в конкретностях классовой борьбы, в условиях общественного быта и заключены основные причины особенностей мышления как логического, так и образного. В «единстве» суб'екта и об'екта заложено основание, позволяющее марксистской методологии быть монистической. В существе искусства, как мышления образами, лежит цельное, органическое, живое, движущееся, непрерывно меняющееся, но постоянно осуществляющееся единство суб'екта и об'екта, мышления и бытия. Эта именно мысль заключена в шестом тезисе Маркса о Фейербахе; сущность человека «есть совокупность общественных отношений» [17]).

В своем втором письме А. Богданову Плеханов особенно подчеркивал, что существование суб'екта предполагает известную стадию существования об'екта, что суб'ект сам является одной из составных частей об'ективного мира. Плеханов выразил эту мысль словами Фейербаха: «Я ощущаю и мыслю, — писал Фейербах,—вовсе не как суб'ект, противостоящий об'екту, а как суб'ект-об'ект, как действительное материальное существо. И об'ект для меня есть не только ощущаемый предмет, но также — основание, необходимое условие моего ощущения. Об'ективный мир находится не только вне меня; он также во мне самом, в моей собственной коже. Человек есть лишь часть природы, часть бытия; поэтому нет места для противоречия между его мышлением и «бытием» [18]).

Комментируя Фейербаха, Плеханов замечает, что суб'ективные переживания есть не что иное, как самосознание об'екта, сознание им самого себя, а также того великого целого, внешнего мира, которому он принадлежит. Такое понимание единства мышления и бытия, суб'екта и об'екта, человека и природы и есть, как писал Плеханов, единственно истинный, т.-е. единственно возможный, монизм.

Произведение искусства является художественным выражением единства, в котором слились мышление и бытие, суб'ект и об'ект, социальный человек и внешний мир. Трактовать произведение искусства только как продукт суб'ективной деятельности, не связанный диалектически с социальным бытием, значит скатиться к идеалистическому пониманию искусства. Трактовать его только как продукт воздействия социального бытия, игнорируя суб'ективный момент, значит сойти с позиции диалектического материализма на позиции материализма метафизического. Именно это последнее и происходит с В. Ф. Переверзевым. Когда он обещает нам острым скальпелем марксистского метода «добраться до сердцевины» поэтического факта, — мы испытываем большое удовлетворение. Оно возрастает, когда мы узнаем, что «сердцевина» эта — там, где при слиянии суб'екта с об'ектом возникает «образ». Вслед за Переверзевым мы готовы именно в этой «сердцевине» искать ключ к пониманию закономерностей художественного произведения. Но наше удовлетворение исчезает, когда, знакомясь с конкретным анализом В. Переверзева, мы замечаем странную картину: из единства человек улетучивается. Остается лишь одна часть «единства» — социальное бытие. Оно открывается нам не в суб'ективном преломлении, не через суб'ект, — но само по себе, независимо от суб'екта. В системе Переверзева не оказывается конкретного носителя того суб'ективного начала, без которого нет «единства».

Познание, — писал Плеханов,—предполагает наличность двух об'ектов: во-первых, познаваемого, во-вторых, познающего. Познающий об'ект называется суб'ектом [19]). Искусство есть художественное, образное мышление, иначе—познание, потому что всякое мышление есть познание. В художественных образах, в художественном мышлении мы имеем, кроме познаваемого об'екта, социального бытия, еще познающего суб'екта — художника, творца, социального человека. Вот этот познающий «суб'ект-об'ект», органический компонент единства «мышления и бытия», овеществляемого в искусстве,— выпадает в «органической теории» В. Ф. Переверзева.

В той же программной статье в сборнике «Литературоведение», которую мы много раз цитировали, В. Переверзев писал, что пока мы видим в художественном произведении изображенный об'ект и не видим в нем изображающего суб'екта, пока в изображенном мы не видим изображателя, мы не можем понять и об'яснить произведение. Рассматривая то, что изображено в данном поэтическом произведении, литературовед и марксист прежде всего обязан поставить и решить вопрос — где изображатель. Мы действительно ставим этот вопрос. Мы следим за «острым скальпелем» В. Переверзева. Мы напрягаем зрение, но вот тут-то и надвигается облако, в котором скрываются очертания «изображателя». Вместо него и в рассуждениях В. Переверзева появляются социальное «бытие», непосредственно организующее художественное произведение. Изображатель подменяется «бытием», которое является изображемым об'ектом и изображающим суб'ектом... «Только рассматривая бытие, как диалектическое единство об'екта и суб'екта, можно говорить, что оно определяет художественное творчество».

Здесь в самом деле одно из самых «темных» мест в теории Переверзева. История странным образом повторяется. Когда сто лет назад молодежь в кружке Н. В. Станкевича предавалась философским исканиям и старалась проникнуть в тайну суб'екта и абсолюта, Алексей Кольцов, вовлеченный в этот труд, печально признавался в одном из своих писем: «Я понимаю суб'ект и об'ект хорошо, но не понимаю еще, как в философии, поэзии, истории они соединяются до абсолюта». «...Суб'ект и об'ект. я немножко понимаю, — повторял он в другом месте,—а абсолюта ни крошечки...» Наши словесники, пытающиеся ныне проникнуть в тайну единства суб'екта и об'екта, — т.-е. ломающие голову над той же проблемой. когда обращаются к В. Переверзеву, попадают в положение Алексея Кольцова: они перестают понимать. С. Шувалов в статье «Литература и школа», напечатанной в журнале «Русский язык в советской школе» [20]), передает жалобы преподавателей: «Раньше я что-то понимал в марксистском методе, но, прочитав статью Переверзева, я окончательно и безнадежно запутался. Я так и не понял, какими путями «в об'екте поэтического изображения найти его суб'ект, в изображении найти изобразителя»...

Бедняжка словесник не виноват: в теории Переверзева это действительно очень и очень туманно. [21])

IV

В. Переверзев делается здесь жертвой рокового заблуждения. То, что овеществлено в образах произведения, есть художественно, т.-е. образно закрепленное единство мышления и бытия, суб'екта и об'екта. Но «социальное бытие» входит в единство лишь проходя через суб'ективное сознание. Поскольку путь к «образу» есть путь к слиянию, к единству суб'екта и об'екта через противоречия между ними, — постольку анализ этого «единства» должен итти путем выяснения самой борьбы противоречий, т.-е. путем отграничения «изображаемого» от «изобразителя», об'екта от суб'екта. Все особенности «деформации» познаваемого мира, какие мы имеем в искусстве, зависят не только от особенности социального бытия, но также от качеств и характера «суб'ективного сознания», по-

знающего «бытие», изменяющего его и самого себя. Поэтому подмена «изображателя», суб'ективного сознания, суб'екта, участника единства, самым единством, т.-е. результатом слияния суб'екта и об'екта, есть неправомерная подмена, извращающая диалектическое применение тезиса об единстве суб'екта и об'екта.

Здесь необходимо установить следующее разграничение. «Социальное бытие», какое мы имеем в искусстве, т.-е. бытие в художественных формах, овеществленное в произведении, — не тождественно социальному бытию, познаваемому миру, которое легло в основание произведения. Художественно оформленное «бытие» деформировано участием в нем суб'екта. Этим именно оно отличается от внешнего мира. Если бы не было этой «деформации», оно не было бы высшим единством по сравнению с «социальным бытием», изолированным от суб'екта. Другими словами, оно не было бы искусством, так как при таком допущении искусство и бытие были бы простым тождеством: искусство отражало бы жизнь — как зеркало или фотомеханика. Художественное творчество есть сложный процесс «познания» суб'ектом об'екта. Познание это есть борьба, взаимодействие суб'екта и об'екта, столкновение противоречий, преодоление столкновений. В итоге борьбы, приводящей к «образам», т.-е. к художественному воплощению достигаемого в этой борьбе «единства», и появляется то самое, что, по утверждению В. Переверзева, «определяет» художественное творчество. Выходит, что оно определяет самого себя. Тогда как художественные формы определяются тем диалектическим процессом, который собственно и подлежит исследованию, который состоит в столкновениях, в взаимодействиях познающего суб'екта и познаваемого об'екта. Но как можно изучить борьбу всех противоречий, возникающих и преодолеваемых в творчестве, если одна из борющихся сторон, именно познающая личность, устраняется с поля сражения?

V

В этой части «органической теории» много темного и путаного. «Темнота» надвигается тем больше, чем ближе мы подходим к «сердцевине» художественного произведения. С социологической точки зрения, — утверждает В. Переверзев, — «Капитанская дочка» вовсе не изображение «пугачевщины», а художественное воплощение бытия того класса, который выразил и изобразил себя и в «Дубровском» и в «Полтаве», и в «Онегине», и в «Цыганах», во всем творчестве Пушкина, в целом литературном стиле [22]). Будто бы — вовсе не изображение пугачевщины? А мы думаем, что в «Капитанской дочке» изображена именно «пугачевщина», но изображена в преломлении того суб'ективного классового сознания, выразителем которого был Пушкин. Именно Пушкин, а не кто-нибудь другой. И понять «Капитанскую дочку», раскрыть ее социальный корень, законы, по которым деформирована социальная действительность, положенная в основу этого произведения, — нельзя, сбросив с весов творческую индивидуальность автора, в своем творчестве отражавшую единство мышления и бытия, суб'екта и об'екта. «Не подлежит ни малейшему сомнению, — писал Плеханов, — что общественный человек обладает известной психикой, свойствами которой определяются все создаваемые им идеологии» [23]). «Известная психика» — это ведь и есть тот конкретный носитель диалектических процессов, происходящих на почве слияния суб'екта и об'екта. Идеология, в том числе и та идеология, которую мы называем искусством, находится в зависимости от этой «психики», в свою очередь подвергающейся воздействиям взрастившего ее социального бытия. Но «известная психика», определяющая произведения искусства, и есть ведь психика общественного человека, творца произведения, художественного выразителя единства мышления и бытия. Игнорировать ее, как это де-

лает В. Переверзев, углубляясь в творение «само в себе», отстраняя «индивидуальную» физиономию творца, это значит ступить на ложный методологический путь.

Мы не защищаем ту точку зрения, представителем которой является В. Келтуяла. Если В. Переверзев говорит, что в литературном факте наименее интересным моментом он считает его связь с авторской личностью и потому не ищет в творчестве отражения жизни писателя, В. Келтуяла, наоборот, утверждает, что всякое словесное произведение обязано своим происхождением прежде всего автору, который является его создателем, творцом, фактором. Отсюда для историка литературы необходимость тщательного изучения автора-творца и его личности [24]).

В «схеме историко-литературного познания» В. Келтуялы «автор» занимает преобладающее положение, и «биографизм» принимает чудовищные размеры. В схеме В. Переверзева автор начисто удаляется с поля исследования [25]). Совершают ошибку оба наших теоретика. С точки зрения диалектического материализма, устанавливающего в качестве основного тезис об единстве мышления и бытия, суб'екта и об'екта, методологически неверны как постановка во главу угла изучения автора, творца, вне процесса его взаимодействия с об'ективными моментами, так равно и изучение одних лишь об'ективных моментов, без участия моментов суб'ективных. И тот, и другой грешат против диалектического понимания литературных процессов.

VI

В книге «Творчество Гоголя» В. Переверзев подчеркивает, что хочет изучить творчество писателя «само по себе», отличительные особенности его со стороны формы и со стороны содержания, не ограничиться установлением зависимостей и связей с окружающей средой, но углубиться внутрь, в сердцевину творчества, раскрыть анатомию этого организма, показать, из каких стилистических и психологических элементов складывается художественная ткань произведения, как растет организм художественного творчества «сам в себе, в своей внутренней сущности» [26]). Но что есть произведение «само в себе, в своей внутренней сущности»? Как могут быть поняты «отличительные особенности его со стороны формы и со стороны содержания», если исследование ограничится только углублением в замкнутую сердцевину произведения? Разве не будет это свирепейшей имманенцией? Но разве такая имманенция не противоречит диалектическому материализму?

В. Переверзев с легкостью пишет в своей книге о Достоевском: «Я не собираюсь искать в произведениях Достоевского его миросозерцания, его политических или религиозных взглядов, потому что искать всего этого у художника — это все равно, что от пирожника требовать сапогов. Художник творит жизнь». Странное заблуждение! Но разве, творя жизнь, художник перестает мыслить? С каких пор процесс жизни стал исключать процесс мышления? Если бы В. Переверзев отвергал «идеи», поскольку они в чистом виде внедряются автором в художественные произведения, с ним вряд ли бы кто стал спорить. «Идеи» в чистом виде, т.-е. идеи, не воплощенные в образы, идеи, как системы понятий, являются областью философии или другой какой-нибудь науки. Искусство имеет дело с образами. Но значит ли это, что образы, во-первых, лишены идей, и во-вторых, безыдейно само художественное произведение в целом? Разумеется, не значит. Я говорил уже в первой статье о философских образах. Но ведь, кроме того, что могут мыслить образы, мышлением, хотя и образным, является само искусство. Воспринимая образы, мы воспринимаем их не только «сердцем», но и «умом», извлекаем из них не только «чувства», но и «мысли», «идеи». А ведь эти «мысли» и «идеи» не есть наше читательское измышление. Они вложены автором в тот или иной образ или в целое произведе-

ние. Эти идеи живут в произведении, составляют неотъемлемую часть его «наполнения». Возражая Л. Тимофееву, В. Переверзев отвергал обвинение, будто он отрицает «идейность» в искусстве. Но «идейность» В. Переверзев понимает исключительно как «идеологию» образов.

Очень часто, однако, когда говорят об «идеологических моментах», — писал В. Переверзев, — имеют в виду не идеологию, составляющую весьма существенный элемент художественного образа, а пресловутую «идею» произведения, сводящуюся к пониманию и оценке образов Не следует путать эти глубоко различные по значению вещи. Идеология образа вместе с самим образом является об'ективной сущностью художественного произведения, тогда как понимание образов, «идея» произведения не относится к его об'ективной природе, гораздо больше лежит в природе понимающего суб'екта, является его суб'ективным достоянием [27]). С. Щукин в своем докладе в Ком. Академии основательно возразил на это, что, кроме мышления «образов» и «мышления об образах», есть еще «мышление образами» [28]). Последняя категория и позволяет говорить, как это и делал Плеханов, об «идее» произведения. Сверх мышления каждого из «образов», все произведение, как образная система в целом, может быть носителем известной «идеи», — выразителем определенной «идеологии», именно той, какую художник и ставил своей задачей выразить в образах. В своем ответе С. Щукину В. Переверзев еще раз подчеркнул свое понимание «мышления образами». «Мыслить образами, — сказал он, — как-будто бы означает вкладывать определенные мысли в образы, давать мысли, как элементы образов... Мышление образами в том и выражается, что мысль вложена в образ, стало-быть, он, т.-е. образ, мыслит». Странная подмена понятий. Когда мы говорим, что художник «мыслит образами», мы говорим не о «мыслящем» образе, а о мыслящем художнике, процесс мышления которого протекает в образной форме. Здесь самый образ является орудием мышления, и именно художественного. В. Переверзев, кроме того, употребляет «образ» только и исключительно в смысле «персонажа». Но разве «бессуб'ективные образы», о которых пишет Г. Поспелов в сборнике под редакцией В. Переверзева (хотя бы пейзаж, созерцаемый Раскольниковым). также «мыслят»? Нет, конечно. А ведь, говоря о мышлении образами, мы имеем в виду не одни только «образы-персонажи», «характеры». Здесь В. Переверзев лишний раз подчеркнул свое ограниченное понимание «образа». Только понимая его исключительно как «персонаж», можно утверждать, будто «мышление художника в образах это и есть мышление «образов». В. Переверзев в своей книге о Достоевском, книге, которая, разумеется, останется первым прекрасным для своего времени опытом применения марксистского анализа к творчеству гениального писателя, — совершенно последовательно со своей точки зрения опустил всю философию Достоевского, все богатство его идей, всю диалектику его умственной борьбы, подвергнув анализу лишь психологию его персонажей. Это обеднило его книгу, ослабило ее значение, лишило ее критической силы, потому что, установив ряд верных социологических положений для об'яснения психологии, героев Достоевского, наш автор совершенно не посчитался, даже не попытался посчитаться с их философией. Он прошел мимо философии Достоевского. Но пройти мимо философии этого писателя, оставить незатронутыми его идеи, — значит игнорировать в нем самое существенное.

VIII. Образ, образная система, образность

I

Резюмируя сказанное выше, мы приходим к заключению, что ни формалисты, ни переверзевская школа не привели такой системы аргументов, которая заставила бы признать оши-

бочным понимание специфики, как «образности». Специфика не в «образе-слове», не в «приеме», не в «эстетической функции» не в «образе-персонаже», не в «установке на выражение». Все это частные виды специфики. Специфика — в том органическом соединени особенностей, которая присуща единственно искусству слова и отличает его от всех иных явлений мира. Она—в образности, т.-е. в том, что делает то или иное сочетание слов образной системой, иначе художественным произведением.

В арсенале художественных средств «прием» занимает не первенствующее, не специфическое, хотя и значительное место. «Венцом» работы приемов, «землей обетованной», куда стремится художник, является «образность» то богатство живых видений от образа зеленого листа, дрожащего на дереве, до сложнейшего образа общественного класса. Не следует только «образность» толковать в ограниченно узком смысле, отождествляя ее с «образом», как наглядным представлением.

Понятие «образность» должно охватывать все изобразительные, выразительные и композиционные средства, все особенности поэтического языка, все особенности ритмико-мелодического строя — словом все те средства и приемы, которые приводят к созданию «образов-систем». Не «образ», как наглядное представление, но «образ-система», «образ-организация», усложненная образность является спецификой искусства. Именно в сложности и глубине структуры «образа-системы» заложена вся организующая и возвышающая сила искусства. Затрогивая все стороны воспринимающего, чувствующего человеческого аппарата, совместным действием всех затронутых способностей образ стремится проникнуть в центр сознания, приводит в движение сложнейшие ассоциации, возбуждает эмоциональные и мыслительные процессы. Действие искусства, сила образности не только в способности взрывать ключи эмоций, вызывать живые представления, но сгущать эти представления, связывать их с множеством ассоциаций, умножать их число, обогащать ими человеческое сознание, сохраняя их и конденсируя. Отсюда та сторона искусства, которую можно назвать способностью расширять бытие человека, увеличивать количество и качество живых ощущений, даже менять человеческое сознание, направляя его в ту или другую сторону. «Искусство» — алгебра жизни. Личный рациональный опыт отдельного человека — узок и неглубок. Искусство придает ему глубину и широту, оно коллективизирует его, собирает, сберегает опыт поколений и классов. проводя его через опыт всех. В этом собирающем, *конденсирующем*, *организующем* свойстве «образности» его особая функция. «Образ» — как бы аккумулятор, сберегающий энергию, накопляющий ее, экономизирующий силы человека.

— Поэтические формулы, — справедливо замечает А. Н. Веселовский,— это нервные узлы, прикосновение к которым будит в нас ряды определенных образов, в одном более, в другом менее, по мере нашего развития, опыта и способности умножать и сочетать вызванные образом ассоциации [29]).

Образность, так понимаемая, является последней инстанцией, к которой приходится обращаться при разрешении вопроса: является-ли предмет продуктом деятельности, именуемой «искусством», или какой-нибудь иной деятельности, искусством не являющейся. Наличность «образности» оказывается решающей. Социологический анализ искусства должен исходить из неоспоримой наличности этого признака. Образность, как специфический признак, является исходной точкой. Именно характер образности, отличие одной системы изобразительных и выразительных средств от другой, т.-е. конкретные выражения образности в каждом отдельном случае, — вот что подлежит социологическому анализу. Анализ этот приводит нас к тому, что «образность», будучи специфическим признаком искусства, как деятельно-

сти, в своих конкретных особенностях, в своей, так сказать, «фактуре», является выражением классовой общественной психики.

II

Лицо искусства — его душа — это образность. В образности концентрируются все особенности художественного произведения, формальные и идеологические. В образности — критерий художественности, без которого нет оценок, а значит нет и понимания искусства. Большая или меньшая сила образности, ее качество и количество делает одно произведение классическим, переживающим века, а другое ставит на границу, отделяющую искусство от неискусства. В характере образности — черты, определяющие социальное происхождение произведения. Искусство одного класса или эпохи отличается от искусства другого класса или эпохи характером образности, так же точно, как искусство одного художника от искусства другого. Если «образность» — специфика искусства, стиль — специфика образности. Образность и есть стиль. «Стиль» не в системе «приемов», не в особенностях структуры, а именно в характере образности. Существенное определение стиля не в том, что это «система»: любой стиль—«система». Суть в том: каков «характер» системы, т.-е. чем одна «система» отличается от другой «системы». Вот это «отличное» и есть стиль [20]). Но изучить стиль — значит не только «описать» его особенности, не только «классифицировать» его характерные черты, но проникнуть в тайну их появления, постигнуть законы их образования. Почему один стиль отличается от другого? Откуда берутся «особенности», делающие их непохожими? Каковы законы, управляющие их развитием? Вот вопросы, возникающие перед научным литературоведением, когда оно пытается понять историю, т.-е. возникновение, развитие, борьбу и исчезновение, иначе — движение «стилей». Изучать «стиль» — это значит изучать «образность», как систему, социально обусловленную. Проблема социального детерминизма в области искусства является основной в марксистком литературоведении. Этой проблеме будет посвящена наша следующая статья.

III

Мы видим, как неправильно было определение литературы, даваемое школой В. Переверзева. «Образная система» противопоставлена здесь «системе мысли». Изучение «образа», согласно этому определению, изолируется от всяких «мыслительных» элементов. Об'является посторонним делом для историка литературы философия, философские течения и направления, публицистика и общественная мысль. Даже критика — прикладное литературоведение — и та оказывается за пределами науки о литературе. Об'ектом деятельности литературоведа оказывается «сфера образного творчества» в узком смысле, в том самом, в каком она является «об'ектом» и для формалистов. Вся разница лишь в том, что формалисты говорят о «приеме» (Шкловский) или «системе приемов» (Жирмунский). А Переверзев говорит об «образе» и «системе образов». Ошибочность определения явилась результатом недиалектического, узко ограниченного толкования образа и образной системы.

Литература есть деятельность общественного человека, закрепленная в специфических формах. Деятельность эта, диктуемая потребностями познать и перестроить мир, осмыслить свое собственное в нем существование, есть деятельность борьбы. Она захватывает все стороны общественной жизни, затрогивает самые существенные, глубочайшие жизненные интересы общественного человека. Поэтому ее содержанием является все, что человека волнует, что заполняет его жизнь, его борьбу, что составляет его стремления, задачи и цели. Искусство закрепляет все многообразие чувств и мыслей, стремлений, идеалов, надежд и разочарований, любви и ненависти, возникаю-

щих в человеческом сознании в процессе его борьбы. Специфика закрепления в образности. Но образность нельзя понимать только, как специфическую форму закрепления общественных процессов и переживаний. «Образ» — это «форма», являющаяся в то же время и «содержанием», т.-е. такая форма, которая не существует вне содержания, без содержания. Поэтому анализ «образа не может ограничиваться анализом одних формальных особенностей, оставляя в стороне то существенное для образа, что закреплено в его специфических формах. Другими словами — задачей литературоведения является такой анализ «образных систем», который, будучи анализом формы, вместе с тем был бы анализом содержания. Проблема эта разрешается диалектическим методом, рассматривающим «образ», как «форму-содержание». Ибо нет образа или образной системы вне того «наполнения», которое в нем специфически закреплено. Поэтому нельзя выводить «философию», «критику», «публицистику» за пределы «истории литературы», поскольку философия и критика, и публицистика оказываются закрепленными в образе, являются неотрывной частью, наполнением образов.

Примечания

[1] В. Шкловский. — «О теории прозы». Изд. «Федерация». М. 1930. Стр. 10.

[2] «За марксистское литературоведение». «Академия». 1930. Стр. 11.

[3] В. Жирмунский. — «Вопросы теории литературы». Изд. «Академия». Стр. 31. 1928 г.

[4] Ряд справедливых замечаний по поводу этого взгляда Г. Горбачева сделал С. Бабух в статье «Г. Горбачев против Переверзева» («На Лит. Посту № 11 — 12. 1929 г.). Неправ С. Бабух лишь тогда, когда исследование таких проблем, как «восприятие среды», «творческая психология», приравнивает к «исканию психологических гнид» в «мистикообразной болтовне об эманации творческой души поэта». Будто бы проблема «восприятия среды», т.-е. изучение реакций отдельных классов общества на те или иные произведения искусства столь ничтожна? А ведь «социальную функцию» искусства нельзя оторвать от проблемы «восприятия среды».

[5] И. Маца в своей недавно вышедшей книге «Очерки по теоретическому искусствознанию» (Изд. Ком. Академии. 1930), в статье «Искусство, его спецификум и функция», правильно подчеркивает, что марксизм ищет специфичность «органического целого», а не тех или других отдельных элементов искусства. Но его отрицание «образа», как специфики искусства, не убеждает. Нельзя считать также удачным и самое определение образа: «Образ есть организация единства наиболее общих психических реакций в их наиболее интенсивной действенности. Он выявляет множественность (динамика психических отношений) частного (идея) в единстве (образ) общего (реагирующая психика)» (стр. 91). Во всяком случае определение специфичности искусства, даваемое, И. Маца, как марксистское определение, нуждается в обосновании. Им сужывается также и «цель» искусства, заключающаяся, по его словам, в закалке классовой уверенности своего суб'екта.

[6] В статье «О поэзии и заумном языке» Виктор Шкловский так писал о «зауми», образцы которой мы привели только что: «В наслаждении ничего незначащими» «заумными словами», несомненно, важна произносительная сторона речи. Может быть, что даже вообще в произносительной стороне, в своеобразном танце органов речи и заключается большая часть наслаждения, приносимого поэзией. (Сб. «Поэтика» Петроград. 1919. Стр. 24). Эта выписка говорит сама за себя и не нужается в комментариях.

[7] Б. Томашевский. — Теория литературы». 4-е изд. ГИЗ. 1928. Стр. 69.

[8] В. Жирмунский, очень близкий В. Шкловскому по некоторым вопросам теоретического мировоззрения, замечает по поводу приема: «Поэтический прием не есть некоторый самодовлеющий, самоценный, как бы естественно-исторический факт: прием, как таковой, прием ради приема — не художественный прием, а фокус. Прием есть факт художественно-телеологический, определяемый своим заданием: в этом задании, т.-е. в стилистическом единстве художественного произведения, он получает свое эстетическое оправдание». («Вопросы теории литературы», указ. изд., стр. 52). «Эстетическое единство» — это псевдоним, за которым скрывается непризнаваемая В. Жирмунским образность. Вот как, напр., пишет В. Жирмунский о поэтическом языке: «...язык поэзии построен по художественным принципам; его элементы эстетически организованы, имеют некоторый художественный смысл, подчиняются общему художественному заданию (там же, стр. 33. Подчеркнуто мною.— **Вяч. П.**) Но ведь все эти: «художественный» смысл и «эстетическая организация», и «художественное задание» — заключаются именно в том, что их существом, их содержанием и является «образ», изгоняемый В. Жирмунским из «специфики».

[9] Вопросы теории литературы. Изд. «Академия», Ленинград. 1928. Стр. 28.

[10] См. «Лирика, как особый вид творчества». Собр. соч. т. VI.

[11] «Теория поэзии и прозы». Петроград. 1918. Стр. 49.

[12] Сбор. «Литературоведение». Указанн. изд. Стр. 60.

[13] «Лит. и Марксизм». 1929. № 2. Стр. 15.

[14] Мы не говорим подробно об одной из особенностей «органической теории» В. Переверзева, уже неоднократно отмеченной критикой, а именно: В. Переверзев имеет в виду исключительно «образ-персонаж». Образ-персонаж, «социальный характер», — как бы отождествляется со всем произведением. А между тем понятие произведения, как «системы образов», предполагает существование целого ряда образов не персонального характера. Выше я приводил в качестве примера систему образов, организованную в романе «Война и мир». «Образ-персонаж» занимает в этой системе нисколько не первенствующее место. Можно указать целые произведения, в которых «персонаж» вообще удаляется на далекий план. В. Фриче, напр., определяя «образ-персонаж», как «психологический», в противоположность ему выдвигает образы «вещные» (напр.: город, рынок, паровоз). (См. В. Фриче «К вопросу о характере образа в стиле индустриального капитализма» в сборнике статей «Проблемы искусствоведения». Гос. изд-во. М.—Л. 1930). К «вещным» образам В. Фриче причисляет, кроме образов вещей, еще натюрморты, пейзажи... Он говорит далее о новом образе, не психологически-антропоморфном — образе «движения». Последние образы, в противоположность психологическому образу человека, В. Фриче считает явлением именно капиталистического стиля, созданием индустриальной эпохи. На этом противопоставлении и построена вся его крайне интересная статья. В. Фриче прав, устанавливая, кроме психологических, еще наличие образов вещных, материальных, не персональных. Но эти образы существовали на ряду с образами «персонажей» и в доиндустриальную эпоху. Всякое почти художественное произведение является сочетанием образов разнородного характера.

[15] «На Литературном Посту». № 13. 1929 г. Стр. 11. «К спору вокруг переверзевской школы».

[16] В своем ответе С. Щукину на диспуте в Ком. Академии касательно взаимоотношений художника и произведений В. Переверзев отвергает как-будто обвинение в откреплении «социального характера», об'ективирующегося в искусстве от личности автора. «Что это за характер воспроизводит художник, играя, и какой это характер вообще воспроизводится в игре? Да очевидно характер художника, потому что ничей больше характер там воспроизвестись не может. Это его чувства, его мысли, это его поведение («Против механистического литературоведения». Изд. Коммунистическ. Академии. М. 1930). Но как же быть в таком случае с теми утверждениями В. Переверзева, где с ясностью, не допускающей кривотолков, он заявлял о том, что его менее всего интересует автор и авторская психология.

[17] Ф. Энгельс, Л. Фейербах. Библиотека Марксиста под ред. Д. Рязанова, Гос. Изд. 1928. Стр. 83.

[18] «Второе письмо А. Богданову». Соч. т. XVII. Стр. 43.

[19] Предисл. к книге А. Деборина «Введение в философию диалектического материализма». Изд. 5. Гос. Изд. 1930. Стр. 31.

[20] № 1. 1930. Стр. 40.

[21] И. М. Беспалов ставит в заслугу В. Переверзеву, что он, «во-первых, дал и конкретно разработал учение об образе и тем самым нашел место художественной литературе, как специфическому явлению в ряде других фактов («Против механистич. литературоведения» стр. 74). Нельзя отрицать действительных заслуг В. Переверзева, но они не там, где их видит И. М. Беспалов. Прежде всего: учение об «образе» было разработано и до В. Переверзева, равно как и намечена «специфика» художественной литературы. Учение об «образе» В. Переверзева как раз и является наиболее уязвимым местом его теории. Заслугой В. Переверзева, и заслугой большой, является то, что он подчеркнул момент «с и с т е м ы», трактовал образ, как сложно организованное целое. Эта заслуга остается за ним, несмотря на то, что в целом его учение об «образе», как специфике художественной литературы. — неудовлетворительно.

[22] «Литература и марксизм». № 1. 1929. Стр. 24 — 25. «Социологический метод формалистов».

[23] От идеализма к материализму. Цит. из сбр. «Исторические подготовления научного социализма». Под ред. Д. Рязанова. Изд. «Моск. Рабочий». М. 1922. Стр. 35.

[24] В. Келтуяла. «Метод истории литературы». Изд. «Академия», Ленинград. 1928.

[25] Мы касаемся здесь «проблемы автора» мимоходом. Мы посвятим этому вопросу специальную статью.

[26] «Творчество Гоголя». Изд-во «Основа». 1928 г. Иваново-Вознесенск. Стр. 22.

[27] Литература и марксизм». 1929 г. Кн. 2-я. «Проблемы марксистского литературоведения». Стр. 13.

[28] Доклад С. Щукина, см. в книге «Против механистического литературоведения». Дискуссия о концепции В. Переверзева. Изд. «Ком. Академия». М. 1930.

[29] А. Н. Веселовский. Собр. соч. т. I. СПБ. 1913. Стр. 475. Изд. Академии Наук.

[30] Нетрудно было бы показать, что вся работа пролетарских писателей в поисках «пролетарского» стиля, вся работа Маяковского и лефов, конструктивистов и других искателей новых, т.-е. современных, революционных способов поэтического выражения,— протекает именно в области борьбы за новые средства изобразительности и выразительности, т.-е. за новую «образность», соответствующую новому материалу, новому взгляду на мир, новым задачам искусства, т.-е. новому содержанию. «Образность» — не «форма»; образность — это одновременно и «форма» и «содержание», т.-е. «художественное содержание».

2. ДВУПЛАННЫЙ ПУШКИН [1])

Н. Прянишников

В предисловии автор сообщает, что к теме о Пушкине он был приведен «общей линией» своих «исканий» и что предыдущими этапами этой линии были Л. Толстой, Достоевский, Гомер, греческие трагики, Ницше и древнеэллинская религия.

Таким образом, Пушкин рассматривается, как один из «вечных спутников», как некая вневременная и внепространственная человеческая субстанция. Социальный аспект устранен из книги совершенно и притом умышленно, как это можно понять из заключительных слов центральной статьи сборника: «Такое понимание поэзии Пушкина, может быть, окажется более согласующимся и с социальными корнями его творчества».

Понятно, что такой подход к Пушкину неизбежно должен быть импрессионистским. Возражать против импрессионистского подхода к тому или иному поэту, вообще говоря, не приходится. Каждый в конце концов имеет право воспринимать поэта так, как он им воспринимается, и даже публиковать свои «восприятия», тем более, что подобного рода публикации нередко вводят в оборот научно-об'ективного литературоведения интересные наблюдения и плодотворные догадки.

В книге Вересаева немало тех и других, да и странно было бы, если бы это было иначе: не даром автор так много занимался Пушкиным. Нужно, впрочем, сказать, что в основных своих утверждениях Вересаев не претендует на какую-либо особенную новизну, всякий раз добросовестно называя своих предшественников (Белинский, Вл. Соловьев, Гершензон). Минус книги, однако, в том, что автор слишком много доказывает и очень любит спорить. Для суб'ективно-импрессионистских утверждений слишком обильная аргументация и полемика с инакомыслящими—опасны. Гершензон, например, прекрасно понимал это. По свидетельству самого Вересаева, «Гершензон не любит спорить и доказывать. Он в науке больше поэт, чем исследователь. На возражения он часто отвечает: вы смотрите так, я так» (33). К немалому ущербу для своей книги Вересаев не последовал этому благому примеру. Его полемические выпады иногда удачны и кусательны (например, против Щеголева по вопросу о крепостном романе Пушкина), но, вынужденный в пылу полемики заострять свои собственные положения, он часто договаривается до таких вещей, которыми эти положения лишь компрометируются. Так, справедливо возражая против наивного биографизма Ходасевича (домыслы об автобиографической основе «Русалки» и «Скупого рыцаря»), Вересаев впадает в обратную крайность, которую можно назвать наивным антибиографизмом: «Кто вздумал бы судить о Пушкине по его поэтическим произведениям, тот составил бы о его личности самое неправильное и фантастическое представление» (134). Отсюда: если Пушкин воспел в «Медном Всаднике» Петербург и признался в любви к нему («Люблю тебя, Петра творенье...»), не верьте поэту, потому что в письмах его к жене и друзьям встречаются такие признания, что «Петербург ужасно скучен», «Петербург душен для поэта» и т. п.; знаменитые стихи «Здравствуй, племя младое, незнакомое...» должны быть взяты под подозрение, потому что в письме к жене поэт писал, что ему «досадно» было смотреть на молодую сосновую семью, поднявшуюся вокруг старых сосен; если Пушкин воспел Бахчисарайский фонтан («фонтан любви, фонтан живой»), не доверяйте ему, потому что четыре года спустя в письме к Дельвигу он описал этот фонтал весьма прозаически.

Все подобные случаи несовпадения поэтических и эпистолярных высказываний Пушкина приводят Вересаева в сильнейшее недоумение и дают ему повод говорить о каком-то необычай-

[1]) В. Вересаев. — «В двух планах». Статьи о Пушкине. Изд. «Недра». М. 1929. Стр. 206. Ц. 1 р. 75 к.

ном разрыве между Пушкиным-поэтом и Пушкиным-человеком. Любопытно при этом, что, противопоставляя стихам Пушкина его внепоэтические высказывания, Вересаев усиленно подчеркивает, что в последних выражались «подлинные настроения и чувства» Пушкина, как-будто в своих задушевнейших и интимнейших стихотворениях Пушкин был менее подлинным. Вересаев, конечно, чувствует всю невероятность подобного допущения. По поводу Керн он проговаривается: «Был какой-нибудь очень короткий миг, когда пикантная, легко доступная барынька вдруг была воспринята душою поэта, как гений чистой красоты, и поэт художественно оправдан», а в другом месте прямо признает, что в зрелых произведениях Пушкина «нет ни единой фальшивой ноты».

Отсюда, казалось бы, один только шаг до диалектически-целостного охвата личности Пушкина, охвата, на который способен всякий, даже неквалифицированный, но здравомыслящий читатель, не мудрствуя лукаво полагающий, что поэты на то и поэты, чтобы поэтизировать действительность, а особенно такие поэты, как Пушкин, который, как это доказывает Вересаев, лучшие свои лирические вещи создавал не сразу после соответствующего реального переживания, а долгое время спустя, т.-е. творил воспоминания, а воспоминаниям, как известно, присуща особенная поэтизирующая сила.

Но, очевидно, нельзя безнаказанно заниматься в течение ряда лет собиранием и систематизацией «подлинных свидетельств современников» о великом поэте. Когда в результате этого собирания появился знаменитый отныне «Пушкин в жизни», то некоторые рецензенты выражали опасение, что эта книга «соблазнит малых сих», т.-е. широкого рядового читателя. Насколько это опасение было основательно, пока неизвестно, но что соблазнился прежде всего сам собиратель, это—несомненно. Подавленный «свидетельствами современников», он, повидимому, не смог примирить Dichtung und Wahrheit поэта: иначе нельзя понять, зачем понадобилось ему реставрировать дуалистическую концепцию личности Пушкина, данную когда-то христианнейшим Вл. Соловьевым. Вопреки собственным утверждениям о неавтобиографичности Пушкина Вересаев, однако, слишком всерьез и слишком буквально принял пушкинского «Поэта» и особенно эти два стиха: «И меж детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он...» Автор «Живой жизни», когда-то восхищавшийся языческим аморализмом Толстого-художника, в отношении Пушкина становится почему-то в позу христианского моралиста, обретая и соответствующий язык: «Под поверхностным слоем густого мусора в глубине души Пушкина лежали благороднейшие залежи». Или: «Стихи эти («Воспоминание». — Н. П.) — тоска олимпийского бога, изгнанного за какой-то проступок с неба на темную землю и рвущегося мечтой к лучезарной своей родине».

На стр. 68 Вересаев констатирует у Пушкина «величайшее душевное легкомыслие, полную безответственность одного момента жизни пред любым другим моментом, отсутствие основного регулирующего начала, хотя бы в какой-нибудь мере действующего на жизненные поступки человека». Вересаев рад отметить, что именно такого же мнения о Пушкине был и Хомяков. Здесь кстати будет сказать, что Хомяков, как и Соловьев, тоже—богослов, но автор, вероятно, и не подозревает, что инерция в корне неправильных рассуждений привела его к трогательной солидарности не только с богословием, но и с лицами совсем иной категории.

Вот что доносил шефу жандармов Бенкендорфу приставленный для наблюдения за Пушкиным фон-Фок: «Присоединяю к моему посланию письмо нашего пресловутого Пушкина. Эти строки великолепно его характеризуют во всем его легкомыслии, во всей беззаботной ветрености. К несчастью, это человек, не думающий ни о чем, но готовый на все. Лишь минутное настроение руководит им в его действиях» (Вересаев.—«Пушкин

в жизни». Изд. 2-е. Вып. III. Стр. 17). А вот что доносил Бенкендорф Николаю I: «Он все-таки порядочный шалопай, но если удастся направить его перо и его речи, то это будет выгодно» (ibid. Вып. II. Стр. 91). А вот что писал сам Николай I Бенкендорфу в ответ на рапорт последнего об очередной провинности поэта: «Я ему прощаю, но позовите его, чтобы еще раз об'яснить ему всю бессмысленность его поведения и чем все это может кончиться; то, что может быть простительно 20-летнему безумцу, не может применяться к человеку 35 лет, мужу и отцу семейства» (ibid. Вып. III. Стр. 131).

В самой тесной связи с мыслью о двуплановости Пушкина находится утверждение Вересаева, что если бы Пушкин не был поэтом, то он был бы ничем, т.-е. самым обыкновенным человеком, обывателем. В самом деле: если Пушкин не един, а двупланен, т.-е. состоит из «олимпийского бога» плюс «меж детей ничтожных мира» и т. д., то понятно, что если из этого механического (не органического!) соединения вычесть «олимпийского бога», останется «ничтожество». Вересаев так и пишет: «Если мы представим себе других наших крупных художников лишенными таланта, то у большинства из них останется и еще что-то, что выделяло бы их из обывательской толпы. Мы легко можем представить себе Лермонтова, родись он на десять лет раньше, не случайным декабристом, Гоголя можем представить себе фанатическим монахом-аскетом, Толстого—религиозным сектантом в роде Сютаева, Достоевского—схимником типа Амвросия. Но что являл бы из себя в таком случае Пушкин?»

Мы берем на себя смелость ответить Вересаеву, что, не будучи поэтом, Пушкин мог бы быть замечательным историком, а на худой конец—просто «умнейшим человеком в России». Что касается Л. Толстого и Достоевского, то, проживи каждый из них не дольше того возраста, в котором погиб Пушкин, вряд ли Вересаев сделал бы о них свои предположения—о сектантстве одного и о схимничестве другого. Лермонтов, как известно, был настолько неколлективистичен, что, будучи студентом Моск. университета, держался там совершенно особняком и не принял никакого участия в начавшемся как раз тогда интенсивном студенческом движении (кружки), так что нет никаких оснований для предположения о его возможном декабризме. Гоголь же, как известно, в последние годы своей жизни был явно ненормальным человеком, а клиническая ненормальность, в чем бы она ни выражалась, не может считаться каким-либо преферансом над обывательщиной.

Помимо внутренних противоречий, обусловленных порочностью основной предпосылки, в книге немало и таких, которые происходят просто от излишней поспешности. В статье «Об автобиографичности Пушкина» Вересаев резко бракует лицейские стихотворения Пушкина, как биографический источник (стр. 45), а в статье «В двух планах» он, забыв об этом, аргументируется как раз на лицейских стихах для доказательства, что Пушкин еще смолоду знал «счастье ухода от живой жизни в мир светлой мечты» (стр. 151—152).

В первой статье сборника, посвященной кропотливым разысканиям по вопросу о датировке элегии на смерть Ризнич, автор с большим (и для себя и для читателя) напряжением клонит к тому, чтобы доказать, что знаменитая элегия написана год спустя после того, как до поэта дошла весть о смерти Амалии Ризнич. Автор даже делает из этого обстоятельства интересный вывод о психологии пушкинского творчества, как вдруг на стр. 15 оказывается, что, может быть, элегия-то написана всего через несколько дней после вести о смерти Ризнич, и даже, мол, всего вероятнее, что именно так оно и было. Читатель остается в досадном недоумении: для чего же было огород городить?

В общем к автору книги во многом применимы его же слова, сказанные им в этой книге о Гершензоне: «Метод его никуда не годится, но сам он так умен и интересен, так знает Пушкина и так трогательно любит его, так много думал над ним, что чи-

таешь любую его работу: не соглашаешься подчас ни с одним словом, всю статью испещришь вопросительными и восклицательными знаками, а прочтешь—и столько в голове поднимается вопросов...» (33).

Книга—неверная, но возбуждающая, и в этом ее значение.

---

3. ПОЛИТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ПИСКАТОРА

Фатима Риза-Задэ

Эрвин Пискатор, известный немецкий «левый» режиссер, выпустил в ноябре 1929 года книгу[1]) полутеоретического, полумемуарного характера, где он излагает как историю своей театральной деятельности, так и систему своих взглядов на театральное искусство. Книга издана прекрасно: она изобилует снимками постановок и интересно «вкрапленными» в текст вырезами, рецензиями, статьями, отзывами из газет. Деятельность Пискатора охватывает десятилетний период с 1919 года, года открытия его первого театра в Кенигсберге, до осени 1929 года, когда он сделал последнюю неудачную попытку нового открытия своего театра в Берлине, после того, как весной 1928 года он вынужден был ликвидировать свой театр из-за чисто финансовых затруднений. Вся его деятельность протекала почти исключительно в Берлине после того, как он в 1920 году перешел туда из Кенигсберга. Сначала он давал летучие спектакли в отдельных залах преимущественно пролетарских районов. Это было в 1920—21 гг. Труппа его называлась «Пролетарским театром» (Proletarisches Theater). В 1923—1924 гг. он перенес свои спектакли на сцену «Централь-театра» (Central-Theater), но уже в 1924 году он перешел на «Народную сцену» (Volksbühne), где и проработал до 1927 года. В 1927 году ему удалось открыть собственный театр, заарендовав помещение театра на Ноллендорфплатце, назвав его «Сценой Пискатора» (Piscatorbühne). Театр этот пользовался большим успехом, особенно своей нашумевшей постановкой «Солдата Швейка», но просуществовал он недолго. Уже весной 1928 года ему пришлось свернуться. Пискатор подробно останавливается на причинах этого, как он считает, чисто финансового краха и усматривает их главным образом в том, что он сильно пошатнул свое материальное положение, засняв весной 1928 года помещение Лессинг-театра, где он давал спектакли одновременно со спектаклями в театре на Ноллендорфплатце, что распылило и средства и силы. Финансовые затруднения всегда сопутствовали предприятиям Пискатора. Это, конечно, не удивительно. Театр на Западе — в подавляющем большинстве случаев—чисто коммерческое предприятие, рассчитанное на злободневность и неприхотливый вкус хорошо платящей публики. Пискатор, строя свою программу исключительно в интересах пролетарской публики, т.-е., публики наименее обеспеченной, не мог рассчитывать на крупный материальный успех. С другой стороны, тщательная техническая обработка каждого спектакля требовала больших финансовых затрат. Пискатор преследовал не только цели идеологического новаторства в театральном искусстве, противопоставляя свой театр, с его резко выраженной революционной тенденцией, театру буржуазному, с его идеологической бедностью и идейной бессодержательностью, но и новаторства в области самой техники театра, техники оформления спектакля в особенности, поскольку самая игра актеров выдерживалась в довольно традиционных реалистических тонах с некоторым уклоном в гротеск.

Историю своего театра, т. е. театра революционно-политического, Пискатор связывает с возникновением народного

[1]) Ervin Piscator. Das politische Theater. A. Schulz-verlag. Berlin. 1929.

театра в Германии 90-х годов. Этот театр возник под непосредственным влиянием течения натурализма в литературе, в котором впервые на литературную арену начали выводить пролетариат, как классовый коллектив, а не в образах отдельных, довольно утопически обрисованных рабочих социального романа середины XIX века. Но народный театр конца XIX века, по мнению Пискатора, еще не являлся революционным театром. Настоящее возникновение пролетарского театра Пискатор относит к эпохе империалистической войны, когда Пискатору удалось преобразить сцену в трибуну революционно-политической пропаганды. Он был связан в литературе с течением экспрессионизма военного периода, а датой его реального возникновения следует считать март 1919 года, когда Пискатору совместно с Германом Шуллером удалось организовать «Пролетарский театр». «Пролетарский театр» своим самым основным принципом считал служение остро-пропагандным целям. Этот принцип он осуществлял, выдвигая две непосредственные задачи своей деятельности: полный разрыв с традицией капиталистического театра и политическое воспитание масс. В осуществлении этих двух задач театр сразу натолкнулся на большие трудности. Основной из них являлось полное отсутствие подходящих пьес. Первым автором, откликнувшимся на организацию первого подлинно пролетарского театра, был молодой немецкий революционер драматург Франц Юнг. Но и он сумел дать только отдельные «куски», отвечавшие задачам этого театра, так что первая пьеса, посвященная русской Октябрьской революции, «День России» (Russland's Tag), была плодом скорее коллективного, а не индивидуального творчества, поскольку в ее создании принимал участие весь театральный коллектив. Этот молодой театр был технически еще очень слаб. Помещение его не обладало никаким специальным оборудованием,— это был зал местного народного собрания. Декорации отличались большой примитивностью, но и они уже были пропитаны новым принципом. Они тоже играли определенную социально-политическую роль, дополняя собой действие, а не являлись только моментом мертвого декорума. Зрители вербовались исключительно из среды рабочих, особенно организованных рабочих, членов коммунистических, синдикалистских и рабочих союзов. Спектакль строился по принципу воздействия не только на «чувства» зрителей, но главным образом на рассудок, отвечая педагогическим задачам, а не задаче развлечения, служенью которой подчинен буржуазный театр. Средства на этот театр давали рабочие союзы; но театру в 1921 г. все-таки пришлось закрыться из-за недостатка денег.

Сезон в 1923—24 году, после закрытия «Пролетарского театра», Пискатор проработал в «Централь-театре», в Берлине, где ему пришлось значительно «сгладить» свои принципы. Там он давал такие далеко не революционно-пролетарские пьесы, как «Власть Тьмы» Толстого, «Мещане» Горького, «Время придет» Ромэн Роллана, выдерживая их в чисто-натуралистических тонах. Пискатор считает этот период периодом своего ученичества в театральной жизни и театральном искусстве Берлина.

Весь этот период «Народная сцена» (Volksbühne) фактически бездействовала, питаясь случайными и совершенно беспринципными постановками. Так обстояло дело до 1924 года, когда Пискатор был приглашен туда совершенно неожиданно: случайно не оказалось подходящего режиссера для постановки тоже случайно принятой пьесы Альфонса Паке (A Paquet) «Знамена» (Fahnen), и эту постановку решили поручить Пискатору. Так началась его трехлетняя деятельность на «Народной сцене». Пьеса рисовала грандиозную забастовку, разыгравшуюся в 80-х годах прошлого столетия в Чикаго. В постановке этой пьесы Пискатор впервые осуществил новый принцип театрального искусства, принцип построения театрального действия не как действия, покоящегося на принципе чистой эстетики, но и на материале чисто документального характера. Многим введение этого внеэстетического момента показалось настоящей профанацией «храма искусства». Это был путь деромантизации искусства в старом понимании это-

го слова, отказ от сентиментальных сюжетов, от психологического копательства для введения новой романтики,— романтики повседневного, романтики тюрем, мистерий фабрик, машин и классовой борьбы. Это был путь от «чистого» искусства к публицистике, к репортажу, от вымысла—к правде. Работа над «Знаменами» оказала сильнейшее влияние на всю последующую деятельность Пискатора, особенно на такие его постановки, как «Гроза над божьей страной (Gewitter über Gottland), «Конъюнктура», «Швейк», «Распутин». Как драма «Знамена» означала первую последовательную попытку разрушения схемы драматического действия и замены ее эпическим развертыванием материала. С этой точки зрения «Знамена» явились первой сознательно-эпической драмой. Кроме того, сам материал пьесы давал возможность освещения известного социально-экономического фона, что делало драму в некотором отношении и первой марксистской пьесой, поскольку в инсценировке осуществлялась попытка осознать и подчеркнуть закулисные материальные двигающие силы. Это давало толчок к расширению сценического материала за пределы самой сцены в целях освещения этого, стоящего за непосредственным действием, фона. Для этой цели введены были две стоящие по сторонам сцены таблицы, на которых давался сопроводительный к действию текст. Этот текст играл определенно педагогическую роль, давая настоящую интерпретацию текста пьесы. Из этих таблиц развивается в дальнейшем кинофильм в постановках «Гоп-ля, мы живем», «Гроза над божьей страной» и календарь в постановке «Распутин», при чем там они служат уже не только узко-педагогической цели интерпретации отдельных кусков текста, но являются настоящим принципом, возвышающим всю драму до уровня подлинно тенденциозной пьесы.

Однако, первой постановкой, куда впервые органически вошел политический документ как неотъемлемое текстуальное и сценическое начало, была постановка пьесы «Вопреки всему» (Trotz Alledem, Grosses Schauspielhaus, 12 июня 1925 г.). Постановка была плодом не только коллективного, но и синтетического труда музыкантов, авторов, режиссеров, художников и самих артистов. Был установлен целый ряд сценических площадок и коридоров на вращающейся основе. Все это создавало единство установки и непрерывность действия. Впервые был введен, как органическая часть, и кинематограф. На экране демонстрировался фильм, составленный из подлинных военных кадров. Он был тоже документом. Вся постановка была одним огромным монтажем подлинных речей, газетных вырезок, снимков и подлинных документов войны и революции, архивных данных и т. д. Спектакль строился на стремлении органического слияния сцены и зрителя, главным образом пролетарского массового зрителя. Спектакль превратился в настоящую политическую демонстрацию. Успех и напряжение были огромны. Спектакль шел 14 дней под ряд.

После этой постановки Пискатор до 27 года продолжал свою работу на подмостках «Народной сцены». Это была работа главным образом над актерским материалом. Пьесы брались из репертуара Горького, О'Нейля, Леонарда и др. Он окончательно вырабатывал свой сценический стиль, непосредственно обусловленный его политическим мировоззрением. Стиль, чуждый сентиментальностей, довольно жесткий и целостный. Он исходит из принципиального утверждения, что актер неотделим от общего стиля данного театра, от его мировоззрения и мироощущения. Как пример, Пискатор приводит мысль о том, что в России актер театра Мейерхольда не смог бы играть у Таирова или у Станиславского. «Совершенно неоспоримо,—говорит он (стр. 83—84), — что личная ценность артиста имеет свою значимость, которая не имеет отношения к его функции и представляет собой собственный эстетический элемент. Там, где эта собственная ценность выступает как эстетическое средство (Relzmittel) «для себя» (für sich allein), мы его, конечно, не можем изменить... Не в том дело, чтобы актер выходил из своего индивидуально-челове-

ческого качества, как артиста, но в том, чтобы эти его человеческие особенности были поставлены в соответствие с точкой зрения художественно-политической функции... Но,—и здесь заключено самое основное,—рассматриваемый мною как специалист, в сознательном отношении к своей функции, он, этот артист, растет вместе со мной и от меня приемлет свой стиль... Я вижу в актерской игре (im Schauspielerischen) науку, которая принадлежит к интеллектуальной структуре театра, к области его педагогики (zum Pädagogischen). В противоположность к артистически-танцовальной комедии dell'arte, как это еще проводит и сегодня, хотя и в несколько измененном виде, русский театр, мы исходим из конструктивно-мыслительного начала» (gehen wir aus dem Konstructiven des Gedankens).

Из этого высказывания видно, какой подчеркнутый акцент ставит Пискатор на моменте педагогического воздействия, а не художественного оформления. Если ему все-таки удавалось сохранить и последнее на известной высоте, то об'ясняется это талантливостью самого Пискатора и отдельных игравших у него артистов, как, например, Пеллермана, а также высокой техникой оформления спектакля, хотя техника, как утверждает Пискатор, никогда доминирующей или самоценной у него не являлась и тоже подчинялась общей пропагандной цели. Исходя из этой установки на педагогическое воздействие, которому они всецело подчиняют момент художественности, последователи Пискатора, как, например, приезжавшая недавно в Москву труппа молодых немецких артистов, часто впадают в крайность: в целях максимального обнажения педагогической тенденции они настолько отодвигают на второй план все остальное, что спектакль получается определенно неинтересный и примитивный. Они, повидимому, забывают учитывать тот элементарный закон, что искусство специфично, обладает своей природой, не совпадающей с природой других идеологических надстроек, хотя и находится с ними в процессе непрерывного взаимодействия. Это взаимодействие, если оно даже и носит характер длительного влияния,—в данном случае влияние определенной политической идеологии на искусство,—все же должно принимать форму органического слияния с природой данного искусства, а не оставаться отдельной вкрапленной в него тенденцией. Это прекрасно понимают московские театры, и напрасно такое их пониманье тенденции как пропаганды, органически слитой с художественной природой драматического искусства. Пискатор называет преобладанием «артистическо-танцовального», идущего от комедии dele,arte, своему началу, идущему от «конструктивной мысли». Результатом чисто пискаторовского понимания задач и форм театра и являются такие спектакли, как «Цианкали» и «Бунт в воспитательном доме». Может быть, в Германии, где еще живы законы о запрещении изгнания плода и существуют застенки под именем воспитательных домов, эта бьющая через край злободневность заставляет забывать о бедности и серости момента художественного ее воплощения, — спектакли «Бунта» и «Цианкали» решительно ничем не возвышаются над средним уровнем весьма средних «натуралистических» пьес, — то в Советской России, где отсутствовала эта создающая весь интерес злободневность, эти спектакли показались определенно слабыми в моменте художественного оформления и уж совсем «любительскими» в части актерской игры. И это, конечно, не случайно. Достаточно вспомнить художественную слабость и беспомощность всего натуралистического театра, давшего один единственый шедевр «Ткачей» Гауптмана, оставшийся и в его творчестве единственным натуралистическим шедевром. Этой художественной слабостью страдало, как известно, все течение натурализма в целом, в литературе так же как и в изобразительных искусствах, несмотря на огромную талантливость отдельных его представителей-вождей. Это доказывает, что даже талант не всегда спасает художественное творчество, когда оно стоит на ложном пути. Таким ложным путем натурализма было, как известно, перенесение в литературу научных методов, не отвечающих природе худо-

жественного творчества. Таким методом был пресловутый «экспериментальный» метод Золя, который остался великим художником только потому, что на каждом шагу изменял своим же «экспериментальным» принципам и, наоборот, творил чудеса безвкусия и наивности каждый раз, когда добросовестно старался оставаться им верным. Из всего этого, конечно, не следует, что педагогические задачи «принижают» искусство, из этого следует только, что всякие задачи искусство должно разрешать своими специфическими средствами. Что московские театры понимают это и разрешают педагогические задачи художественно (что советский театр тенденциозен и служит пропагандно-политическим целям, никому не придет в голову отрицать), доказывает хотя бы то, что даже там, где его тенденция не только не встречает сочувствия у зрителя, но бьет по нему, даже и там спектакль не теряет своей ценности и интереса, поскольку и эта ценность и этот интерес не зиждятся только на механически привнесенной тенденции, а спектакль не низведен до роли простой «служанки» того или иного педагогического задания, но поднимает это задание до степени художественной идеи, делает его художественной плотью данного произведения, вне которого это произведение жить не может. Разве не ярким доказательством правильности московского подхода к задаче претворения художественности и политики служит огромный успех московских театров за границей, успех даже у буржуазной публики? Разве не показателен успех «Виринеи» в Париже? И, наоборот, разве не так же показательно разочарование даже пристрастно-положительно настроенного советского зрителя «Цианкалием» и «Бунтом». А ведь разочарование это не могут замаскировать ни снисходительность рецензий, ни щедрые хлопки публики, падкой до всего заграничного, особенно если это заграничное идеологически нам близко, чем мы весьма не избалованы. Автор этих строк, конечно, не намерен все ошибки коллектива молодых немецких актеров приписывать теории Пискатора, хотя этот коллектив и вышел из его школы.

Спектакли, которые нам приходилось видеть на сцене театра Пискатора в Берлине,—художественно, конечно,—бесконечно выше «Цианкали» и «Бунта», но по существу своему именно «Цианкали» и «Бунт» дают в наибольшей последовательности применение чисто пискаторских принципов, поскольку как раз в учениках, в массовой продукции, мы имеем наиболее полное отображение всех особенностей, в частности, особенностей отрицательных, каждой теории и каждого стиля

Следующей из главных постановок Пискатора была пьеса «Гроза над божьей землей». Она была поставлена под непосредственным влияним широко развернувшейся в прессе, по инициативе Пискатора, дискуссии о необходимости политического театра и о принципе злободневности пьес. В «Грозе» Пискатор показывает диалектику борьбы капитала и эксплоатируемых масс в историческом разрезе, начиная с борьбы XVI века между капиталами Ганзы с коммунистическим союзом виталианцев (Vitalianer) до 1927 года, борьбы Шанхая и Гамбурга. Кинематограф давал непрерывную документальную иллюстрацию пьес. Пискатор считает эту постановку первой, где полностью осуществилось раздвижение узких традиционных рамок театра. Это была последняя его постановка на сцене Фольксбюне. Его положение уже в 1926 году там сильно пошатнулось и окончательно испортилось в связи с упомянутой выше дискуссией о политическом театре, где было немало резких нападок на Фольксбюне как со стороны самого Пискатора, так и сочувственно настроенных к нему критиков и писателей. Вставал вопрос о настоятельной необходимости организации собственного и независимого театра. Для полного осуществления всех своих принципов Пискатор мечтал о специально построенном помещении, где бы отсутствовало буржуазное распределение мест на дорогие и дешевые, партер, ложи и т. д., поскольку такое распределение коренится на принципе социального неравенства. У него был план постройки совершенно нового театра, разработанный им совместно с проф. Гропиусом,—проект его

он подробно излагает в специальной главе своей книги. В ожидании осуществления этого проекта, Пискатор, изыскав средства для основания собственного театрального коллектива, заарендовал помещение театра на Ноллендорфплатце, одной из относительно центральных площадей Берлина. Театр был назван «Сценой Пискатора» (Piscatorbühne). Это была, как говорит Пискатор, внепартийная организация, но ближе всего она стояла к коммунистической партии Германии, хотя как раз она-то меньше всего поддерживала Пискатора. Было организовано специальное общество «друзей Пискатора», в члены которого записалось 16 тысяч человек, и все-таки театр Пискатора не смог просуществовать и вынужден был довольно быстро закрыться. Пискатор правильно определяет сущность этого краха, когда говорит, что подлинно пролетарский театр не может уже чисто материально просуществовать в Берлине, т. к. пролетариат слишком слаб финансово, чтобы поддерживать свой театр, как это делает буржуазия по отношению к буржуазному театру. Пролетарский театр может существовать только при господстве пролетариата, а до тех пор он может существовать только как революционный театр, служащий цели подготовки этого господства.

С самого начала организации «Пискаторбюне» (весна 1927 года) Пискатор так же, как и в самом начале своей театральной деятельности, снова натолкнулся на целый ряд препятствий как репертуарного, так и технического характера. Свой репертуар он строил на принципе нового мироощущения, мироощущения человека после мировой войны. На этой войне был, по мнению Пискатора, окончательно погребен индивидуализм, погребен отдельный человек, как носитель божественного миропорядка, и встало новое понимание человека (стр. 130 и дальше). Новая, послевоенная эпоха создала нового героя, не индивидуала с его личной судьбой, но самое эпоху, судьбу масс, — вот героический фактор новой эпохи. Каждый отдельный человек в таком понимании уже является человеком исключительным в его общественной функции, человеком—носителем классового начала, а масса—сумма таких общественных личностей, а не сумма отдельных, оторванных и замкнутых в себе людей. Из-за этого, однако, герой-личность не теряет основных черт своей индивидуальности. Как и герой прошлых поколений, он любит, ненавидит и страдает, но весь этот комплекс ощущений и чувств подчинен уже другим факторам. Он не переживает свою судьбу как одну, одинокую, только свою,—его судьба неразрывно связана с основными факторами современного общества — факторами экономическим, политическим и социальным. Таким образом, в центре стоит не человек в своем отношении к себе или к богу, а в его отношении к обществу, где одновременно с ним выступает в каждом его действии его класс. Он встает как политическое существо, и его конфликты—конфликты общественного порядка. Представлением такого человека, однако, по мнению Пискатора (стр. 132), не ограничивается задача революционера-марксиста. Действительность должна быть для него лишь исходным пунктом для его стремления преодолеть эту действительность, разрушить ее дисгармонию и построить новый общественный порядок. Этой задаче подчиняется весь революционный театр как в моменте материала, так и в моменте сценического оформления, поскольку техника является для Пискатора не самоцелью, а лишь средством подчеркивания текста, восполнения его, моментом восхожденья от сценического к историческому (Steigerung des Scenischen ins Historische). Это восхожденье и знаменует собой по Пискатору воплощение марксистской диалектики в театре. Техника у Пискатора и служит цели внедрения этой диалектики в текст пьесы, где она зачастую проявляется далеко не достаточно. Принцип монизма техники и материала Пискатор проводит через весь театральный комплекс. Ему подчинен и актерский состав. Театр мыслится им как единый, крепко слаженный коллектив. Ведь самое театральное искуство, как ни одно другое, тяготеет к принципу коллективизма.

Первой пьесой его нового репертуара была «Го-пля, мы живем» Эрнста Тол-

лера. Работа над ней как со стороны самого автора, так и со стороны театра потребовала огромного напряжения. Приходилось итти совершенно новыми путями к новым целям. Пьеса Толлера идеально отвечала всем новым потребностям. Основной принцип общественности конфликтов и героев, как классовых типов, воплощался в ней полностью. Все герои образовывали настоящие классово-идеологические комплексные группы мелко-буржуазных революционеров, либерализирующей буржуазии, старой аристократии и пролетария-революционера в образе главного персонажа рабочего Томаса. Пьеса имела головокружительный успех. Публика представляла собой весьма любопытную и показательную смесь рабочих блуз и черных смокингов. Премьера превратилась в конце концов в настоящую политическую демонстрацию с пением Интернационала.

Следующей постановкой была пьеса «Распутин», посвященная русской революции периода от 1915 до 1917 года. Сюжетная нить пьесы давалась по мемуарам Палеолога и по пьесе Алексея Толстого «Заговор императрицы». Обработку всего текста с дополнениями и изменениями дали Лео Лания и Гасбарра и отчасти Брехт. Вся постановка осуществлялась технически на довольно сложно оборудованной глобусной сцене. Отдельные сцены являлись частями этого вращающегося глобуса с раздвижными стенами. Дополняющую роль, опять-таки документального характера, играл и кинематограф. В него вошли вырезки из целого ряда других фильмов, как-то: «Декабристы», «Дворец и крепость», «Черный орел», «Курьер царя» и мн. др. Фильм являлся настоящим «политическим сопровождением» спектакля. Пьеса имела огромный и даже скандальный успех. Ее документальность и идентичность заходила так далеко, что некоторые «подлинники» действующих лиц сочли себя оскорбленными и даже возбудили судебное следствие против театра Пискатора. Особенно замечательны были жалобы банкира Рубинштейна и экс-императора Вильгельма II. Дело кончилось неблагоприятно для Пискатора. Суд запретил ему выводить Вильгельма и Рубинштейна в оскорбительном для их личности виде (!).

Центральной и наиболее нашумевшей постановкой Пискатора была инсценировка романа Хашека «Солдат Швейк». В свое время мы давали довольно подробное описание этого спектакля.[1]) Пискатор придерживался принципа максимального приближения к тексту романа. Он давал ее как «эпическую сатиру», не внося в действие драматической динамики. Спектакль представлял собою ряд сюжетно почти не связанных эпизодов в виде коротких и быстро сменяющихся картин. Большое количество и быстрая смена эпизодов осуществлялись при помощи принципа подвижной ленты (laufender Band): сцена разделялась на ряд продольных полос, свободно двигающихся как в правую, так и в левую стороны. Это давало возможность быстрой смены декоративных установок, выезжавших готовыми из-за кулис, а также позволяло давать как простое, так и сложное движение на сцене (движение поезда, идущего человека, — пол двигался с одинаковой скоростью по отношению к его шагам, но в обратную сторону; сложное движение — расхождение двух людей в разные стороны с движением полос в обратную сторону по отношению к их шагам и т. д.). Принцип полос давал таким образом настоящую многоплановость сцены. Кино и в этом спектакле играло чрезвычайно существенную роль — экран занимал всю заднюю стену сцены, и кинолента иллюстрировала спектакль соответствующими декорациями, особенно в моменте движения, когда в соответствии с движением поезда или человека фильм демонстрировал проходящие пейзажи. Пискатор ввел при помощи этой подвижной ленты новый принцип драматургии, который он называет «драматургией на подвижной ленте» (Dramaturgie am laufenden Band). Эта драматургия пронизывается необычайным динамизмом. Вся игра актеров осуществляется в непрерывном движении. Но-

[1]) См. «Вестник иностранной литературы». № 8, 1928 года.

вую роль в спектакле играют и декоративные установки: более чем во всех других спектаклях Пискатору удалось слить их с действием, сделать их активными участниками этого действия, — так он ввел марионеток — фигур гротескного и чрезвычайно характерного стиля, исполненных по рисункам известного немецкого художника Георга Гроша. Эти марионетки заменяли в целом ряде сцен живых статисов. Активную роль играло и кино: в ряде эпизодов фильм заменял марионеток и был исполнен тоже по эскизам Гроша. Но весь центр тяжести спектакля покоился на плечах одного главного и по существу единственного действующего лица—солдата Швейка, в исключительном по своему мастерству исполнению знаменитого немецкого артиста Макса Пеллермана. За кажущейся придурковатостью Швейка, за его внешним невозмутимым «приятием» всего, Пеллерман сумел дать сложный образ настоящего скептика и всеотрицателя, который своим внешним «всеприятием» осуществляет настоящее разрушение всех авторитетов, приводя весь окружающий порядок к абсурду. Швейк отнюдь не революционер: это просто сплошное, косное, неутомимое утверждение, которое по существу своему является величайшим всеотрицанием. Так был задуман и осуществлен образ Швейка у Пискатора.

Последней постановкой Пискатора была «Кон'юнктура» по роману Синклера «Петролеум», в переделке Лео Ланиа. Продержался он недолго, — это были последние дни существования театра Пискатора.

Заканчивая обзор своей деятельности и обсуждая причины распада своего театра, Пискатор считает, что основной причиной является по существу своему не его личные ошибки, хотя и их было немало, особенно ошибок чисто финансового порядка; основная причина в том, что в Германии отсутствует то единство между художником и обществом, которое имеется в Советской России. Революционному художнику Запада приходится ежедневно сталкиваться с предрассудками, которые стоят в прямом противоречии с его идеальными целями, а ведь с этими предрассудками приходится считаться и с ними работать. Из такого положения неизбежно вытекает глубокий разрыв между бытием художника и его стремлением.

И все-таки Пискатор приходит к бодрым выводам. Он считает, что его ошибки были лишь ошибками желания ускорить ход событий. И эти ошибки были полезны революционной борьбе. Политический театр был одним из средств этой общей борьбы. Пролетариат не отнесется равнодушно к его временным неудачам. Политический театр не погиб, — говорит Пискатор, — он в самой гуще процесса своего развития. Его цели не ограничиваются отдельными «удачными» постановками. Совершенно не существенны ошибки или удачи этих отдельных постановок. Наша цель, — говорит Пискатор (257 стр.),—в разрушении буржуазного театра — идеологическом, драматургическом и техническом. Мы боремся за новый театр, который может развиваться только в связи со всем обновлением общества. Пока же нет общего обновления, этот изолированный, обновленный театр неизбежно будет сталкиваться с подчас непреодолимыми затруднениями.

4. ВЛАДИСЛАВ ОРКАН

(1876—1930)

Г. Каменский

Умер один из современных польских писателей, который более всех других имел право назвать себя крестьянским писателем. Правда, когда говорят о литературном представителе польского крестьянства, то прежде всего приходит на память Владислав Реймонт со своим великолепным романом «Мужики». Но Реймонт в своем романе изображает не деревенскую бедноту, а прежде всего более зажиточную часть деревни; и если он замечал противоречие между крестьянством, с одной стороны, и помещиками и духовенством—с другой, то противоречий внутри самого крестьянства он не видел или не хотел видеть. Совершенно иначе смотрел на деревню Оркан, сам происходивший из крестьянства и за всю свою жизнь мало расставшийся с Подгальем (гористая, Прикарпатская область Польши). Еще в первой своей более крупной повести «Коморники» («Беднота», 1900) он дал картину классовой диференциации горской деревни. «Самая жалкая деревенька имеет свою родовую аристократию, своих халупников-середняков и бездомную массу, не допускаемую к общему столу жизни».

Оркан с самого начала ясно отдавал себе отчет в том, которые из этих трех слоев деревни он хочет представлять и защищать. Он стал литературным оруженосцем самого бедного слоя деревенского населения. Но если со словом «беднота» в нынешней Польше связано представление о революционном классе, поддерживающем пролетариат в его борьбе, то в Австрийской Польше (Галиции) начала 900-х годов дело обстояло еще далеко не так. В то время деревенская беднота Галиции находилась в менее благоприятном классовом положении не только, чем сейчас, но даже и чем за десять лет до того. В начале 90-х годов у нее еще были союзники в деревне, ибо тогда еще все крестьянство вело борьбу с помещиками за свои интересы, как класса. Это было время, когда создавалась политическая организация галицийского крестьянства, так наз. народная (людовая) партия. Народники были тогда резко оппозиционным течением, а на ряду с ними подвизался радикальный священник, ксендз Стояловский, имевший громадное влияние среди крестьянства и преследуемый помещиками и духовенством всеми средствами, вплоть до отлучения от церкви. Литературным выразителем этого периода в жизни галицийского крестьянства явился молодой и впоследствии славный поэт Ян Каспрович, творчество которого тогда носило радикально-боевой характер. Но к концу 90-х годов это движение было замирено уступками со стороны помещиков и сломлено диференциацией крестьянства. Беднота оказалась в классовом смысле изолированной. Она не нашла союзников даже в городах, где пролетариат (в Галиции) был численно слаб и притом стоял под руководством социал-демократической партии Дашинского, представлявшей собой уж тогда образец парламентского кретинизма и националистического оппортунизма.

Вся эта социальная и политическая обстановка об'ясняет нам характер творчества Оркана. Этот поэт бедноты не был боевым поэтом. Его миссией было скорее возбуждать в обществе жалость к беднейшим крестьянам, чем мобилизовать сами бедняцкие массы для борьбы, в тогдашних условиях очень мало обещающей. Правда, мы довольно часто находим у Оркана картины классовой эксплоатации, спеси и хамства деревенских богатеев. В сравнительно сильной степени это отражается в уже упомянутой повести «Коморники», где всего рельефнее представлено противоречие интересов внутри самого крестьянства. Самой отрицательной фигурой повести является кулак Хыба, беспощадный живодер, не останавливающийся и перед преступлением. Более часто встречаются у Оркана отголоски обще-крестьянской вражды к «панам», к шляхте. Но

все эти классовые ноты он дает как-будто под сурдинку. Он не призывает к борьбе. Можно сказать, что он отражает настроение тех бедняцких масс, которые он защищает,—масс забитых и покорных.

Характер орковского таланта соответствует его классовой природе. Оркан в своих повестях и романах не эпик, каковым оказывается Реймонт (напр., в своей красочной картине борьбы за лес в романе «Мужики»). Оркан прежде всего — лирик. Он как-будто ставит себе задачей трогать читателей, пробуждать в них отзывчивость к народным страданиям. В его произведениях мы находим много лирических красот: он пишет замечательной прозой, простой, ясной, сочной, сдобренной соответственным количеством выражений, взятых из горской народной речи. Его любимый прием — не столько изображать черствость и эгоизм богачей, скольку доброту и братскую солидарность бедняков. Он любит описывать добрых и тихих, иногда почти святых людей. Характерен для него тип старой Анны (из драмы «Вина и наказание», 1905), которая, умирая, радуется, что она не будет более мешать мужу, влюбленному в собственную внебрачную дочь. Таких типов у Оркана немало. Его рассказы иногда смахивают на идиллии, в которых добрые и бедные люди помогают друг другу.

Нечто в роде классовой борьбы внутри самого крестьянства мы находим в романе «W roztokach». («В горных долинах», 1903). Борьба идет в рамках одной горской волости, а. «борющийся народ» представлен одним борцом, который окружен, правда, горячим сочувствием и доверием бедноты, но не получает от нее никакой активной поддержки и даже не очень на нее надеется. Франек Ракочий пытается склонить правящую группу зажиточных крестьян, со старшиной Сухаем во главе, привлечь весь народ к решению вопросов о выборах, а позже — пойти на его план коллективизации волости. Но характерно, что Ракочий, не стремясь апеллировать к народу (последний представлен в романе пассивным и забитым, что соответствовало действительности), обращается к зажиточным, убеждая их в собственных интересах поддержать его планы. И вообще он исходит не столько из интересов бедноты, сколько из интересов всего крестьянства. Земля ведь дробится благодаря постоянным разделам, скоро от нее останутся одни межи, и вся деревня будет одинаково бедна и голодна. Коллективистический план должен быть принят для спасения всей деревни — и богачей и бедняков.

В последовавших затем произведениях линия на диференциацию деревни еще более расплывается. В романе «Pomór» («Мор», 1910) даются страшные картины голода и заразы в деревне, — галицийская деревня пережила не одну массовую голодовку за вторую половину XIX столетия. Но описание бедствий дается как бы в неклассовом свете, и вся деревня страдает от них одинаково. Мы почти не слышим ни о привелигированном положении более зажиточных слоев, которые, наверно, менее страдали от голода, чем беднота, ни об общих причинах голода, коренившихся прежде всего в режиме помещичьей монархии. «Мор» дает Оркану лишь еще один случай развернуть перед читателем раздирающие картины мужичьего горя. Роман производит потрясающее впечатление, но он не дает никаких социальных выводов. Дело идет как-будто только о стихийном бедствии, не зависящем от того или другого общественного строя. Оркан и здесь оказывается поэтом крестьянской нужды, но не крестьянской революции.

В драме «Жертва» (1905) Оркан изображает один из эпизодов крестьянской мести помещикам во время галицийской резни 1846 г. Но в качестве действующего лица он как раз подбирает дворянина-демократа, не причастного к тем преступлениям, которые его класс в течение столетий совершал по отношению к крестьянам. И поэтому, как ни правы крестьяне, все-таки один из них, Валек, стирает с лица слезы, подавая веревку для того, чтобы связать помещика. Конечно, драму Оркана

никак нельзя сравнить с аналогичной драмой Жеромского «Туронь», где взбунтовавшиеся крестьяне 1846 г. представлены как дикие звери, а старый хлоп, изменяющий своим собратьям, славится, как герой, который «победил хама в себе самом, победил в себе зверя». У Оркана чувствуется историческая справедливость крестьянской мести, но правда здесь разбавлена слезами милосердия. Здесь патриотические чувства затмевают классовый инстинкт крестьянского писателя.

По внешности революционен роман о Костке Наперском (1925), предводителе восстания крестьян-горцев в XVII столетии. Здесь, в прошлом, Оркан дает, наконец, боевую атмосферу и ощущение острого классового антагонизма между крестьянами и помещичьим государством. Но источники противоречий художественно не вскрыты. О дворянском гнете мы много слышим, но он ни разу не изображен наглядно. Крестьянский мятеж находит много сочувствия среди части дворянства, вождь восстания даже — внебрачный сын короля, и мы видим здесь сынов аристократии даже среди агитаторов, которые сновали по стране, убеждая крестьян присоединиться к казацкому вождю Богдану Хмельницкому. И все это озарено лучами орковского лиризма, правда, повышающего художественное обаяние книги, но притупляющего остроту классовых контуров.

История опередила Оркана. Нынешняя деревенская беднота весьма мало напоминает его мягкосердечных бедняков. Это—уже не класс жалостливых, несчастных людей, а класс революционный. Империалистическая война и влияние российской революции изменили физиономию беднейших крестьян, которые не узнают себя в лирических картинах Оркана. Потеряли свою актуальность и попытки растрогать сердца имущих классов. Но Оркан, — это необходимо подчеркнуть,—оставшись позади революционного крестьянства, не стал, однако, его ренегатом. Писатель галицийской бедноты остался певцом крестьянской нужды. Когда-то сочувствовавший социализму [1]), — правда, в его галицийской социал-патриотической форме, другой там, впрочем, не было, — он не перешел, не в пример многим другим, в лагерь капиталистической реакции. Его произведения останутся памятником той эпохи, когда деревенская беднота не умела еще бороться за свои интересы и нуждалась в человеческой жалости. Писатель, призывавший к этой жалости и верно изображавший мужицкую долю, стал — может быть, даже не совсем вопреки своей воле — одним из факторов революции. С этой точки зрения на него и будет смотреть пролетариат.

[1]) Может быть, не будет безынтересно упомянуть, что Оркан был одним из тех, кто после ареста Ленина во время империалистической войны в Галиции хлопотал об его освобождении.

5. О «КРЫЛАТОМ СЛОВЕ» [1])

Н. Уральский

О, эти крылатые слова! Кто не знает, что в старое время, когда образование носило преимущественно вербальный характер, вся «образованность» иного среднего интеллигента сводилась к знанию большего или меньшего количества ходячих цитат, знаменитых изречений, десятка исторических намеков да дюжины мифологических символов. Для многих этот запас служил блестящим оперением, прикрывавшим собою довольно скудный багаж, вынесенный из гимназий, а иногда и из университетов. Не даром еще Евгений Онегин, который, как известно, учился «чему-нибудь и как-нибудь», считал необхо-

[1]) О. Г. Займовский. «Крылатое слово». Справочник цитаты и афоризма. ГИЗ М.—Л. 1930 г., Стр. 492. Цена 2 руб. 40 коп. (в переплете).

димым хранить в своей памяти «дней минувших анекдоты от Ромула до наших дней» и, кроме того, «помнил не без греха из Энеиды два стиха»: эти обрывки гуманитарного образования входили в состав его дендизма.

В наше время, когда образование стало трудовой и суровой учебой, косметическая функция «крылатых слов» явно отпадает, и если они все же нужны советскому, т.-е. преимущественно рабоче-крестьянскому читателю, то уже не как самодовлеющая мишура, а как нечто служебное и вспомогательное: с одной стороны — дабы не спотыкаться при чтении о какие-нибудь «камни преткновения» или «Рубиконы», а с другой — чтобы обогатить свою собственную речь, пополнить свои словесные доспехи каким-нибудь «Дамокловым мечом», а свой фразеологический инвентарь каким-нибудь «фонарем Диогена» или «бочкой Данаид», обновить свой стилистический гардероб какой-нибудь «панамой» или «шапкой Мономаха» — и тем самым как-то повысить выразительную действенность своего общественно-полезного, делового говорения.

Пора из'ять этот «крылатый» фонд из монопольного владения выучеников старой средней школы и сделать его общим достоянием. С этой стороны появление рецензируемого справочника нужно всемерно приветствовать. Он как нельзя более отвечает давно назревшему спросу широких читательских масс. Подобного рода справочник необходим тем более, что известная в свое время книга Михельсона «Ходячие и меткие слова» ныне составляет библиографическую редкость, к тому же для рядового читателя нашего времени она была бы слишком громоздка, а вместе с тем и недостаточно полна, если иметь в виду, что со времени ее выхода появилось много новых «крылатых слов».

Справочник С. Займовского в общем нужно признать удовлетворительным: в него попало значительное количество (не менее 50 проц.) «крылатых слов» — как из тех, что находятся в обращении в современном литературном языке, так и из тех, которые уже «отлетали свое», но знание которых необходимо в процессе освоения старой — беллетристической и публицистической — литературы. Список иностранных изречений вполне достаточен.

Но, конечно, составитель не даром извиняется в предисловии за возможные недостатки своего труда: недостатки есть, и самый крупный из них тот, что, увлекаясь «паспортизацией» речения (кто сказал? откуда взято?), составитель часто забывает истолковать его смысл. В этом отношении любопытен случай на 318 странице. Там приведено двустишие Маяковского: «Своих апогеев никому не отдадим, а чужих апогеев не надо»; в примечании же сообщается, что стихотворение, откуда взята эта цитата, написано «на тему письма красноармейца, встревожившегося газетной статьей, в которой сказано было, что один из наших недругов-империалистов дошел до апогея». Если этот красноармеец еще жив и если он пожелает узнать об истинном значении слова «апогей» по данному справочнику, то его любознательность так и не будет удовлетворена: раз'яснения слова он не найдет, а справка в алфавитно-предметном указателе приведет его только к этой усмешке над ним.

«Жупел» так и остается в справочнике «жупелом», потому что в примечании к этому слову, кроме анекдота о купчихе, боявшейся этого слова, ничего нет.

О «зубрах» сообщается, что таково было прозвище реакционного дворянства, но не сказано о Беловежской пуще, и читатель, плохо осведомленный о «буквальных» зубрах, недоумевает: почему именно зубры?

Подробно сообщается, кто из авторов стал первым употреблять «квасной патриотизм», об'яснен кратко и общий смысл этого выражения, но не об'яснено, почему именно квасной.

О значении «категорического императива» предлагается справиться у «германского философа Иммануила Канта».

Под афоризмом — «Если бы нос Клеопатры был покороче, весь лик земли изменился бы», — кроме ссылки на Паскаля ничего больше нет, и совет-

ский читатель, не учившийся древней истории по Иловайскому, опять испытает глубокое недоумение, грозящее перейти в сильное сомнение относительно мудрости прославленного мыслителя.

Целый ряд библейских речений сопровождается лишь ссылками на соответствующие книги — ветхого или нового завета, словно у каждого советского читателя библия под боком. Составитель забывает, что младшее поколение советских читателей, как не обучавшееся закону божию, может и не знать, что такое «Глас вопиющего в пустыне», «Милосердный самаритянин», «Не от мира сего» и т. д., здесь же кстати заметим, что в примечании к «Грядущему хаму» не сообщено, кто такой был Хам.

Знаменитое «И дурак ожидает ответа» сопровождается подробным адресом этого крылатого стиха, но при этом не дано ни контекста, ни какого-либо раз'яснения, и читатель, не имеющий под руками Гейне, чуствует себя в не совсем приятном положении названного в стихе персонажа.

Чтобы не множить примеров, скажем кратко, что относительно значительного числа крылатых слов справочник является не столько толковой книгой, сколько просто адресным столом.

Второй существенный недостаток книги тот, что в ней много лишнего. Если какой-нибудь «кающийся дворянин» или «жертвы общественного темперамента» по праву занимают в ней место, то совершенно непонятно, на каком основании введены в сборник самые обыкновенные термины, как «западничество», «интеллигенция», «империализм», «реальная политика» и прочие «бескрылые» обозначения, в которых нет или по крайней мере не ощущается ни образа, ни символа, ни эмоциональной окраски. Конечно, у каждого термина есть своя более или менее интересная история, каждый термин от кого-то или откуда-то пошел и в какой-то мере был когда-то крылат, но одного этого признака еще недостаточно для включения данного слова в «крылатый» фонд современности, иначе пришлось бы включать и такие слова, как «народничество», «славянофильство», «реакция», «футуризм» и т. д., рискуя превратить «сборник крылатых слов» в самый обыкновенный словарь иностранных или политических терминов. Да и кому придет в голову искать среди крылатых слов такие слова, как «империализм» или «реальная политика»? Другое дело, если в следующем издании книги мы встретим в ней «головокружение от успехов»: образность этого выражения навсегда гарантирует его от превращения в официальный термин.

Строго отграничившись от фольклора, принципиально не допустив в свой книжно-крылатый реестр ни одной пословицы, ни одной народной поговорки, хотя для многих из них, как достаточно олитературенных, и следовало бы сделать исключение («попасть в просак», «выдать головой», «казанская сирота», «с больной головы на здоровую» и пр.), — составитель не поостерегся ограничить себя с другой, гораздо более опасной стороны.

Очень много в книге и таких цитат, которые отнюдь не являются крылатыми. Обвиняя своего предшественника в пристрастии к второстепенным авторам реакционного направления (Маркевич), наш составитель, перегнув палку в обратную сторону, перегрузил свой сборник отнюдь не монументальными цитатами из второстепенных же авторов противоположного лагеря. Сборник загружен четверостишиями и даже восьмистишиями (не способными к летанию уже в силу своего об'ема) из Рылеева, А. Одоевского, Огарева, Плещеева, Полежаева, — т.-е. из поэтов хоть и симпатичных для современного читателя своим оппозиционно-гражданским лиризмом, но совсем не лапидарных, лишенных словесного металла. В самом деле, могут ли претендовать на крылатость следующие стихи: «Нет, лучше гибель без возврата, чем мир постыдный с тьмой и злом, чем самому на гибель брата смотреть с злорадным торжеством!»

Несмотря на всю почтенность проникающего их пафоса, эти стихи Плещеева должны быть квалифицированы,

как поэтическая водица, и такой водицы в сборнике по приблизительному подсчету не меньше двухсот стихов. Очень много гражданских вирш Ив. Аксакова его либеральной поры. Некрасов по праву представлен довольно обильно, но и тут составитель поступил неладно: на ряду с «крылатыми» ввел порядочно рыхлых стихов злободневно-фельетонного жанра, но зато пропустил немало классических строк («Жаль только, жить в эту пору прекрасную уж не придется ни мне, ни тебе»; «За крошку хлеба капля пота — вот в двух словах его судьба»; «Когда в ответ стенаниям народа мысль русская стонала в полутон»; «Когда и в наши дни выносят на плечах всё поколенье два-три человека»; и пр.).

Если прибавить ко всему этому обильное цитирование Беранже в переводе Курочкина, то выйдет, как это ни странно, что книга, изданная на 13-м году после Октября, овеяна духом шестидесятничества и могла бы доставить большое удовлетворение какому-нибудь престарелому интеллигенту: перелистывая ее страницы, он мог бы вспоминать свою молодость.

По поводу единственного речения, связанного с именем Дарвина («борьба за существование»), составитель, не ограничиваясь данным примечанием в основном тексте, дает подробные биобиблиографические сведения о Дарвине в «указателе авторов». Там же имеются подробные сведения о некоем Юзефе Выбицком, хотя эти сведения уже даны в основном тексте под восклицанием: «Еще Польша не погибла». В результате «указатель авторов» занял 22 страницы петита.

Многие мифологические имена (Ваал, Гекуба, Кассандра, Молох, Нарцисс и др.) с соответствующими пояснениями помещены дважды: в основном тексте и еще в особом «об'яснении мифологических имен», имеющемся в конце книги.

Если бы автор, сетующий в предисловии на бумажный кризис, ставящий «жесткие рамки» «пространственному оформлению книги», разгрузил ее от баласта и повторений, он нашел бы много места для всего того, чего в его книге недостает. И здесь мы переходим к третьему недостатку его труда — к пробелам.

Пробелы эти отчасти нами указаны: олитературенные пословицы и поговорки и недостающие стихи Некрасова. Но это далеко не все. Выше мы не даром сказали о 50-процентном использовании крылатого запаса, находящегося в живом обращении — и действительно: очень многие речения, помещенные в книге, по ассоциации вызывают в памяти другие — не помещенные. В самом деле: есть «зеленый шум» и «зеленая палочка», но нет «зеленого змия»; есть «китайская стена», но нет «китайской грамоты» и «китайских церемоний»; есть «зеленый», «черный» и даже «серый интернационал», но нет «желтого»; есть «рыцарь без страха и упрека» и «рыцарь печального образа», нет «рыцаря на час» и «рыцаря индустрии»; есть «ящик Пандоры», нет «долгого ящика»; есть «волапюк», нет «галиматьи»; есть «схватить историю за чуб» и нет «схватить быка за рога», а также «рога изобилия»; есть «ломать стулья», нет «сидения на двух стульях»; есть «Геркулес», нет «Самсона»; есть мало кому нужная «Персефона» и нет всем нужных «Эскулапа» и «Аргуса»; есть «Вакх» и нет «Вакханалий», есть «circulus vitiosus» и нет архимедовского «Neturbas circulos meos»; есть «dies irae», нет «Diem perdidi» и т. д., и т. д.

Нет Варфоломеевской ночи, фиаско, демаркационной линии, зенита, сибарита, вандала, и уж совершенно непростительно отсутствие в книге о крылатых словах знаменитой «аттической соли». Нет свадебного генерала, развесистой клюквы, апельсинной корки, бесплодной смоковницы, львиной доли, боевого крещения и т. д.

Из древне-русских речений нет пресловутого «Руси веселие есть пити».

Из евангельских нет «воздадите кесарево кесарю» и, что особенно важно в книге, долженствующей воспитывать лаконизм речи, отсутствует завет: «Во многоглаголании нет спасения». Нет и Горациева правила «Saepe vertere stilum». Нет Пушкинского: «Вот крупной солью светской злости стал

оживляться разговор», и, как недосягаемый образец лаконизма, блистает своим отсутствием знаменитый диалог золота с булатом. Пропущен и знаменитый рапорт Пушкина о саранче, краткость которого особенно поучительна в наше время засилия докладов. Совершенно нетронута изумительная проза Пушкинских писем.

Обильно и по праву представлены в книге Салтыков-Щедрин, Крылов и Грибоедов и очень слабо такой гениальный стилист, как Герцен, такой знаток ядреной и сочной народной речи, как Островский, и такой мастер афоризма, как М. Горький. Забыты известные острословы своего времени— Воейков и Щербина. Мало уделено внимания Чехову, в частности его драгоценной «Записной книжке» — хотя бы в порядке пропаганды ее перлов; почти не использован такой мастер чеканного стиха, как Брюсов. Странно в советском сборнике игнорирование советских поэтов, например, Безыменского с его несомненной способностью к общественно-крылатому слову. Маяковского маловато и уж совершенно непостижимо весьма слабое внимание к крылатейшему Демьяну Бедному, который взамен плеяды слабеньких шестидесятников должен был бы и имеет полное право господствовать на страницах гизовского «справочника цитаты и афоризма». (Вот уж именно: «Слона то я и не заметил». Бедный Демьян Бедный не удостоился даже попасть в «указатель авторов»).

Не худо было бы, поступившись иными беллетристами и второразрядными поэтами, воздать честь первоклассным историкам и ораторам-публицистам. Из прежних историков напрашивается в первую очередь «академик по разряду изящной словесности»—Ключевский, а из современных — шеф марксистской историографии и несравненный в своей области стилист («Профессор с пикой», как назвал его Бухарин) — Покровский.

Ведь справочники, подобные нашему, не только регистрируют уже бытующие в речи крылатые слова, но в значительной мере «делают карьеру» новым, еще неизвестным, но потенциально-крылатым речениям, и в этом—ответственнейшая сторона подобного рода работ: что именно популяризировать.

Из старых ораторов в книге есть Плевако, но ему определенно не повезло: прославленный московский златоуст представлен одним изречением, брошенным уже под старость с думской кафедры по адресу октябристов. Нет его знаменитого «Выше стройте монастырские стены!»

Из ораторов и вождей Октябрьской революции нет никого, кроме Ленина. Ленинских изречений, нужно отдать справедливость, много, но все же многих нехватает. Нет его завета о положении учителя в СССР, нет призыва «учиться торговать».

Из анонимных ходячих речений предреволюционной и революционной поры есть кое-что («Цусима», «Граф полусахалинский», «красное воскресенье», «Главноуговаривающий»), но многого нехватает — земгусаров, валяй-Маркова, черной сотни, селянского министра, бабушки русской революции, мартовских эсеров, костлявой руки голода, золотопогонников, единой неделимой, твердолобых, креста на святой Софии, ножниц, шахтинцев (есть Колодубы), хвостизма, спецеедства, чубаровщины и проч.

Включение этого ассортимента в рецензируемый справочник могло бы очень осовременить его и освежить.

Из марксистских речений нет самого основного—«Бытие определяет сознание», нет и «количества, переходящего в качество». Очень слабо представлен Плеханов.

Заканчивая крылатым словом «Критика легка, искусство потруднее» и возвращаясь к началу, полагаем, что при всех своих и очень существенных недостатках работа С. Займовского, как первый советский опыт в этом роде, приемлема. Недостатки же должны быть устранены в следующем издании, которое, по всей вероятности, не заставит себя долго ждать.

Книжное обозрение

1. ДЭН РИЧАРДС «Британский капитализм и рационализация». С. Гальперина.— 2. Ю. ЯНОВСКИЙ «Мастер корабля». Б. Анибала. — 3. Л. ОСТРОВЕР «Конец Княжострова». О. Белогорской. — 4. А. БЛОК «Собрание сочинений». Д. Благого. — 5. ЛЮБОВЬ БЕНТОСА САГРЕРЫ. Южно-американские рассказы. К. Локса. — СЕРГЕЙ ГЕССЕН «Книгоиздатель Александр Пушкин». И. Сергиевского. — 7. ГЕОРГИЙ ЧУЛКОВ «Годы странствий». М. Рабинович.

Дэн Ричардс — «Британский капитализм и рационализация». Госиздат. Москва—Ленинград, 1930 г. Стр. 160. Цена 1 р.

Переживаемый английским капитализмом после 1921 г. период застоя в развитии промышленности представляется одним из наиболее интересных явлений в мировой экономике послевоенного периода. Книга английского коммуниста Дэна Ричардса дает очень неплохое об'яснение тех основных причин, которые привели к затяжному кризису английской индустрии.

Ценность рецензируемой книги состоит, однако, не в выяснении причин переживаемого Англией периода застоя (в основном причины эти установлены уже давно рядом других исследователей английской экономики). Заслуживает она внимания читателя благодаря богатству фактического материала, характеризующего те методы, при помощи которых английский капитал пытается выкарабкаться из того затруднительного положения, в которое он попал после войны.

Основная мысль автора представляется спорной. Он стремится доказать, что рационализация английской промышленности не может дать того экономического эффекта, какой она дала в ряде других стран: в Германии, Соединенных Штатах, отчасти во Франции. Против этой идеи возражал в свое время тов. Варга, указывавший, что техническое переоборудование промышленности и ее организационно-финансовая перестройка могут при содействии лидеров трэд-юнионов (мондизм, проповедь «мира в промышленности» и т. д.) если не вернуть Англии утерянное ею господствующее положение на мировом рынке, то во всяком случае выйти до некоторой степени из состояния застоя.

Фактический материал, собранный тов. Ричардсом, доходит лишь до начала 1929 г. Таким образом, в нем отсутствует освещение тех весьма характерных мероприятий, которые проводились в борьбе с кризисом правительством Макдональда. Но это нисколько не умаляет ценности этого материала, ибо он дает возможность оценить значение экономполитики «рабочего» правительства, шествующего, в основном, по путям, проложенным его консервативными предшественниками. Томас и Сноуден проявили даже больше энергии, чем консервативные министры, в деле создания специальных банковских организаций (под непосредственным руководством Английского банка) для финансирования реконструкции промышленности. В настоящее же время Томас, перемещенный на пост министра доминионов, производит разведку относительно возможности возместить потерянные английским капитализмом позиции на мировом рынке за счет экономического сближения между Великобританией и ее доминионами (идея, ярыми сторонниками которой являются консерваторы).

Пока еще слишком рано судить о возможных результатах этих стараний «рабочего» правительства оживить капитализм Англии. К тому же, острый кризис, в который попали Соединенные Штаты и Германия, — главные соперники Англии, — несколько видоизменяет соотношение сил на мировом рынке.

Одно во всяком случае автор доказал достаточно убедительно (это подтвердили и последующие события) — то, что рационализация не является ключом к изжитию безработицы в Англии. Рационализация в Англии т. наз. «старых» отраслей промышленности (уголь, железо, текстиль) может итти лишь за счет сокращения потребности в рабочей силе при увеличении продукции, а т. наз. «новые» отрасли (химия, автотранспорт, производство искусственного шелка), развивающиеся в Англии довольно быстрым темпом, в состоянии поглотить рабочую силу, освобождающуюся в старых отраслях промышленности, составлявших некогда основу экономической мощи Англии.

Утверждения же автора, что даже при содействии государства в Англии не удастся аккумулировать достаточного количества капиталов для технической реконструкции промышленности в таком размере, чтобы она могла догнать САСШ, Германию и Францию с их более новыми предприятиями, представляются спорными: они подлежат проверке последующими фактами.

Но и с этой оговоркой книга Дэна Ричардса представляет несомненный интерес для советского читателя благодаря хорошо подобранному автором материалу.

С. Гальперин.

Юрий Яновский.— «Мастер корабля». Роман. Перевод с украинского Ник. Ушакова. Изд «Пролетарий». 1930. Стр. 286. 1 руб. 50 к.

Эта книга начинается так: идет к концу вторая половина XX века, семидесятилетний старик То-ма-ки, что значит «товарищ мастер Кино», пишет воспоминания о своей молодости, т.-е. о наших днях, о начале своей кинематографической деятельности.

В основу воспоминаний положена обычная любовная история, в которой, кроме автора, действует женщина с экзотическим именем Тайах, кино-режиссер Сев и выкинутый морем во время шторма матрос Богдан.

Попутно описывается кинос'емка приезда турецкого министра в СССР и планы постановки новой картины.

Юрий Яновский, очевидно, хочет быть последовательным до конца и, облекая свой роман в форму стариковских воспоминаний, становится сам очень болтливым, вот почему ого книга получилась такой рыхлой, в ней много лишнего, ненужного и совсем неинтересного.

Да и стоило ли вообще писать такие воспоминания, в которых все—о своем личном и ничего о социальном. Неужели к концу текущего столетия нельзя было найти ничего более интересного и поучительного, чем рассказанная им любовная история.

Стиль романа импрессионистичен, не лишен своеобразной символики, туманности и недомолвок. Впрочем, мастерством он не блещет. Герои не ощущаются как живые люди, их типы не выдержаны, матрос нет-нет да и заговорит, как об'эстетившийся юноша: «Ганка прижималась ко мне, как полный и трепещущий парус. Я вошел в парус, подобно северному ветру...» «Оно (море) показалось мне синим шлейфом платья. Оно было все в парусах, как капуста в бабочках» (!) (стр. 138). Турецкого министра и нашего комиссара при свидании Яновский заставляет разговаривать о кобылах и жеребцах, наивно пытаясь доказать правдивость афоризма Фуше о том, что слова созданы для того, чтобы скрывать наши мысли.

Не спасает книгу ни стихотворное посвящение, ни открывающие ее четыре эпиграфа на четырех языках — русском, немецком, английском и латинском. Читать ее скучно.

Что сказать о переводе? Разве только то, что не следовало бы его делать.

Борис Аннибал.

Л. Островер. — «Конец Княжострова». Изд-во «Прибой». Л. 1930. Стр. 292. Ц. 2 р. 75 к.

В этой суматошной книге труды и дни местечкового еврейства показаны с большой полнотой и даже изобилием. Можно сказать, ни одно житейское происшествие не ускользнуло из внимания и воспоминания автора. Но вот беда: художественной полноты в этом романе-хронике (условно так назовем книгу) нет. Куда ведет этот страшный учиненный петлюровцами эпилог дореволюционного местечка, ради чего горячатся все эти эти пылкие обыватели—грузчики, сапожники, хлеботорговцы, интеллигенты, раввины и другие? В романе мелькают одни щепки и пыль событий, одни только росчерки жизни, а не жизнь, в наружной бесконечности которой всегда, однако, таится закономерность и смысл. Автор прошел мимо, не заметив главного.

В старой беллетристической литературе о местечке по крайней мере господствовала жалящая и тоскливая поглощенность действующих лиц своим бедствием, и это доходило до читателя. А у Островера нет ни этого старого, ни нового, которое бы вело к преодолению бедственности. Совсем недостаточно было ограничиться одним только скупым к о н ц о м Княжострова.

Сюжет, стиль? Ни того, ни другого. Словесные потоки, фабульное раздолье. Ни тоски, ни радости, ни лиризма, ни эпичности. Ничто не убеждает также читателя, что Княжостров находится и м е н н о в П о д о л и и. Есть, конечно, в книге специфический юмор и сказ, есть столкновения эксплоататоров и эксплоатируемых, есть в ней положенная по беллетристическому штату борьба поколений и революционных идеологий и пр. атрибуты узаконенного в литературе. Осколки сюжета, осколки стиля. И вместо авторского: «слова бросал он на внутренние весы» (!), скажем не без раздражения: слова бросал он на ветер.

С. Белогорская.

Александр Блок. — «Собрание сочинений». Стихотворения, поэмы, театр. Редакция, вступительная статья и комментарии В. В. Гольцева. Предисловие П. С. Когана. Госиздат М.-Л. 1929 г. Стр. XXXVI + 337. Ц. 4 р.

Блок едва-ли не самый крупный представитель нашей дореволюционной и вместе с тем шагнувшей в революцию поэзии XX века. За годы революции о Блоке выросла огромная литература воспоминаний, статей, исследований. Между тем на нашем книжном рынке отсутствовало доступное и научно-удовлетворяющее издание сочинений самого Блока. Старые сборники и собрания, выпускавшиеся при непосредственном участии поэта, давно сделались библиографической редкостью. Вышедшее в 1927 году под редакцией П. Медведева собрание избранных стихотворений Блока заключало в себе весьма малую долю написанного поэтом и также распродано. Что же касается до сих пор имеющегося в продаже берлинского издания «Эпохи» (1923 г.), то оно не закончено (из девяти томов вышло только семь, два остальных, видимо, вовсе не будут выпущены), громоздко, мало доступно по цене, наконец, крайне небрежно в текстологическом отношении.

Выпущенный ныне Государственным издательством однотомный Блок в значительной мере восполняет указанный пробел. Как и сборничек 1927 года, новое издание представляет собой избранное собрание сочинений Блока. Однако, редактору удалось в компактный размер одного тома, меньше чем в 400 страниц, вместить не только почти всю лирику Блока (приблизительно девять десятых всех стихов), но и все поэмы и весь театр (за исключением явно неудачного «Рамзеса»).

В основу своего отбора редактор совершенно правильно положил состав и тексты последней прижизненной публикации (изд. «Алконост» 3 т.т., 1921—1922 гг.). Однако, им несколько механически проведен принцип равномерности исключений (из каждого тома из'ято приблизительно одинаковое количество стихотворений). Это повело к явно ощутимому доминированию пер-

вого тома («Ante lucem» и «Стихи о прекрасной даме»), состоящего из очень большого числа по большей части очень мелких стихотворений, над двумя остальными. Правда, сам поэт в последние годы особенно ценил «Стихи о прекрасной даме». В общем развитии творчества Блока они, действительно, представляют весьма важную ступень. Тем не менее бесспорно, что из всего написанного Блоком именно «Стихи о прекрасной даме» имеют для современного читателя наименее живой, наиболее только исторический интерес и значение. Между тем благодаря этому редактору пришлось в дальнейшем поступиться целым рядом стихотворений и чрезвычайно характерных для последующего Блока — Блока второго и третьего тома — и первоклассных в художественном отношении. Так, например, в новом издании не находим таких вещей, как «Перстень-страданье», оба стихотворения «Сольвейг», оба «Демона», «Невидимка», весь цикл «Мэри»; исключены такие пьесы, как «Прискакала дикой степью» или «В синем небе, в темной глуби» — одно из самых напевных стихотворений Блока. Опущен такой любопытный образец «гражданской лирики», как стихотворение «Вновь богатый зол и рад», облеченное Блоком в ритмы «цыганской венгерки» (влияние Аполлона Григорьева), придающие ему совсем по-особенному зловещую выразительность.

Подытоживая все сказанное, следует признать, что редактором дано от Блока неизмеримо больше, чем отнято. Но все же во второе издание однотомника, которое, вероятно, не замедлит, мы бы считали совершенно необходимым включить, хотя бы путем некоторой хирургической операции в отношении первого тома, все перечисленные нами стихотворения.

В своем избранном собрании редактор с самого начала ограничил себя так называемыми «художественными произведениями», тем самым словно бы естественно отпала вся проза Блока— публицистика, многочисленнейшие критические статьи, рецензии как вошедшие в издание «Эпоха», так в еще большей части несобранные, рассеянные по различным периодическим изданиям. Однако, к творчеству Блока менее всего можно подходить с учебником теории словесности в руках. Основная творческая стихия Блока — всепоглощающий, всезатопляющий лиризм. И этот лиризм окрашивал собой все, к чему бы поэт ни прикасался, не только опрокидывая все обычные жанровые перегородки, но и стирая столь незыблемую, казалось бы, черту, отделяющую «художественное» от «нехудожественного». Подобно тому, как Блок создал совершенно новый и особый жанр «лирических драм», им создан интереснейший жанр «лирической публицистики», «лирических рецензий» и т. п. Дать некоторые образцы этого рода представлялось бы чрезвычайно желательным. В частности мы бы считали безусловно необходимым включение в однотомник знаменитой статьи — инвективы «Интеллигенция и революция», написанной в том же январе 1918 г., когда писались «Двенадцать», и являющейся лучшим к ним и весьма своеобразным авто-комментарием.

Однотомник рассчитан на широкую аудиторию. Редактор в предисловии прямо предупреждает, что новое издание «не претендует на академичность». Но в примечаниях к основному тексту дано много материала, представляющего очень большой интерес и для искушенного читателя, и для исследователя-специалиста.

Редактор приводит в них длинный ряд обнаруженных им в рукописях поэта, частью зачеркнутых, частью опущенных при печатании, но совершенно отделанных строф. В общей сложности это вводит в читательский и исследовательский оборот свыше двухсот стихов нового блоковского текста (к стихотворению «Светлый сон, ты не обманешь», имеющему в печатной редакции 8 строф, прибавляется еще 5 строф, к 20 строкам стихотворения «Я помню длительные муки...» прибавляется новых 22 строки и т. д.).

Помимо текстологических указаний и добавлений, примечания редактора дают ряд необходимых историко-литературных сведений и краткий реальный комментарий. В сжатую форму несколь-

ких строк комментатору также удалось уложить зачастую весьма обширное содержание. Вступительная статья редактора раскрывает творческий путь Блока, крепко увязанный с социальной его судьбой. Не давая здесь ничего существенно нового, В. В. Гольцев в общем правильно, хотя и несколько «академически», срезая и сглаживая столь характерные для Блока всяческие неровности и острые углы, рисует великое «отречение» поэта (выражение П. С. Когана из его предисловия), — превращение певца «Прекрасной дамы» в эпоху революции 1905 года в автора «Балаганчика», в эпоху Октябрьской революции—в автора «Двенадцати».

Внешность издания оставляет самое приятное впечатление: хорошая бумага, убористый, легкий шрифт, прекрсное внешнее оформление. Превосходно выполнены два приложенные к изданию портрета Блока (первого и последнего периода) и два факсимильных воспроизведения первых страниц «Двенадцати» и «Скифов» (особенно любопытен автограф «Двенадцати» с почти стершимися следами вставок карандашом). К сожалению, издание не обошлось без опечаток.

Д. Благой.

«Любовь Бентоса Сагреры». — Южно-американские рассказы. Перевод с испанского под ред., с предисловием и примечаниями С. С. Игнатова. ЗИФ. 1930 год. Цена 1 р. 20 к.

Сборник рассказов южно-американских писателей, несмотря на предупреждение редактора, подчеркивающего их «местный» характер, все же воспринимается нами, как некоторая отрасль литературы европейской. Все авторы обнаруживают прекрасное знакомство с техникой французской новеллы, начиная Стендалем-Мериме и кончая Мопассаном. Один рассказ — «Предательство лунного света» — уж черезчур напоминает почти одноименный рассказ того же Мопассана, а — «Тигр из Макуса» — еще и Киплинга. Литературная традиция слишком ясна,—вот почему местный колорит не создает впечатления полного своеобразия. Кроме этого, в рассказах сюжет — на первом плане, бытовой материал имеет не столь уж большое значение, и, если бы не примечания к туземным словам, мы могли бы перенести действие в Испанию, Алжир, Малую Азию и т. п. Типическая встреча европейца с дикарем, колониальные нравы, — все это в достаточной степени хорошо известно,—и поэтому никак не можешь отделаться от впечатления чего-то знакомого.

Тем не менее, все это не лишает ценности книгу. Почти все авторы—превосходные рассказчики, они знают, что сюжет короткого рассказа должен быть острым, быстро приближаться к развязке, знают, что экономия изобразительных средств — обязательное условие новеллы. Самые сюжеты довольно разнообразны: здесь и ряд исторических тем из эпохи борьбы завоевателей с индийскими племенами и современная Америка обнищавших деревень и зажиточных ферм. Впрочем, современность выступает в чертах довольно неопределенных. Рассказы из эпохи завоевания и XIX века печатаются без особых перебоев рядом: это потому, что сюжетика, построенная на особенностях национальных характеров и нравов, сохраняет какие то типические черты.

Сборник составлен умело, читается с интересом, и если даже представленные авторы принадлежат к числу лучших, то все же южно-американскую литературу мы должны оценить высоко. Книга издана довольно неряшливо, например, почему-то отсутствует перечень рассказов.

К. Локс.

Сергей Гессен. — «Книгоиздатель Александр Пушкин». Изд. «Academia» Л. 1930. Стр. 147. Цена 1 р. 40 к.

Книжка Гессена — самая явная спекуляция на том повышенном интересе к литературно-бытовому материалу, который наблюдается в современной науке о литературе. Уже самая постановка темы достаточно ясно говорит о том, насколько примитивное представление имеет автор о вопросах, о которых он пишет. Пушкин-книгоиздатель — тема, в конце концов, никчемная в научном отношении. Она не нужна

ни пушкиноведению, поскольку раскрытию исторического и социального смысла литературного поведения поэта она не содействует ни в коей мере, ни истории книжного дела в России, поскольку эту историю гораздо целесообразнее строить на материале деятельности издательских предприятий, чем на материале писательских биографий.

Другое дело — издательские отношения Пушкина, если подойти к ним не как к самодовлеющему, самоценному об'екту исследования, а взять их как один из моментов общего процесса профессионализации литературного труда, который в свою очередь ближайшим образом связан с кризисом салонно-кружковой культуры начала XIX века, с возникновением массового читателя-интеллигента и т. д. Но гессену до этой общей исторической перспективы нет никакого дела.

По Гессену получается так: жил был такой Александр Сергеевич Пушкин, который был не только гениальным поэтом, но и вообще человеком во всех отношениях замечательным. В силу этого пушкиноведение должно развиваться в двух направлениях: во-первых, оно «изучает творчество поэта, литературную историю его произведений и подвергает их формальному анализу», во-вторых, разрабатывает его биографию. Мы, правда, в простоте душевной думали, что пушкинская биография изучается не в силу замечательных качеств ее носителя, а в силу того, что она служит известным подспорьем при изучении литературного поведения поэта. Но Гессену такая мудреная постановка вопроса, повидимому, не по силам.

Ясно, что ничего, кроме голого хронологического пересказа всех свершенных когда-либо Пушкиным книгоиздательских сделок, и не могло получиться на основе такого рода предпосылок. При этом некоторые сравнительно малоизвестные широкому читателю материалы путаются с известными решительно всем, действительно важные — с второстепенными и третьестепенными. Об издании «Бахчисарайского фонтана», за которое Пушкин получил небывалый по тому времени гонорар и которое получило поэтому значение крупного литературного факта, надо было бы, например, сказать больше и подробнее. Истории со вторым изданием «Цыган» вообще можно было не касаться. Она имеет еще некоторый интерес для текстолога, но из темы, разрабатываемой Гессеном, выпадает совершенно.

Еще хуже получается, когда Гессен пытается ввести каузальный, говоря языком современной методологии, момент. Переводной роман, например, по Гессену, явно господствовал над русской литературной продукцией потому, что иностранные книжные лавки в ту эпоху успели уже обосноваться на Невском и Большой Морской, в то время как отечественные продолжали еще ютиться в неуютных помещениях Гостиного двора.

К сожалению, книжка не внушает особого доверия и в том случае, если подходить к ней исключительно как к сводке фактического материала. Например, автор пишет, что, печатая в «Современнике» всевозможные свои прозаические опыты, критические заметки и пр., Пушкин стихи свои продолжал отдавать в «Библиотеку для чтения». Утверждение вздорное, ибо десятый том «Библиотеки» (книжка семнадцатая), в котором Пушкин в последний раз выступал в этом журнале («Сказка о рыбаке и рыбке»), вышел в свет 1 мая 1835 г., а первый том «Современника» — 11 апреля 1836 г. Ясно, что при наличии такого рода ляпсусов работа теряет всякое значение и с точки зрения чисто фактической полноты и верности.

И. Сергиевский.

Георгий Чулков. «Годы странствий». Изд. «Федерация». 1930 г. Стр. 398. Ц. 3 р. 70 к.

Георгий Чулков — поэт, прозаик и критик эпохи символизма. Его имя встречается на обложках почти всех символистских изданий, он принимает живейшее участие в организации и работе крупных символистских журналов («Новый Путь», «Вопросы Жизни»), он встречается и дружит с целым рядом виднейших представителей символизма. Короче говоря, находится в самом центре символистского

течения. И, естественно, что от книги Чулкова читатель в праве в первую очередь требовать богатого фактического материала. Но задавшись целью дать «характеристику эпохи, поскольку жизнь ее отразилась в психологии ревнителей символизма», Чулков, считая себя, повидимому, одним из «ревнителей», останавливается исключительно на своей собственной личности. Читатель принужден довольствоваться рассуждениями на тему: «Чулков и символизм», при чем фигура самого Чулкова, его переживания, болезни, обиды, заслоняют весь тот небольшой бытовой и литературный материал, который имеется в книге. Все литературные события того времени, все разногласия между отдельными группами символистов даются постольку, поскольку в них так или иначе замешана личность автора воспоминаний. Иногда этот авторский эгоцентризм доходит до смешной наивности. Так, например, закрытие журнала «Новый Путь» Чулков ставит в прямую зависимость от своего разрыва с руководителями журнала («В июне 1904 г. произошел разрыв моих отношений с Мережковским. Последствием этого было закрытие «Нового Пути»). В главе о Блоке он всячески старается выдвинуть себя если не в литературные учителя поэта, то в его идейные руководители. («Мне кажется, что именно на мою долю выпало «научить» Блока «слушать музыку революции»). Даже выступление Брюсова против книги его стихов Чулков пытается об'яснить раздражением Брюсова на резкие строки, имевшиеся в посвященном ему стихотворении. Литературную полемику с издаваемыми им сборниками «Факелы» он рассматривает, «как небывалую литературную и личную травлю». Споры, разгоревшиеся вокруг его путаной и сумбурной книжки «О мистическом анархизме», он об'ясняет тем, что «слишком громко, неосторожно и поспешно произнес такие слова, какие у всех были на уме».

Итак, вся книга только о себе и только в связи с собой. Даже маленький, но характерный штрих—портреты писателей (Блока, Ахматовой и Сологуба) печатаются им с воспроизведением дружеских посвящений. И вдобавок ко всему, неприятно поражающее стремление зарекомендовать себя, как революционера, близкого социал-демократии, чуть ли не марксиста, прекрасно понимавшего «что если революция победит, то именно под знаком рабоче-крестьянского мятежа». Особенно пикантно звучат эти строки в устах создателя пресловутой теории «мистического анархизма», теории, в которой он пытался обосновать «последнее утверждение личности в начале абсолютном», и которое, по выражению одного из критиков «Литературного распада», представляет собой попытку «обвенчать мистику с прогрессом». Единственную ценность в книге представляет только напечатанная там переписка Брюсова и Блока с Чулковым, но даже примечания, которыми Чулков снабдил ее, грешат тем же чрезмерным выдвижением себя.

М. Рабинович.

КНИГИ, ПОСТУПИВШИЕ НА ОТЗЫВ:

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ».

ДИККЕНС, Ч.—Домби и сын. Роман. С рисунками. Книга 1-ая. Стр. 389. Книга 2-ая Стр. 480. Цена за 2 тома 4 р. 15 к.

РУСТАМ БЕК ТАГЕЕВ, Б. — Жемчужина Японии. Роман. Стр. 166. Ц. 1 р. 30 к.

МОГУЧИЙ, Н. — Украденная воля. Роман из эпохи освобождения крестьян. Стр. 230. Цена 2 р.

ГУМИЛЕВСКИЙ, ЛЕВ. — Белые земли. Роман. С рис. Стр. 206. Ц. 1 р. 60 к.

СКОСЫРЕВ, ПЕТР. — Бег. Роман. Стр. 357. Ц. 2 р. 90 к.

ПЛАТОШКИН, М. — Отец. Рассказы. Стр. 220. Ц. 1 р. 60 к.

«ЗЕМЛЯ И ФАБРИКА».

ПИСЬМА САККО И ВАНЦЕТТИ. — Перев. с анг. Стр. 254. Ц. 1 р. 50 к.

ЧУМАНДРИН, М.—Склока. Повесть. 2 изд. Стр. 93. Ц. 70 к.

УЛИТЦ, АРНОЛЬД.—Восстание детей. Пер. с нем. Стр. 269. Ц. 1 р. 75 к. (пер.).

ВИКЕНТЬЕВ, ЛЕОНИД. — Экспедиционный корпус. Стр. 133. Ц. 85 к.

ЛЕСНИК. — Дикий человек. Стр. 110. Цена 1 р.

УЭЛЛС, Г. Дж. — В дни кометы. Пер. с анг. Стр. 285. Ц. 1 р. 60 к.

РЕЙЗЕН, А. — Свет и тени. Пер. с евр. Стр. 142. Ц. 1 р. 10 к.

КОРРИ, ДЖО. — Последний день. Пер. с анг. Стр. 254. Ц. 1 р. 30 к.

СКОМОРОВСКИЙ, РАФ.—Интеллигенты. Роман. Стр. 151. Ц. 1 р. 50 к. (пер).

СТЕКЛОВ, Ю. — Еще о Н. Г. Чернышевском. Сборник статей. Стр. 165. Ц. 1 р. 65 к.

«ФЕДЕРАЦИЯ».

СТОНОВ, ДМИТРИЙ. — Повести об Алтае. Стр. 298. Ц. 2 р. (пер.).

АЛТАЙСКИЙ, К — Первая борозда. Стихи Стр. 70. Ц. 70 к.

АФРАМЕЕВ, Н. — Заноза. Повести и рассказы. Стр. 202. Ц. 1 р. 60 к. (пер.).

ДОБРЖИНСКИЙ-ДИЭЗ, Г. — Зыбь перекатная. Рассказы. Стр. 171. Ц. 1 р. 20 к.

МАРТЫНОВ, ЛЕОНИД. — Грубый корм. Очерки. Стр. 163. Ц. 1 р.

БАБУШКИН, ВИКТОР. — Жизнь. Рассказы. Стр. 311. Ц. 2 р. 10 к. (пер.).

ХОТКЕВИЧ, Г.—Каменная душа. Роман. Стр. 391. Ц. 3 р. 20 к.

ПОПОВСКИЙ, АЛЕКСАНДР. — Анна Калымова. Роман. Стр. 312. Ц. 2 р. 10 к.

ГИНЗБУРГ, ЯКОВ.—Кусты и зайцы. Роман. Том первый. Стр. 304. Ц. 2 р. 20 к.

КОЛОС, Л. Я. — Живые и мертые. Повесть. Стр. 267. Ц. 1 р. 80 к.

РЯЗАНЦЕВ, В. — Слепцы. Роман. Стр. 283. Ц. 1 р. 90 к.

КРАСИЛЬНИКОВ, ВИКТОР. — За и против. Статьи о современной литературе. Стр. 275. Ц. 1 р. 95 к.

Издатель «Известия ЦИК СССР и ВЦИК».

Редакция: **А. В. Луначарский. А. Г. Малышкин. В. П. Полонский. М. А. Савельев. В. И. Соловьев.**